



ЮНОСТЬ



12
1964



Монумент в честь покорителей космоса [Москва, проспект Мира].

Авторы монумента — архитекторы М. БАРЦ, А. ПОЛУЧИН и скульптор А. ФАДЕЙШ-КРАДИВЕСКИЙ.

Фото А. Герасина.

НОВЫЕ



РАССКАЗЫ

И. ДИКОЙ

Рисунки С. Краусауаса.

1

В Рязани едят грибы с глазами. Их едят, а они глядят.

2

Я вспомнил эту дразнилку, когда садился в экспресс. «Рязанские мужики телка огурцом режут» — вот еще одна дразнилка. Но все-таки мы были не последними: над вятскими и псковскими смеялись больше.

Итак, я вошел в вагон, похожий на самолет своими мягкими авиационными креслами. Я был весь в поту. Это становилось уже неприличным — пот капал с бровей, лицо мое горело, воротник рубашки намок. Дурацкая моя соломенная шляпа резала лоб, и, видно, все эти причины — пот, и боль от дурацкой этой шляпы, и тяжелый чемодан, и рюкзак с подарками — все эти причины погасили волнение, которое, как я предполагал, должно было меня охватить при посадке в рязанский поезд.

Наконец я уселся, положил на колени шляпу, откинул спинку кресла и вспомнил

дразнилку. «В Рязани едят грибы с глазами, — бормотал я. — Их едят, а они...» «Грибы с глазами», — подумал я, и тут вот меня охватило невероятное волнение, от которого что-то сдвинулось внутри, и появилась боль, и слезы смешались с потом.

Поезд тронулся, и по вагону пошел гулять летний ретивый ветерок, напоминающий о райском житье, о том, как босоногим мальчиком, вороватом и пронырливым, я сбегал под сень рязанских прохладных рощ. Что я знал тогда о мире?

В 1920 году мы, делегаты 6-й армии, ехали с Перекоса в Харьков на Всеукраинскую партийную конференцию. Нас было двенадцать человек в теплушке, и во всех остальных вагонах ехали такие же, как мы, обовшившие люди. Были тут красноармейцы, командиры, комиссары; все на «ты», прямо из окопов. На «вы» мы звали только Марию Степановну Катину из политотдела дивизии, единственную среди нас женщину. Она была молода и образованна, и в ту пору у меня с ней складывались чуть ли не романтические отношения. В двадцать первом году она умерла в Бахмаче от сыпного тифа.

Поезд шел медленно по заметенной снегом, разоренной земле. Сгустились сумерки, и не было видно в них ни одного огонька — пустыня, а потом серый рассвет и дикий гиблый ветер в полях, и только наш громающийся состав с жаркими печками и шматами сала в тряпках, со сладкой картошкой, с горластыми ораторами и спокойными теоретиками,

только наш поезд своим медленным движением утверждал жизнь в этой пустыне.

Вместо того, чтобы отсыпаться после окопов, мы сплорили. В самом деле, ведь за безжизненными этими полями виделись нам голубые города. Что кажется меня, то для меня над голубыми прозрачными куполами в бездонном моем осеннем небе висели механические стрекозы, похожие на нынешние вертолеты, а сверху в теснинах улиц были видны волны праздничной манифестации.

На остановках перебежали из теплушки в теплушку, возникли летучие митинги, создавались временные комитеты, инициативные группы, выносились резолюции.

Мучила нас вши, они отлепались от высоких мыслей и яростных теоретических схваток.

Ночью как-то я сидел возле печки и чесался. Утомленные мои товарищи спали; не просыпаясь, хрепели, раздирая себе бока. В накаленном красном синици, излучаемом печкой, видел я нежный пучок волос на затылке Марии Степановны, и ее тонкую руку, и изгиб ее бедра. Она тоже чесалась.

В ту ночь я сделал замечательное открытие. В железном боку печки была дыра с пятак величиной. Там создавалась сильная тяга внутрь, в печь. Случайно я приблизил к отверстию ворот гимнастерки и вдруг заметил, что вошки из всех складок, подвешенные этой тягой, полетели в огонь, с треском, одна за другой, там погибая. Я чуть было не подскочил от радости. Ведь прежде никакие мероприятия не помогали — вши оставались и очень быстро плодились, доставляя нам страдания неслыханные. А тут я за десять минут обезвредил все свое имущество. Счастье, да и только.

Потом я разбудил всех своих товарищей. Товарищи сгрудились вокруг печки и принимали уничтожать паразитических насекомых с тем же успехом, с каким они уничтожали контрреволюционную нечисть на всех фронтах гражданской войны.

— Ну, Пашка, ты герой, — говорили они. Одна лишь Мария Степановна конфузилась и не желала воспользоваться моим открытием.

— Что вы, Павел, меня ничто не беспокоит. Товарищи, оставьте меня в покое, — говорила она.

— Мария Степановна, дорогой товарищ, вы же не спите из-за проклятых насекомых, — сказал Иван Куныев, кавалерийский делегат.

— Да, я не сплю. Я думаю о заатрашней полемике с блоком Голыгина, — возразила она.

Однако глухой ночью, когда все уже спало и свободно сопела на нарах, Мария Степановна пробралась к печурке. Я открыл глаза и увидел, что сидит она в одном белье и подставляет под тягу свою гимнастерку, чуть прислушиваясь к звукам, которые могли бы донестись сквозь грохот колес.

Нары подо мной скрипнули, она вся встрепенулась и повернула ко мне свое чистое лицо с плачущими глазами. Я готов был провалиться сквозь нары, сквозь пол прямо на шпалы, но все-таки глядел на нее во все свои дурные буркалы, так она была хороша. В этот момент она была никакая не Мария Степановна, политический строгий товарищ, а нежная девушка Маша. Я, простой пастух, которого революция оторвала от идиллической сельской жизни и бросила в напряженную борьбу, я тогда понял, как страшен ей, дочке директора гимназии, наш военный быт и какое у нее сильное мужество и верность идею. Она закусила губы и отвернулась от меня.

С этой ночи романтические наши отношения были приостановлены, она стала суза со мной и строга и не называла более Павлом, а звала Збайковым, товарищем Збайковым. Позднее, в 30-е годы (я был в то время председателем исполкома большого города и жил с семьей в шикарной квартире, имел персональный «форд»), в те времена я часто вспоминал покойницу, когда кто-нибудь из семьи заводил поблбавшусю всем пластинку «Какое-то...» и девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет, «Под солнцем горячим, под ночью слепую немало пришлось нам пройтись»...

Да, тогда, в 30-е, что-то сжималось у меня внутри от этой песни, а сейчас даже плакать хочется, когда начинаю мурлыкать ее под нос. Мои дороги по всем фронтам гражданской и частые перемещения периода реконструкции, потом этапы до Воркуты, и ссылка в Красноярском крае, и нынешняя моя спокойная жизнь персонального пенсионера в экспериментальном черемушкинском доме... Все чаще я стал сейчас предаваться воспоминаниям, и эта моя поездка не что иное, как воспоминание. Ведь я не был на родной Рязанице более сорока лет.

3

В Рязань экспресс прибыл к вечеру. Люди, идущие по переходным мосткам над путями, были еще освещены солнцем, а перрон и встречающие находились уже в вечерних сумерках. Меня никто здесь не встречал. Опять начались мои митарства с чемоданом и рюкзаком. Привычки мои не позволяли обратиться за помощью к носильщикам. Не люблю я этого дела. Даже в бытность большим человеком я все время норовил сам ухватить свои чемоданы, вызывая этим удивление подчиненных.

— Поможем, папаша? — обратился ко мне носильщик, сам уже далеко не первой молодости. Я бодро улыбнулся, но на самом-то деле было мне тяжело. Силы уже не те.

С трехом пополам дотащил я вещи до камеры хранения, потом уточнил расписание — поезд на Рязань отправлялся завтра в полдень. Налегке я отправился в город и долго плутал по каким-то безлюдным, перекопанным для прокладки теплофикационных труб улицам. Улиц этих я не узнавал, и тихая, чуть ли не секретная их жизнь была мне чужда.

Неожиданно я вышел на широкий, ярко освещенный проспект, по которому катили троллейбусы и такси и где стояли высокие дома. Демкагс вдоль этого, совсем уж мне незнакомого проспекта, я дошел до какой-то большой гостиницы. Конечно, у входа висело солидное, золотом по черному, стационарное объявление: «Свободных мест нет». Пришлось мне воспользоваться документом — персональной книжкой старого большевика. Администраторша полистала мой документ, взглянула в окошко и сказала:

— Прощу, гражданин, обождать: у меня вон люди из ящиков еще не устроены.

В креслах сидели четверо «из ящиков», мужчины в серых костюмах.

Так или иначе, но койку в двухместном номере я получил и был очень доволен, потому что не рассчитывал на такой успех.

В коридоре подыпизыпиз человек остановил меня:

- Папаша, зуб болит. Где врача найти?
- Не знаю, дорогой,— сказал я.
- Сам-то русский или из ГДР? — спросил он.
- Русский, — сказал я, — рязанский уроженец.
- Да-а, — протянул он задумчиво, — а зуб-то болит. Придется в милицию обратиться.

Мы разошлись.

Ничто в этой гостинице не напоминало мне той милой моей Рязани, где когда-то, «на заре туманной юности», изучил я основы поллитратомы и получил военную подготовку. Гостиница была как гостиница, а в окна с улицы глядели безликие и безучастные неоновые вывески.

За ужином в ресторане я разошелся. Поразило меня меню. В разделе холодных закусок значились почти подряд такие блюда: салат из морской капусты, морской гребешок, салат «Дары моря». Континентальный этот город, видно, имел некую таинственную связь с Тихим океаном.

Утром я вышел на балкон и посмотрел вниз, на проспект. По тротуарам торпологила сновали домохозяйки со связками длинных и странных, явно морских рыб.

Я поймал себя на том, что хихикаю, как столичный турист, над провинциальными чудачествами незнакомого города. Еще раз я окинул взглядом ровную линию пятиэтажных домов и тут заметил в их ряду старую облупленную часовенку, в которой ныне помещалось, кажется, городское бюро справок.

Мимо этой часовенки бежали мы, щелкая затворами, мимо нее и мимо лабазов, мимо колоннальной лавки Скворцова и К^о, мимо кинематографа «Эльдорадо» бежало нас двадцать человек. В тот день мы вооружились по тревоге после сообщения о том, что нашего человека, Ваньку Комарова, арестовал на митинге прозерсовский настроенный полк.

Я помню застывшую на бесснежном морозе грязь, тучи пыли, поднятой ледяным ветром, огромную площадь перед нами, выощенную бульжником, и в конце площади плотную толпу серых шинелей — эсеровский полк.

«Тут тебе и конец придет, Павлушка», — думал я на бегу.

Обошлось. Переорали, перематерили мы эсеровских агитаторов.

4

Утренний поезд на Рязк был составлен из старых зеленых вагонов с узкими окнами. В вагонах было почти пусто — в моем сидели лишь три крестьянки в плетевых черных жакетах. Они оживленно переговаривались. Впервые за все время своего путешествия я услышал подлинно рязанский глубинный напев их речи.

— Надись я иду, хляку, а в тележке, я яво траваа,— рассказывала про какой-то случай одна из них.

Это «я» или «я» было легким, мягким и теплым, словно летящий пух, словно чуть шершавое поглаживание материнских рук.

Я вспомнил покойницу, как растерялась она, маленькая старушка в нарядной своей панезе, на вокзале того города, где я верхонодился в тридцатые, как отказывалась сесть в мой «форд»: «Я в ету тележку не сяду», — как вечером в нашей большой квартире изрекла она мне конфиденциально: «Высоко ты забрался, Павлушка, а с высоты-то большой падать».

4

К концу войны сестра написала мне в лагерь, что матери у нас больше нет, что в 42-м году, в голоду и осеннюю темень, пошла она во двор, в уборную, сломала ногу и на другой день скончалась. А до конца войны ограничен я был в переписке.

Рязкский поезд двигался медленно, не то, что вчерашний экспресс; медленно мы выбирались из Рязани, проезжая мимо кварталов новой застройки, чухлых сонных слобод, мимо разрушенных колоколен и индустриальных объектов, переселили реку и въезжали в необятные поля, ровно освещенные жарким спокойным солнцем. Индустрия, словно платком, на прошедшем взмахнула нам огромным языком пламени, полыхавшим в голубом небе над высокой черной трубой. Это бесхозяйственно жгли газ.

А потом пошла тишина и маленькие станции, названия которых звучали для меня, как музыка: Старожилово, Верда, Скопин... Все это было тихой музыкой: станционные красные домики за березами, зевающий начальник станции, босой мальчишка, звон колокола, по которому отправлялся поезд, и скрип дощатого низкого паррона...

5

В Рязк в те дни был сборный пункт дезертиров. Набралось их здесь несколько тысяч. Это была разнузданная орда морально опустившихся, бешено орущих людей, а конвой наш был малочислен, слаб. Трудно сказать, почему они не перелили тогда нас, конвоиров. Должно быть, просто невозможно им было организовать даже для такого нехитрого дела: каждый орал свое, каждый был сам за себя, никто не хотел никого слушать, но каждый боялся пули сам для себя, по отдельности. Объединились они только в своей ненависти к комиссару, приехавшему с инспекцией из Москвы.

Мы вывели их за город, в поле и кое-как организовали в огромное, гудящее, как взбешенный улей, каре. Здесь была сколочена шаткая трибунка для высокого московского комиссара.

Он подыехал в большую черной машине, сверкавшей на солнце своими медными частями. Он был весь в коже, в очках и, что очно удивило нас, абсолютно без оружия. И спутники его тоже не были вооружены.

Он поднялся на опасно качающуюся трибунку, положил руки на перила и обратил к дезертирскому безбрежному воинству свое узкое бледное лицо.

«Что тут началось! Заревело все поле, задрожало от дикой злобы.

- Долой! — орали дезертиры.
- Приезжайте командовать нами, гады!
- Сам бы вшей покормил в окопах!
- Уходи, пока цел!
- Эх, винта нет, снял бы пенсню проклятую!
- Братцы, чего ж мы смотрим в его паскудные окуляры!!

— Пошли, ребята!
Мы уже подняли винтовки для первого залпа в воздух, как вдруг над полем прокатился, как медленный гром, голос комиссара:

- Что это за люди!
- Ручкой он показывал на нас, конвоиров.
- Я спрашиваю, что это за люди с оружием? —

снова прошел над нами голос, похожий на звук, что тянется за вышедшими реактивными самолетами.

Дезертирство от неожиданности затихло, пораскрывало рты.

— Это конвой! — четко доложил один из его спутников.

— Приказываю спать конвой!

Он набрал полную грудь воздуха, очки его сверкнули, и он заревел еще более тяжелым, еще более гневным голосом, толчки которого словно отдавались у каждого в груди:

— Перед нами не белогардейская сволочь, а революционные бойцы! Спать конвой!

В тишине, подоседавшей за этим, над полем вдруг взлетела дезертирская шапка, и чай-то голос выкрикнул одиночное «ура».

— Товарищи революционные бойцы! — зарокотал комиссар. — Чаша весов истории клонится в нашу пользу. Деникинские банды разгромлены под Орлом!

«Ура» прокатилось по всему полю, и через пять минут каждая фраза комиссара вызывала уже восторженный рывок и крики:

— Смерть буржуа!

— Давешь мировую революцию!

— Все на фронт!

— Ура!

И мы, конвоиры, о которых все уже забыли, что-то кричали, членея от юношеского восторга, глядя на маленькую фигурку комиссара с дрожащим над головой кулаком на фоне огромного, в полнеба, багрового заката, поднимающегося из-за горизонта, как пламя горящей Европы, как огонь американской, азиатской, австралийской, африканской революции.

Я вспомнил этот эпизод сразу же, как увидел большое желтое дореволюционное еще здание Рязского вокзала. Рязск и в те времена был крупной узловой станцией, таким он остался и сейчас. То и дело с обеих сторон его перрона появлялись дальние поезда, замыкая транзитных граждан в грохочущий коридор.

Здесь предстояла мне ночевка, потому что поезд на Ухолово отправлялся только на следующий день. Без особого труда я получил койку в «комнате отдыха» и отправился автобусом в город, который в пастушеской моей юности казался мне загадочной и шумной столицей, какой, скажем, сейчас мне представляется Париж.

Ранним вечером я прибыл в центр городка и стал свидетелем гуляния местной молодежи, среди которой тон задавали студенты-механизаторы. Столичный шпиритреб пронику уже и сюда, и молодые люди мало отличались от тех, кого я вижу ежедневно из своего окна в Черемушках, но все же это была, конечно, уже не Рязань, это была глубинка, отдаленная периферия.

Я погулял немного, делая наблюдения.

Горожанам, должно быть, давно полюбились слово «павильоны». Точки общественного питания назывались здесь павильонами — павильон № 1, павильон № 2, павильон № 3. А в самом центре возле скверка помещался любопытный магазинчик под вывеской «Игрушки, венки». Сейчас на дверях висел замок.

«Нарочно не придумаешь», — подумал я, глядя на эту вывеску. — Продавец, должно быть, философ. Утром приходят, переставляет игрушки, зайчиков, мишек, целлулоидных пулсов, стряхивает пыль с венков, уж, конечно, не лавровых, с гигантских роз и пионов, покрытых тонким слоем стевина, а то и с железных венков. Ах, эти веночки мы знаем, эле-

гантные, со звездочками, в былые время такие венки были в ходу для стальных людей, «сгоревших на работе». Станешь тут философом!»

В последние годы я перенял у своей дочки и ее мужа манеру надо всем слегка посмеиваться. Дочка моя и ее муж, изъездившие чуть ли не весь мир, постоянно надо всем хихикают, беззлобно, но постоянно, как будто этот чуть-чуть даже утомительный для посторонних юмор чем-то облегчает им жизнь. Лично я с этой привычкой борюсь. Что это такое — был серьезным всю свою жизнь, а на старости лет все хихикаю да ха-ха.

Солнце еще освещало кафельные плитки бывшего особняка купцов Маркушиных, которых некогда мы с товарищами экспроприровали, когда вокруг сквера взрвели мотоциклы механизаторов и бесшумно закружили велосипеды — молодежь стала развешивать. Я тоже покинул Рязск и отправился на станцию, где ждала меня койка за 70 копеек.

Всю ночь под окном пыхтел и отчаянно, как казакский осел, кричал какой-то паровозик, а на соседней койке молодой парень крутил под одеялом свой маленький полупроводниковый приемник, завывала эта шумовая музыка, этот проклятый джаз, от которого у меня дома, в Черемушках, раскалывается голова.

— Молодой человек, — тронул я за плечо соседа, — давайте уж так: или вы, или он, — и показал ему в окно на паровоз.

— Извини, батя, — сказал парень, — такая у меня привычка. Заснуть не могу без легкой музыки. Сейчас засну.

Еще секунд десять визжали заморские трубы, потом щелкнул выключатель, парень захрапел, дико взрвел паровоз, и я заснул.

Утром в необозримой комнате отдыха шли уже только разговоры о покосе, мужички увязывали узлы, и я понял, что это мои полутучки до Ухолова.

6

Ухоловский поезд был еще тише, чем рязский. Закрыв глаза, можно было бы представить, что двигаешься в телеге, если бы не близкое пыхтение паровоза.

Напротив меня на лавке сидели три мужичка, соседи мои по комнате отдыха. Люди это были примерно моего возраста, и что-то в их повадках, в жестах, в манере разговора подсказывало мне, что это уже ближние люди, может быть, даже из нашего села или из его окрестностей. Волновался я неслыханно, думая, как затеять с ними разговор. Казалось мне, что они, толкуя о своих делах, как-то со значением на меня поглядывают.

— Вот и прикидывай, мужички, где интересней, — говорил один из них, красноносый дядя в лихо сдвинутой набекрень кепке. — Родыни, стало быть, зовут сам-десять, а в лесничество кладут сам-шесть.

Родынки! У меня заколотилось сердце: это была фамилия из нашего села, мощный родственник нам, Збайкович, клан Родычиных.

— В лесничество особ не размахнешься, — сказал сухощавый задумчивый человек. — Не размахнешься, говорю. Один пни да кусты.

— О покосе разговариваете, товарищи! — острожно спросил я.

— О нем,—охотно ответил третий, лукавый корытш, самый почему-то мне знакомый из них. Двое других промолчали, и корытш ступившая.

— Вот вы сказали: Родынки,—набрался смелости я,—извините уж, невольно подслушал. Это не Михаил, а Родыкина сын?

Корытш заерзал на лавке и смолчал, а сухощавый, внимательно взглядевшись в меня, спросил: — Микал Андראה Родыкина имевте вы в виду, граждани?

— Да-да, Микал Андреа!—вскричал я, мгновенно каким-то услышками вспомявша фигуру могучего мужика Михаила Родыкина, не раз стегавшего меня за небегу на его сад.

— Так этот Родыкин, о котором мы гутарим, председател наш, его внук,—строго сказал сухощавый.

— Так вы, может, из села Боровского, тозарищи?!—опять вскричал я.

— Мы вот с ним из Боровского, а энто товарищ из Канино.

— Так я ведь тоже из Боровского!

— Ага,—вежливо покивали мне мужички и, глядя в окно, принялись зарежать самокрутки. Молчание длилось долго. Я краснел и бледнел, как мальчишка, проклиная свою дурацкую шляпу, и очки, и галстук, все свое городское обличье, видимо, вызывающее у них недоверие.

— А вы чей же будете?—наконец спросил сухощавый, самый авторитетный из них.

— Я Збайковых,—чуть ли не умоляюще сказал я.

— Устина Збайкова, стало быть, сын?

— Нет, Устин-то Збайков в Тивердинских выселках жил, а мы из Энгельсгердовского общества...

— Ага, «Знамя труда», стало быть,—объяснил сухощавый канинскому крепшью.

— Петра Збайкова покойного я сын,—сказал я. И вдруг краснорыц, молчавший до сих пор, хлопнул шляпой по колену.

— Да уж не Павла ли Петровича вижу я перед собой?—гаркнул он.

— Да! Да, я Павел Петрович Збайков.

— Павел Петрович! Ну, поди ж ты!—засмеялся краснорыц.—А меня-то не признаешь? Я ведь Сивков Григорий.

Сивков Григорий. Сивков Григорий. Сивковых помню из Ермолаевского общества, а Григорий?

— А ведь вместе в церковноприходскую школу ходили, фулогангли вместе,—стерчески залуказилась сверстник мой Григорий.

Не знаю уж, узнал ли я его или просто убедил себя, что узнал, но мы тут же стали вспомявать наши мальчишеские шалости, как будто прошло не сорок с лишком лет, а каких-нибудь десять. Мы говорили о разорении граничных гнезд, и о ловле карасей в барском культурном пруду, и о велосипеде податного инспектора; история и топография этих приключений полностью у нас совпадали, и я понял, что Григорий Сивков действительно принадлежал к нашей шайке.

— Сивков!—воскликнул я, вдруг на самом деле вспомяну.—У тебя ведь брат был мой тезка.

— Точно,—подтвердил Григорий,—признали наконец, Павел Петрович.

— Жив тезка-то?

— Кто его знает, жив ай нет? В тридцатом годе, как принято было у нас твердое решение, так он по жизни пошел. Слух был, что в казахстанской земле у него иное хозяйство.

— А меня-то припоминаешь, Пал Петров?—спро-

сил худощавый.—Я Савостин Михаил с Тивердинских выселок.

— Как же, помню, как же.

— А ты-то в тюрьме сидел ай нет?—спросил Григорий.—Слух у нас был.

Невольно я усмехнулся и прикрыл глаза.

В июле 1937 годе на бюро и повсюду сильно критиковали меня за притупление бдительности к врагам народа, и даже стоял вопрос об объявлении мне партийного зговора, но возможности ареста я представить тогда не мог.

Веселым и жарким днем они приехали за мною.

Был День Военно-Морского Флота, и над детским парком напротив здания НКВД висели морские сигнальные флаги. Что составляли они, какие слова? Я не знал.

Вот так я и «пошел по жизни», по тюрьмам, по лагерям, по ссылкам, вплоть до 1955 годе, до восстановления справедливости.

Этот детский парк я видел иногда из зарешеченного окна следователя во время допросов. Детский тот парк разбит был по моему распоряжению, процент его я обсуждал с городским архитектором, с комсомольцами-пионервожатыми. Конкии его и словники часто мерещились мне в камере после допросов, когда я отдыхал от применения ко мне «методов активного следствия» изобретения наркома Ежова.

В ту пору был у нас первым секретарем обкома Аугуст Ленинш, из латышских стрелков, дельный, работоспособный товарищ, хороший организатор. Как раз перед арестом он очень сурово меня критиковал за притупление и даже, единственный в составе бюро, настаивал на исключении из партии. А ведь были мы с ним старые уже товарищи, вместе участвовали в коллективизации, проводили это самое «твердое решение» в жизнь, да и жены наши дружили. Принципиальным был этот Ленинш, никогда не щадил, включая себя самого.

Однажды в тюремном коридоре посылался какой-то шум, звуки ударов, лагз, и мы услышали голос Ленинша.

— Коммунисты!—кричал он.—Говорит Аугуст Ленинш! Я арестован! Приказываю всем держаться! Это чудовищная провокация! Товарищ Сталин...

Мимо нашей камеры проволок его затихшее тело.

На следующем допросе мои лейтенанты, совсем оставшиеся мальчишки, криво улыбаясь, сказали:

— Прием тебе передавал Ленинш. Признался, что вместе с тобой шпионил для Японки.

В это время активно уже работал тюремный телеграф, ложкой по трубам отопления. Все быстро ни овладела, помог дореволюционный еще опыт некоторых товарищей. Однажды сверху кто-то простучал сообщение: «Ленинш передает Збайкову. Он умирает, просит его простить. Просит не верить клеветке. Прощай. Да здравствует партия!»

Так погиб мой товарищ Аугуст Ленинш.

— Да,—улыбнулся я односельчанам,—сидел я и я. Реабилитировали.

Покивали мы головами, закурили самосаду.

— Течение жизни,—глубокомысленно изрек канинский корытшшка Трофим.

— Ну что ж, старички, надо бы выпить,—предложил и я и выпятил десатку.

До Ухолова ходу нам было еще часа два, и на станции Егודהево Трофим добежал до сельпо и вернулся с тремя пол-литрами и с кульком хамсы.

Поставлен был между лавками чемодан, Гри-

горий вытащил сало, оказалось, что и стопарники граненые он как раз закупил в Рязске—словом, все было в ажуре.

Односоельчане к выпивке были охочи, но и крепки, строгки. Канинский же Трофим заулыбался, закричал: «Эх, час без горя»,—и хватил. Он и захмелел прежде всех, а Григорий и Михаил Савостин вели со мной серьезный разговор, расспрашивали о Москве, как там с продуктами, делились видами на урожай, критиковали Родькина-внука, а также районное начальство. Однако воспоминания то и дело перебивали этот наш злободневный разговор.

— Эх, Пал Петров, как я помню твою матушку,—хмельным уже голосом говорил Григорий,—бывало встретит она меня, паренька, и критикует, кричит: «А я тогда по девкам все шалил. Это уж после того было, Пал Петров, как ты у нас отвоевал и в другие места подался революцию ставить. Потом и меня мобилизовали, отняли у девок».

— Эх, сплю я сейчас тебе, Пал Петров!—воскликнул вдруг Трофим и тонким голосом сразу взяла вверх.—Во-о суббоотуу...

— Дед Трофим, дед Трофим!—попыталась урезонить его проходящая за вагоном молодуха, но мы уже все пели, старые дурки:

Во субботу, во субботу,
В день ненастный.
Нельзя в поле,
Нельзя в поле работать...

И так мы доехали до Ухолова.

7

В Ухолове друзей моих прекрасных ждали две расчудесные подводки. Взгромоздился я на одну подводку с Григорием, другом моим замечательным, и мы прокатили по городу Ухолово, по прекрасному этому центру, где рельсы уже совсем кончаются, и паровозу путь один — плыть-ся назад.

Был я в весьма приподнятом состоянии и не фиксировал внимания на разных мелочах, заметил лишь рядом с новым зданием клуба старую колокольню, у подножия которой на площадке устроились, бывало, наши уездные ярмарки.

Я вспомнил ярмарку, на которой был впервые двенадцатилетним мальчиком. Ошеломило меня тогда скопление людей и лошадей, мелькание разгоряченных веселых лиц, логотая за воришками, цыган с медведем, городские сладости и, главное, карусель, сумасшедшее вращение которой надолго стало для меня символом праздничной, яркой жизни, отличной от будней нашего села.

Героями той ярмарки оказались наши боровские парни, три брата Бычковых, люди чудовищной физической силы. Начали они драку оглоблями и дрались долго, упорно и основательно, многих покалечили. Ухоловские городовые и мужики-добровольцы справиться с ними не могли. Не помогло вмешательство и самого станového. Бегая по площади со свистящими оглоблями над головами, гиганты Бычковы мешали ярмарке функционировать.

Кто-то из боровских догадался сбежать за их матушкой, которая в это время чаи распивала у своей ухоловской кумы. Прибежала мать Бычкова, ма-

ленькая старушечка, вскинула сухонький кулачок и как крикнет Федору, старшему брату:

— Нишния! Игрца тебя разбери!

И тут же братья положили оглобли и затряслись от страха.

— Сыймай порты, супостаты!—закричала старушка.—Ложись!

Взяла она хворостину и начала хлестать братьев по голым мощным задам, а братья горько плакали и просили прощения.

Очень ярко мне это запомнилось: шесть здоровенных прыщавых ягодиц, маленькая старушка с хворостиной и гогочущая ярмарка вокруг.

— Помнишь, на ярмарке были здесь, Павлуша?—спросил Григорий, кивая на белую от солнца площадь.—Бычковых братьев помнишь?

И мы затряслись от смеха, а возница, зять Сивкова, недоумононо на нас обернулся. Ухолово проехали мы быстро, и открылись родные мои веси, ничуть не изменившиеся за эти сорок с лишком лет, если не считать перетяжки высоковольтной линии да реактивных прочерков в необзоримом небе.

Григорий все прыгал с телеги, щупал овес, пшеницу, королеву полей. Однажды во время очередного его прыжка я почувствовал ядрот что-то такое давнее свое, такую тоску, что бывала у меня лишь в первые годы моей иной, не крестьянской деятельности, точнее говоря, почувствовал я тоску по земле, голос прашуров.

Спустя некоторое время то ли сердечная слабость, то ли похмельная усталость действовали, размяк я и заснул, невзирая на ухабы нашей дороги, которая за сорок лет не улучшилась.

Спал я тяжело, изредка вздрагивая и представляя, какой у меня неприглядный вид в этот момент, как съехали очни и отвалилась челюсть, но сил взбодриться не было никаких, и я снова засыпал.

Проснулся я от голоса Григория, открыл глаза, сел и, словно в сновидении, увидел огромное наше село, растянувшее свои тихие дворы чуть ли не на пять километров, осокори над речкой Мостей и прихотливый ес извив, а при приближении опять же, как во сне, увидел я старуху в нашей боровской паневе, которая гнала гусей, и плеск гусей в искрящейся Мосте и, уже совсем-совсем как в глубоком сне, увидел я свой дом.

8

А ом этот крепко был поставлен дедом моим Василием Ивановичем Збайковым. Он был кирпичным, как большинство домов в нашем селе, где дерево ценилось дороже кирпича. Над входом дед Василий умудрился белым кирпичом выложить узорного петуха. Петух этот остался и ныне.

Ныне хозяином в доме был Севастьян Васильевич Збайков, младший брат моего отца, глубокий уже старик, лет под девяносто. Дом кишел его детьми, невестками, зятьями, внуками, правнуками. Одни жили вместе с ним, другие прибегали со стороны. Готовилась праздничная гулянка в честь моего приезда. «Павлушка, Пал Петров, дядя Павел, дедушка Павел»,—неслось ко мне со всех сторон.

В доме был некоторый достаток, о чем свидетельствовала железная крыша, швейная машинка, велосипеды у молодежи. Приусадебный участок являл собой чудо агротехники: лук, помидоры, огурцы,

ягоды — все это было крупное, красивое, одно к одному. А через межу желтел пожелтыми лопухами огромный колхозный огород. Просто непонятно было, какая культура на нем произрастает.

— Почему это так, дед Севастьян? — спросил я своего дядю.

— Да видишь, Павлуша, какая печаль, — зешамкал старичок, — худое это поле. Надо было на ем овец с выкой сажать, а с району Родыкину-председателю дают наказ: сажай свеклу. Родыкин им гуторит: не вырастет свекла, под овец-де хочу эти площади, — а они ему: у нас план по свекле трещит, сажай или партийный билет на стол. Значит, произрастает одна лебеда, а они Родыкину звонят: пропалывай свеклу, у нас план прополки трещит. Вишь, Павлуша, у них там все трещит, а у нас круговорот получается.

«Какая бесхозяйственность, — подумал я. — Головоустройство! Съезжу я, пожалуй, в Рязань, в производственное управление».

И вот пошел я с того дня вникать в колхозные дела, портить жизнь Родыкину, мужику толковому и крепкому, но несколько растерянному. С утра управлялся я в полевые бригады, на фермы, беседовал с механизаторами, животноводами, полеводцами, агрономом, лекции читал, ходил на собрания партийной группы колхоза, в общем, функционировал. За две недели привыкли ко мне в селе, хотя, может быть, кое-кто и посмеивался над неугомонным городским старичком.

«Как же так получается? — думал я. — У колхозников на своих участках чудеса агротехники, а на артельную работу выходят они лишь зса козы, «за птвички», то есть за трудовки, по которым они почти что ничего не получают. А получают они мало, потому что рук не прикладывают, а рук не прикладывают, потому что мало получают. Действительно, получается круговорот. Порочный круг».

Собирался я по возвращении войти с докладной запиской в Центральный Комитет, но для этого надо было мне глубже вникнуть в колхозные дела, и я вникал.

А вечерами водили меня по избам, по родственникам, а родственников у нас, Збайковых, почитай, посела. Тишковы, Родыкины, Бычковы, Сивковы — все это наши родственники.

Много было выпито казенной и неказенной, браги, квасу, настоек, съедено сала и грибов. Приходили старики, ровесники Севастьяна Васильевича, поминавшие меня еще, когда я был «от горшка два вершка». Старики эти были жилистые, коричневые, в дилных чистых косоворотках, в картузах, прямой посадкой и манерами похожие на николаевских еще солдат.

В темном вечернем свете древняя тетка Солонья, известная с незапамятных времен как первая певунья, дребезжащим голоском заводила песню.

— На проклятый ах да на Кавказ, — рывкали в подхват старики, дети покорителей дикого горного массива.

Сверстников моих было мало. Сильно было повывито наше поколение, многих по войнам раскассировали, многие «по жизни пошли», а иные уже и нормальным тихим путем переселились в мир иной.

Молодежь смотрела на нас со стен, сияя флотскими регалиями, боцманскими дудками и значками классных специалистов. По неведомым соображениям лишь на флот набирались парни из нашего села, где Мостю курица вброд переходит.

Однажды я возвращался с полевого стана и шел по безлюдному проселку, приближаясь к задкам нашей части села, которая прежде именовалась Энгельгардовским обществом, а потом «Знамя труда» — по имени маленького колхоза, влившегося позднее в укрупненный единый для всего села колхоз «Имени XVII партсъезда».

Солнце клонилось уже к закату, но улицы были еще пустыни, неподвижны были колодезные журавли, и лишь с Мостя доносились крики гусей и ребят.

Было мне хорошо и привольно. К тому времени я давно уже расстался с галстуком и дуррачкой своей шляпой, ходил в кертусе Севастьяна Васильевича и в распахнутой на груди рубашке.

Надо сказать, что и речь моя сильно стала меняться, все чаще стал в ней появляться ухоловский распе, все чаще я стал употреблять слова «надисся», «вечоры, елетос».

Итак, тропинкой я прошел между огородами и вышел на улицу, когда услышал вдруг тихий голос:

— Здорово, Павел Петрович!

Я оглянулся, ища, откуда прозвучал этот голос, и увидел сидящего у изгороди на пурбаке старого человека.

— По всем ты ходишь, Пал Петров, а ко мне и не зайдешь, — с ухмылкой произнес этот человек.

Лик его был бугристый и неотчетлив, выделялись крупный нос и густейшие полуседые брови, из-под которых лишь изредка проблескивала кафельная голубизна.

— А вы кто ж такой будете? Чей? — спросил я, подходя.

Был он мало опрятен, кое-где серая его туаледноровая рубаша была порвана, а кое-где защита грубыми стежками, а в уголках его рта запелася слюна. Словом, не ахти какой приятный человек сидел передо мной.

— Адрьяна Тимохина ай не поминишь? — еще раз усмехнулся он, и на этот раз его усмешка оказалась не вызывающей, а какой-то жалкой, оборонительной.

По этой усмешке я его и вспомнил, но не по имени.

— Дикой! — вскричал я, пораженный.

— Во-во, Дикой... Меня и ирне так кличут.

Я сразу вспомнил того мальчика, которого мы прозвали «Дикой». Мы с ним учились вместе в церковноприходской школе. Это был странный мальчик, некрасивый и хилый, но не тем он был странен, а тем, что все время уединялся, все время сторонился нас, сорванцов, чуждался и пугался, за что и получил кличку «Дикой». Все он что-то строгад, чинил, мастерил, соединял какие-то колесики, пружинки. Большую часть времени он проводил в заброшенной, полуразвалившейся баньке. Смотрел он в землю.

Естественно, что был он козлом отпущения среди ребят. Мало кто не дергал, не ступал его по голове, не ципал, не дразилни. Он все сносил и только еще больше замыкался.

Было нам лет по двенадцати, когда однажды, томясь от безделья, мы решили совершить налет на его баньку и узнать, чем он там занимается.

Давась от смеха, мы поползли к ней огородами, окружили, распахнули дверь и увидели Дикого. Он



«Машина была в движении, вращались колеса большие и малые...» (стр. 11).

стоял лицом к нам с расширенными от ужаса глазами, а за спиной его в полосах света, проникающих в щели, крутились какие-то большие и малые колеса, ритмично хлопали какие-то дощечки, скрипели ременные передачи, словом, действовала какая-то хитрая машина, какой-то агрегат.

В мгновение ока мы разрушили эту конструкцию, дико хохоча, мы разорвали передачи, поломали колесики, попысали на обломках и остановились, не зная, что делать дальше.

Дикой лежал ничком на земляном полу и плакал. И тут впервые перехватило мне горло от жалости к человеку, от нежности к нему, к его уединенной жизни, от невыразимого желания немедленно, сейчас же восстановить справедливость, сделать этого мальчишку сильным и гордым.

— Дикой, миленький, вставай! Ну давай мы вместе починим эту твою хреновину! — закричал я.

Он встал и вышел из баньки. Больше он туда не возвращался.

С того времени я взял его под свою опеку, не давал его обижать, не раз дрался из-за него, но он по-прежнему дичился, к себе не допускал.

В 1917 году в нашем селе стали появляться сначала зерсовские, а потом и социал-демократические агитаторы. Впервые мы услышали слова о равенстве, о справедливости и решили сколотить революционный отряд. Я звал Дикого в этот отряд, но он лишь улыбался и отмахивался.

Через несколько месяцев мы ушли из села усмирять мятеж белых в Рязани. Я весь горел тогда, я ждал немедленной справедливости для всех, хотел немедленно сделать своих односельчан свободными и гордыми, с волнением я сжимал в руках винтовку, не зная, что покидаю свое село навсегда. Дикого после этого я не видел, не слышал о нем да и не вспоминал.

И вот сейчас мы встретились. Я подсел к нему и предложил папиросу. Он не курил. Тогда в замешательстве пригласил я его в чайную выпить.

— Я не пью, Пал Петров, — сказал Дикой. — Давай просто так покаяемся.

— Давай покаяемся, — сказал я, закуривая. — Ну, как ты живешь, Адриян?

— Живу — хлеб жую. Ты-то как?

— Да я что, как ты?

— Я все тут, в Боровском.

— Как же это так? — спросил я. — Небось, помогло и тебя по белу свету немало?

— Обшлось, — сказал он. — Не сдвинули меня.

— Не может быть! — воскликнул я.

— В армию по здоровью не брали, — спокойно сказал Дикой, — а в тридцатом году, когда с твердым решением пришли, так я им сам все добро отдал. И самовар, и граммофон, и зеркало...

— Значит, у вас тоже были перегибы, — сказал я. — Допускалось искривление линии.

— Допускалось, — сказал Дикой.

— Неужели ты все шестьдесят четыре года в Боровском просидел?

— В Ухолово езжу. В магазин.

Мы замолчали. Дикой на меня не глядел, глядел по своему обыкновенно в землю. Был он, видимо, смущен встречей со мной и ковырял землю чурбашкой. Потом вынул ножик, принялся чурбашку эту строгать.

«Так всю жизнь он и прострогал, — подумал я. — Ужас-то какой!»

Над нами в чистом несобъятном небе двигались

три сверкающие точки, таща за собой прямые белые следы. Звено истребителей. Дикой посмотрел в небо.

— К дождю, — сказал он, кивая вслед самолету.

— Что к дождю, Адриян?

— Примета у меня такая. Если след от аппарата линейный, твердый — к ведру, а ежели чуть расплывается — к дождю.

— Наблюдатель ты, Адриян, — сказал я.

— Ага, — вдруг твердо как-то и, может быть, даже с некоторым вызовом сказал он, — наблюдатель. Вся жизнь наблюдую, и basta. Звали меня в начальники, ну нет, тигрой лютой я быть не могу.

Щепки полетели из-под его нога в разные стороны.

«Со мной, что ли, он спорит? — подумал я. — Вряд ли. Должно быть, это старая его болячка».

— Когда же тебя в начальники звали, Адриян?

— В тридцатом году, — хмуро ответил он.

Чурбашка под его ножом превращалась в станок рубанка.

— В колхозе-то состоишь или единоличник?

— Состою. Посылаю им по плотищной до по стальной части.

— А семья, Адриян, у тебя есть? — осторожно спросил я.

— Один я, — сказал он. — Почитай два года уж как овдовел, а сынок в Донбассе мастером на шахте служит. Да ты о себе-то расскажи, Пал Петров, как ты-то? Робята есть у тебя, ай времени не было завестись?

— Дочка, — сказал я. — И внуки уже есть. Мальчик и девочка.

— А чем она, твоя дочка, занимается? Бабы в городах ныне ученые. Может, физик она у тебя ай химик?

— Она артистка.

— Артистка!

— Танцовка она у меня.

— Небось, в большом театре?

Настала моя очередь замяться.

— Да нет, понимаешь, Адриян, специальность у нее оригинальная. Она танцует, но только на коньках, на льду, понимаешь...

— Фигурное катание, что ли? — спросил Дикой.

— Ну да, — обрадовался я, — вот это самое. И дочка и зять, вместе они, парное катание... Сначала чемпионами были, а теперь в ансамбле.

— Хорошо! — сказал Дикой. — В кино я видел. Фантазия! Ну, а ты-то сам как жизнь прожил?

— Я? Эх, Адриян, долго рассказывать.

— Слух у нас был, что ты в тюрьме сидел. Это, небось, в тридцать седьмом тебя упекли, когда партийную кадру брали?

— Да, Адриян, в тридцать седьмом. В общем, жизнь я прожил нелегкую, но другой не хочу.

Опять мы замолчали. Закат уже поднимался над ветлами и осокорьями. Скрипели колодезные журавли. Прошли резвутые, усталые от солнца коровы.

— Да-а, — протянул Дикой, — а я вот и в тюрьме не сидел...

Я тут вздрогнул, представив себя на минуту на его месте. Если бы я не ушел тогда из села с винтовкой, если бы не валялся я в сыпняке, если бы не кричал я с трибун, не ездил бы в «форден», не смел бы трех жен, если бы не лупили меня следователи в НКВД, если бы не замерзая я на лесоповале, если бы все свои шестьдесят четыре года сидел бы я вот вечерами и созерцал движение облаков,

редких прохожих, домашнего скота.. Если бы жизнь моя посвящена была не великой идее, а лишь такому вот созерцанию! Нет уж, увольте! Конечно, каждому свое, а мне — мое, мне — моя жизнь, вся в огнях.

— Да что мы, Пал Петров, все на воле сидим,— сказал Дикой,— зайдем в избу.

И мы, одиноково с ним крапнув, разогнули затекшие спины. В избе его красный квадрат заката дрожал на грязной, запущенной стене. Прямо в горнице стояла бочка, откуда Дикой зачерпнул ковшом воды. Пахло мышами, пустотой, мерзостью запустения. Этого я и ждал.

Лишь стол удивил меня. Он был завален какими-то брошюрами, катушками проволоки, изоляторами, инструментом, на нем стоял огромный ящик, сколоченный из тонких досок, с какими-то прорезями, глазками и со шкалой радиоприемника. Это и был радиоприемник, как я понял.

— Кто это тебе радио самостерил? — спросил я.
— Да я сам собрал. Я этим делом, Пал Петров, оченно увлекаюсь.

Дикой пошарил где-то рукой, щелкнул рычажок, ящик осветился изнутри и сразу загудел.

— Чего желаешь послушать, Москву ай Париж?
— Что же, он и Париж берет?

— Берет чисто, и Лондон берет, Би-Би-си, а то один раз, знаешь, что я поймал? Страшно сказать — Гонолулу!

— Будет тебе, Адрияш!
Он повел какой-то рычажок, и грязная, мрачная, может быть, даже страшная его изба наполнилась звуками современного мира. Я почувствовал какую-то удивительную мощь в этом уродливом приемнике.

«Все-таки огромный, должно быть, талант был у человека,— подумал я.— Ведь малограмотный мужик, а собрал такую штуку. Как жалко, что все это так пропало без толку».

Загоркотал черемушкинский наш проклятый джаз, и я попросил Дикого выключить приемник.

— Не угощай тебя, Пал Петров,— сказал Дикой,— харчи у меня неприятные. Иной раз самому противно. Баба померла, жалко.

— Я тебе детали пришло из Москвы, какие хочешь,— сказал я.

Он даже замычал от радости.
— Вот за это спасибо, Павлуша,— сказал он,— благодарствую.

Впервые он назвал меня Павлушей.

— Я тогда тебе налил, какие лампы мне нужны и что еще. А то ведь все в обломках приходилось ковыряться.

— Скажи, Адрияш,— спросил я его,— а тебе не страшно тут одному спать в этой избе?

Какая-то удивительная печаль охватила меня и жалость к этому человеку, боль за него. Вот он лежит один в темноте долгие ночи, и даже вспомнить ему нечего.

— Бывает страшно иногда, когда о кончине думаю,— легко сказал он, все еще, видимо, радуясь моему обещанию,— но это редко, Павлуша.

— В бога веруешь? — спросил я.
— В бога не в бога, а в высший дух верую. В тонкое вещество.

— Как же это так получается, Адрияш? Собираешь ты такие сложные аппараты, а веришь в разную чепуху.

— Так уж, верую,— уклончиво произнес он, встал и зажег свою маленькую, тусклую, засиженную мухами лампочку.

— Скажи, Адрияш, вот жизнь наша уже на закате, доволен ты своей жизнью?

Он походил, потоптался, вздохнул. Я наблюдал за ним.

— У меня жизнь с интересом, Пал Петров,— сказал он вдруг дрожащим от волнения голосом.

— Радио, что ли? — спросил я.
— Да, радио и еще одна штука.

Руки даже у него тряслись: так он волновался.
— Что же это за штука?

— Пойдем, — сказал он решительно, — покажу. Тебе первую покажу.

Мы вышли из горницы, прошли через хлев, где стояла одинокая его скотина, старая дубелая коза, вышли во внутренний дворик, когда-то, должно быть, кишевший гусьями и утками, а сейчас пустой, и остановились перед дверью сарая.

Дикой долго возился с ключами, снимая замки. Наконец он открыл двери. За ними было темно и только слышалось какое-то слабое ритмичное щелканье. Дикой пошарил рукой, включил свет. Он сперва ослепил меня, а потом я увидел...

Я увидел ту хитрую машину, которую когда-то мы разломали в баньке. Конструкция была все та же в принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движении, вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-рычаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, и только слабо пощелкивала маленькая дощечка, маленькая дощечка, маленькая дощечка...

— Помнишь? — шепотом спросил Дикой.
— Помню,— тоже шепотом ответил я.

Дощечка щелкала, словно отстукивая годы нашей жизни во все пределы, а также за пределами, вперед и назад, и неизвестно уже, куда катили эти бесшумные колеса...

Мне стало не по себе.
— Забавная штука,— сказал я насмешливым голосом, чтобы взбодриться.— Для чего все-таки она? А, Дикой?

Я впервые назвал его Диким.
— Просто, Павлуша, для движения,— снова шепотом ответил он, не отрывая взгляда от колес.

— Когда же ты ее пустил? — опять же насмешливо спросил я.

— Когда пустил? Не знаю, не помню... Давно, очень давно. Вот видишь, не останавливается.

— Что же это: вечный двигатель, что ли?
Он повернулся ко мне, и глаза его безумно сверкнули уже не под электричеством, а под светом ранней луны.

— Каким, да,— прощептал он с болезненной улыбкой.— А может быть, и нет. Так что... поглядим...

II. МЕСТНЫЙ «ХУЛИГАН» АБРАМАШВИЛИ

1

Почти всегда Георгий ночевал прямо на пляже под тентом. Сразу после танцев, проводя ту или иную даму, он шел на пляж, проверял замки на своих лодках, а потом затаскивал под тент какой-нибудь лежак и растягивался на нем, блаженно и медленно погружаясь в дремоту.

Несколько секунд, отделявшие его от сна, заполнялись плеском воды, смехом, стуком шариков пинг-понга, писком карманных радиоприемников, голосами Анкары и Салоник, шарканьем подошв на cemento...

— Георгий! Ты спишь, Георгий!

Иногда к нему под тент приходили отдыхающие. Тогда он садился на лежак и делал зверское лицо.

— Уходи отсюда, ненормальная женщина! — говорил он. — Раз-два-три, чтобы я тебя не видел. Раз-два-три, нарушение режима!

И отдыхающие уходили, унося с собой как самое нежное воспоминание его грубый юношеский голос, вид его корпуса, облитого лунным светом, как самое трепетное и романтическое воплощение дней, проведенных на юге.

Утром его точно подбрасывала какая-то пружина, он вскакивал, длинными прыжками пересекал полосу холодной гальки, сильно бросался в воду, пересекал ее долго и стремительно, выныривал и переходил на баггерфляй, потом снова нырял и уже далеко от берега ложился на спину, глядя, как над хребтом поднимается огненный лоб солнца.

Этот горячий, полыхающий, садящий глаза лоб солнца, и чистое небо, и маленькая точка утренного вертолета из Гагры — все это обещало еще один день в цепи однообразного, пышного, бездушного уютительного счастья. А для тех, кто, зевая, выходил на балконы дома отдыха, коричневая фигура, бегущая от воды, фигура с втянутым животом и мощной грудью, с длинными летящими ногами, фигура матроса спасательной станции Георгия Абрамашвили была первой приметой этого дня.

Не вытираясь — да полотенца не было и в помине, — он натягивал на себя истерые джинсы тбилиского производства, повязывал на шею платок, подернанный одной немкой, всовывал ноги в сандалии и отправлялся на кухню. Там была позариха — русская женщина Шура, которая кормила Георгия.

— Ешь, Жорик, рублей, — говорила она, смахивая слезы, и ставила перед ним полную тарелку и отдельно на блюдечке три куска сахара и 25 граммов масла.

— Шура, он пришел? — спрашивал Георгий, погружаясь в еду.

— Пришел. Принесла его нелегка, — кивала Шура в окно.

Значит, там, под окном, уже сидел ее муж: она была замужем за греком, пьяницей и дурнем. Обычно грек весь день сидел под окном кухни, питался, а к вечеру пропадал и колобродил всю ночь, где — неизвестно. Шура вечно была заревана, честила своего грека, но если утром его не оказывалось под окном, она горько бедовала, то и дело застывала, подпирая скрепченными руками свои тяжело распаренные груди.

— Пришел, бестия! — вздыхала она. — Ох, неизвестная нация!

— Какая нация, Шура! — вскрикивал грек, и в окне появлялся его сияющая физиономия с оплывшими щечками. — Какая нация!

— Сам знаешь, какая у тебя нация, — ворчала Шура, отворачиваясь от окна.

— Моя нация — шотлан! — куражился за окном грек.

— Ох-ох, — качалась, уперев руки в бока, Шура, глядя на него и словно издеваясь, а на самом деле не в силах сдержать любви. — Выпил, да? Выпил, да?

— Выпил, Шура! За твоё здоровье выпил!

— Ох-ох, ишь ты, герой! Герой! — штыны с дырой!

— Дай поесть, Шура! — кричал грек и прятался на всякий случай.

Шура ставила на подоконник тарелку.

— Дай пятьдесят копеек, Шура! — кричал грек, хватая тарелку.

Шура замакивалась полотенцем, и муж ее скрывался надолго. Шура тогда подсаживалась к Георгию и незидящими глазами смотрела, как он ест.

— Сколько тебе лет, Шура? — спрашивал Георгий.

— Сороковка подходит, Жорик, — отвечала Шура, — а сама-то я вороненская, да ты знаешь.

— Старовата немного, Шура, — говорил он.

— То-то оно и есть, — вздыхала повариха и вдруг как-то воспламенялась и выпраямлялась. — Знаешь, какая я была! В санитарном поезде я служила! Знаешь, девочка какая была — спложник, ножки, талия вот такая, коса вот такая... Врачи за мной бегали с высшим образованием и в чинах, стихи мне писали...

— Шуручка! Ходы-ы сюда на закладку! — кричал шеф-повар, и она вставала.

— Покажу тебе как-нибудь карточку, Жорик. Влюбисься.

Георгию было жалко Шуру: второй сезон она его питала. Он думал о том, что, если бы он родился пораньше и там, на войне, встретил бы ту самую Шуру, лихую девочку с санитарного поезда, он бы тогда полюбил ее, и жизнь ее сложилась бы тогда иначе.

Какая головой и вытирая свои ранние усыки, он выходил из кухни и шел к месту своей работы — к Черному морю.

— Гог! — кричал ему какой-нибудь пинг-понгист. — Дашь пять очков форы, сделаю тебе!

— Не смей меня, дорогой, — отвечал Георгий. — Дешь очков получишь и проиграешь.

Он был одновременно королем пляжа и шутом; он ходил на руках и позировал перед кинокамерами, демонстрировал падения в волейболе; со всех сторон к нему неслось его имя, ответственные работники старались быть с ним по-свойски; полдня он проводил в воде и слыл «Ихтиандром», морским дьяволом, дельфином. И впрямь ему иногда казалось, что он возник где-то на большой глубине, в темных расселинах между скал. За свою работу он получал сорок рублей в месяц плюс питание; не густо, конечно, но жизнь эта его устраивала — в

плеске, в шуме, в свисте, в музыке, покрываясь немилым загаром, он ждал призыва в армию: мускулы его росли.

Он следил за тем, чтобы не залызали за буйки, и в тот день, когда возле ялика появились две головы в голубых шапочках, он встал во весь рост и заржал:

— Назад, ненормальные женщины! Раз-два-три, нарушение режима! Раз-два-три, докладную подам!

Два смеющихся овала прыгали возле ялика, и в воде слабо колебались белые тела.

— Посмотри, Алина, какая анатомия! Какой эллипсичный тип! Ты видела что-нибудь подобное?

— Я ничего не вижу без очков, ах, а ничего не вижу!

Георгий шуганул их веслом. Голубые шапочки повернули назад.

Окастную девицу он заметил уже на пляже. Узнать ее было нелегко после той встречи в море. Она стояла возле самой воды, вытянувшись и подставив лицо солнцу. Она была высока, а рыжие волосы ее, густые и длинные, падали на спину. На ней почти ничего не было, только две узких полоски материи на груди и на бедрах. Да и, кроме того, очки. Иногда она их снимала каким-то удивительным движением: поднималась тонкая рука, поворачивалась чистое лицо с закрытыми глазами, вздрагивала рыжая грива.

Рядом с Георгием отдыхающая показала на окастную.

— Как вам нравится? Голые скоро будут ходить,— сказала она.

— Лично я не возражаю,— с отпуском легкомыслием хохотнул отдыхающий, который у себя дома, должно быть, карал дочь и ее подруг за малейшее легкомыслие в туалете.

Георгий взял в руки мяч и, крутя его на одном пальце, незаметно прошел мимо девицы. Она была в этот миг без очков и не заметила ни вертящегося на его пальце мяча, ни его самого.

Гоги сделал стойку и пошел на руках. Никто на пляже не удивился, все привыкло к таким его выходкам, к брожению его молодой силы, и сам он ни на секунду не думал о нарочитости своих действий, просто потянуло его встать на руки, и он пошел на них. Он шел на руках и смотрел назад на грубое каменистое небо, а может быть, это было и не небо, а выгнутый бок земли, нависший над голубым простором вселенной, и по нему, по этому боку, вниз головой шествовала девушка, удаляясь длинные голени. Девушка почему-то не свалилась в синюю пустоту, а шла, помакивая влялыми красивыми руками.

У Георгия потемнело в глазах, и он сел на гальку. Что-то плакать ему захотелось, и он пощипал себя за усики.

— Гоги! Миленький! — позвала знакомая дама, и он встал, словно молодой дрессированный лев, плакать ему расхотелось.

Потом он увидел, что очкастая его рисует. Она сидела на наддувном матрасике в обществе своей подруги и очень коротко остриженного молодого человека и рисовала в большом альбоме, взглядывая время от времени на Георгия, очки ее то и дело всплывали на солнце. Гоги как раз играл с дамой в бадминтон. Волан взлетал высоко и пропал в солнечном свете, и дама, размахивая руками, бежала к предполагаемому месту его падения. Гоги вспомнил, как бабушка его осудил эту игру.

— Вот еще новости,— сказал бабушка,— пробкой от шампанского вздумали играть! Нехорошая игра.

Игра эта и Гоги казалась тулой и влялой, не то, что пинг-понг, и играл он в нее с дамами только из чистой любви. А в пинг-понг он играл, словно шашкой рубил,— справа, слева,— и защищался, как воин.

Очки перестали поблескивать из-за альбома, склонилась рыжая голова. Георгий бросил играть, зашел сзади и заглянул в альбом. Там он увидел себя, но только в странном каком-то виде— будто бы он был сердит, будто в гневе поднял над головой ракетку, а камень.

— Нравится вам ваш портрет? — спросила очкастая, не оборачиваясь, словно спиной почувствовала, что он стоит сзади.

Друзья ее обернулись и посмотрели на него.

— Почему ноги такие длинные? — спросил Георгий.— Разве у меня такие ноги?

— Элементарная стилизация,— заносчиво сказал грулый молодой человек.

Девочки переглянулись и засмеялись над ним.

Георгий асочил в ярости. Ему показалось, что это над ним засмеялись белокожие женщины, приехавшие с Севера, туманной громадой висевшего над узкой полоской его жаркой земли. Нежные и вялые женщины, с папиросами в длинных пальцах... В гневе и обиде он зашагал прочь.

2

В неделю раз он ночевал на горе у бабушки и бабушки, в маленьком и хилом их домике — 600 метров над уровнем моря. Терраса поскрипывала под его сильным телом, когда он поворачивался на кошке. Лунный свет заливал террасу, мешки с аявой и горку дынь, бочонки, ящики, бутылки разных размеров и рыцарскую утварь деда — бурдюк, огромный рог, охотничье старое ружье.

За стеной стонал дедушка: его мучили боли в затылке; под террасой топотали бабушкины козлята; сама же бабушка Нателла спала тихо, словно девушка, ее не было слышно.

Георгий приходил сюда каждую неделю с субботы на воскресенье. Утром в воскресенье он отвозил вниз на базар бабушкины фрукты, продавал их там, поднимался на гору, отдавал Нателле выручку и снова устремлялся вниз, торопясь на танцы или в кино. Здевший верхний быт ничуть не был похож на быт нижний, шумный и праздничный. Здесь Георгия встречали бабушкины хлопоты, топот козлят, то нарастающие, то стихающие, но никогда не прекращающиеся стоны деда, и скрип колодезного ворота, и тихий, преданный взгляд горной овчарки, запах помета и сырого подземелья, лопата и мотыга, и огромный желтый подъем горы, где на отшибе от поселения стоял домок греческого семейства и где бегала с оравой своих стрелачек четырнадцатилетняя девочка, тонкая и долгоногая, давно выросшая из школьного платья.

Ночью Георгий лежал на животе, подперев кулаками голову, и смотрел вниз на море, по которому светящейся игрушкой полз пассажирский теплоход.

Он думал о теплоходе, на котором когда-нибудь он будет матросом, а художника сидела бы на палубе с альбомом; кроме того, он должен попробовать свои силы в спортивном плавании, ведь он еще ни разу не плавал под хронометр, может быть, он попытал уже все мировые рекорды, а художника сидела бы на трибуне водного стадиона; кроме того, у него еще никогда не было костюма, и он не носил галстука, но когда-нибудь он сошьет себе пид-

жак с двумя разрезами, как у Лезана Торадзе, и поедет в Москву, а художница встретила бы его на улице Горького; о том, что скоро уже придет осень, и его призовут в армию и отвезут на Север, и он увидит большие русские города, и в армии продолжит учебу, а может быть, он станет летчиком, а художница подыала бы голову, и увидела бы в небе белый след от его самолета, и подумала бы... Ах, как обидела его эта художница!

Утром бабушка Нателла разбудила Георгия, дала ему любви, сыр, кувшин маджери и принялась укладывать в чемоданы крупные свои мандарины, крупные и ровные, один к одному.

Дедушка уже сидел на сундуке, подобрал ноги в галошах и длинных коричневых носках, в которые были заправлены старые бостоновые ботинки. Он стоял и презрительно наблюдал за сборами на базар.

— Э,— сказал он,— молодежь! Э-э, ну и молодежь пошла — два чемодана мандаринов на базар везут! Я, когда молодой был, в Астрахани полугона продал, а в Харькове целый вагон продал. Э!

Глаза его, напряженные и тупо-страдальческие, на миг сверкнули далеким и темным рыцарским огнем, но тут же он снова застался, покачиваясь и отключаясь от этих хлопот.

— Продай быстрее, внучек,— сказала бабушка Нателла,— но дорожись. Продай быстрее и беги по своим делам.

Георгий кивнул, вывел из сарая старого дедовского коня, ржавый велосипед, перекинул через раму связанные деревянные чемоданы. Он двинулся вниз по каменной колкой тропе, с трудом сдерживая вихляние велосипеда и его стремление улететь.

Солнце уже встало за спиной, и в море зонзались тысяча огненных спиц, и утренный вертолет из Гагры, похожий отсюда на крохотную стрекозу, уже надвигался на свою посадочную площадку.

Вместе с Георгием в этот час по тропам вниз спешили на базар представители грузинских, армянских и греческих горных семейств. Вскоре Георгий догнал Мишу Габуня, шофера санатория имени Первой пятiletки, который так же, как и он, поднялся раз в неделю на гору в помощь своим старикам. Вдвоем они добрались до базара, взяли весы, заняли места за прилавком, выставили свои товар и написали объявления.

Миша написал: «Мандарины самые лучшие. Цена 1 кг — 1 руб. 40 коп. Можно и за 1 р. 20 коп.».

Георгий написал: «1 руб. 20 коп. Бзз разговора».

Все это, разумеется, было тонкой игрой, призванной привлечь смешливых покупателей, а «з» Георгий написал лишь для этой же цели, для колорита.

Пари прекрасно подходили друг к другу — красавец Георгий и маленький остроумец Габуня с быстрыми, горячими глазами. Вокруг них толпились дамочки, торговля шла бойкая, Миша сыпал «колоритными» шуточками.

Базар шумел. У входа, заложив руки за спину, стоял огромный и толстый директор в хорошо отглаженном голубом костюме и плоской кепке. Рядом стояли представители местной дружины во главе с Авестасомом Илларионовичем Черчековым, наблюдали за порядком. Дальше в два ряда сидели торговцы жинственю. Розовые поросята, тоненько визжа, дергали свои веревочки, пытаются разбежаться во все концы этого мира, оглушившего их младенчество. Куры гроздящим висели вниз голозой, иногда прикрывая налитые кровью глаза. На мягком

асфальте лежали в предсмертной апатии два связанных за лапки петуха. Временами, словно вспоминая старые ссеты, они вскакивали и начинали бешеный, неуклюжий бой, потом в изнеможении падали, расплывались, зарывали клюзы и гребни в зеленые и красные свои перья. Сидели здесь горцы с зяпятами на шею, поджав худые ноги в носках и галошах, и темные старухи с деревянными лицами, и младшее поколение в ковбойках. А дальше шли ряды с бульонниками груш, с баррикадами баклажанов, с пирамидами апельсинов; а еще дальше — желочные мастерские, где шла тайная и ловкая купля-продажа разных пустяков; потом сидели умельцы, производящие по трафаретам клеенчатые коврики с волосяными кизжками и зубчатыми башнями, и, кроме того, в толпе бродил на деревянной ноге лукавый старичок с птицей погубаем на плече. Для удобства вещь птица делала все человечество на русских и армян. Русским она вытаскивала из банки белые билетки, армянам — розозие. Старичок тут был, понятно, ни при чем.

Художница Алина развернула белый билетик и прочла:

— «Попутная дорога обещает бесчисленные наслаждения на основе взаимной привязанности, счастья любви».

Молодые люди, а их уже стало трое вокруг Алины и ее подруги Настя, расхохотались и принялись острить. Повод, конечно, для острот был завидный.

— Алина, смотри, там наш Гог! — сказала наперсница Настя.

— Верно! — весело воскликнула Алина.

Компания повалила к фруктовым рядам.

Георгий твердо смотрел на художницу. Она склонилась к мандаринам. Сарафан ее еле прикрывал белую грудь.

— Здраствуйте, Гог! — Она протнула ему руку.— Вы напрасно обиделись. Мы не над вами смеялись.

Глаза ее за толстыми стеклами расширились, и зубы вспыхнули в улыбку.

— Я хочу подарить вам ваш портрет.

Она вынула из сумки альбом, вырвала лист и протнула Георгию. Потом она пошла от прилавка, часто оглядываясь. Георгий остался с портретом в руке.

— Георгий, дорогой, подари мне эту девочку на день рождения,— попросил Габуня громко, чтобы художница слышала.

Был он скромным семьянином, этот Габуня, а подобные шуточки отпуская опять же только для колорита.

— Вот это пареня,— сказала Настя,— просто бог!

— Сколько ему лет, как ты думаешь? — спросила Алина.

— Лет двадцать пять. Вот уж, наверно, мужчина!

— Да уж воображаю! Может быть, прозреть?

— Попробуй. Он на тебя глаз положил.

— Ты сгорела, Настя.

— Это ты сгорела, а я загорела.

— Еще бы, ты ведь мажешься этим маслом.

— Что это вы шепчетесь? — бросилась к ним кавалеры.

Кавалеры, лукавые бандиты, изворотливые, как ящерицы, угодники, лохотливые козлы и ослы, проч! в разные стороны! всрассыпную! прочь от неч! — под горячим кинжалным взглядом Георгия Абрамашаили.



«Гоги сделал стойку и пошел на руках...» (стр. 13).

Под щелканье длинных лихих ножниц падали на салфетку, на плечи и на пол черные космы морского бога Абрамшвиги. Жужжал вентилятор, жужжали мухи, пахло крепко и протанов одеколоном. Георгий стригся под «канадку».

— На нет или скобочной? — спросил мастер.

Скобочку пожелал Георгий, и шея стала прямой и высокой, как колонны санатория имени Первой пятилетки.

Георгий вышел на улицу. Был он в этот вечер в нейлоновой итальянской рубашке, польских брюках и западногерманских ботинках, которые прислал ему из Москвы двоюродный брат, словом, в полном параде.

— Эй, Гоги, куда собрался? — крикнули ему от стоянки такси Леван Торадзе и вся компания. Лезан с компанией обычно после обеда занимал свой пост на главном перекрестке городка. Стояли они, облокотившись о головное такси, крутили в пальцах брелки, разговаривали друг с другом и с шофером. Когда пассажир занимал машину, подъезжала следующая, и друзья облокочивались на нее. Если же машины на стоянке все кончались, компания тогда переходила через улицу и начинала стоять возле чистильщика. Так стояли они ежедневно до темноты, а потом отправлялись на Турбазу, на танцы, и начинали там стоять.

— Пойдем с нами на Турбазу, — сказал Леван, когда Гоги подошел и со всеми перездоровался, — там знаешь, какие девочки! Не то, что ваши старухи.

— Нет, я к себе пойду, — сказал Георгий.

— Георгию старухи нравятся, — засмеялся кто-то из компании.

— Пойдем, Гоги, выпей с нами вина, — сказал Леван и улыбнулся.

— Нет, я лучше так пойду, — сказал Георгий и тоже улыбнулся.

— Гоги вина еще и не пробовал, — подсмеивался компания.

Он попрощался со всеми за руку и, широко вышагивая в легких ботинках, чуть откинув назад корпус, направился в платановый тоннель, в конце которого за забором уже зажигались лампочки над танцплощадкой.

— Эй, Абрамшвили, стой! — остановила его народная дружина.

Авессалом Илларионович Черчеков был строг.

— Почему не пришел на дежурство? Почему? — спросил он.

— Почему? — счастливо улыбаясь и глядя на близкие уже лампочки, переспросил Георгий. — Почему я не пришел?

— Тебе оказали доверие, выдвинули в дружину, а ты не пришел, — удивленно поднял Черчеков густые брови. — Как это понять?

— Я приду, обязательно приду! — воскликнул Георгий и поплыл, полетел дальше.

— Смотри! — вслед ему крикнул Черчеков.

Что ты, Алина, ты с ума сошла! Посмотри, сколько пришло знакомых, будет скандал, или ты скандела хочешь? Откажи ему гегерь, сумасшедшая!

— Какой же вселился в нее?

— Разошлась Алина!

— А, красавчик грузин!

— Не приглашай его хотя бы на дамский, подожди, позор, ей-богу! Шутки шутками, но зачем тебе это надо, дурацкие шутки — ведь это даже банально, не ходи, ты с ума сошла!

— Я встречал ее в Москве. Говорят, стерва.

— Брось, отличная девка и талантливая.

— Ее муж...

— Ты хочешь, чтобы я ушла? Я уйду! Алина, ну хватит, похотели и довольно, нас зовут, может быть, ты хочешь... Знаешь, давай поговорим серьезно...

— Парень здесь увеселяет дам.

— Может, поговорить с ним по-мужски?

— Не связывайся. Налетят с ножками.

Алина с ума сошла и сняла уже очки, чтоб ничего отчетливо не видеть, чтоб все предметы чуть-чуть расплылись и даже его лицо, но пальцы ее тонкие точно ощущали весь рельеф спины молодого разбойника, услужливого доджунга, и поздри улавливали запах моря сквозь запах «Ширпа». Уйдем, давай уйдем, Алина сошла с ума.

Волны молча шли в темноте, а потом шипящей белой лавой покрывали всю гальку и хлопались о парапет, и Алина с Гоги, стоящие у подножия парапета, были мокры с головы до ног.

— Что же делать, Гоги? — спросила она.

— Не знаю, — пробормотал он, дрожа, не выпуская ее из рук.

— Ты замерз, что ли?

— Не знаю, ничего не знаю.

— Подожди, подожди, ты очки мои разобьешь...

— Не уходи, дорогая Алина, не уходи...

— Слушай, ты знаешь наш корпус, в ста метрах отсюда, над самым парапетом? Крайний балкон на втором этаже?.. Сможем влезть?

— Конечно!

— Пустя, я побегу и буду тебя ждать.

По стене на второй этаж. Какие пустяки! Не так ли когда-то поднимался Таризль в доспехах и с оружием? А ему, мокрому и гладкому, как дельфин, гибкому, как обезьяна, сильному, как барс, влюбленному, как Таризль, по стене на второй этаж — это пустяки!

На балконе ему стало страшно. Он тронул дверь ногой, она скрипнула. Он замер, но дверь заскрипела еще сильнее и отворилась, а за ней в темноте стояла Алина. Она была без платья, и тут ему стало так страшно, как никогда не было страшно в жизни.

— Иди, Гоги, — сдвинуто пропелтала она, — я Настю прогнала.

Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, и одним глазом тайно наблюдал за ней. Она долго была неподвижной, потом зашевелилась, взяла с тумбочки сигареты, щелкнула зажигалкой; огонь осветил ее шею, подбородок, губы, чуть вислый кончик носа...

— Да-а, вот уж не ожидала, — вяло проговорила она и вяло помахала в темноте огоньком сигареты. — Сколько тебе лет? — спросила она, нагибаясь к нему.

— Восемнадцать,— прошептал он.
— Мда-а! — Она засмеялась и погладила его по голове.— Это я над собой смеюсь.
— Хочешь закурить? — спросила она.
Он взял сигарету и сел на кровати.
— Первая сигарета, понимаешь, — сказал он.
— Ну и денек у тебя выдался,— ласково сказала она,— первая сигарета, первая женщина.

За панбархатом, за кисеей очень близко шумел прибор, как будто там шла тяжелая стирка.

— Иди, Георгий, вниз, — сказала она, — сейчас Настя придет. Иди, — она поцеловала его, — не расстраивайся. Все еще впереди.

Он сполз по стене вниз и уселся на край парапета. Вдали в черноте стояло судно, очертаний его видно не было, только светились желтые огни, как будто стоял там стол со свечами, накрытый в ужасную.

«Почему я должен расстраиваться, когда такое счастье, понимаешь?» — думал Георгий.

7

На Турбазе был вечер отдыха: шутили культурники-застейники, грохотал барабанный джаз, когда с четырех разных концов подошли к танцплощадке компания москвичей с Алиной в центре, Леван со своими друзьями, городская дружина во главе с Черчковым и одинокий Абрамшвили.

Георгий издали увидел Алину. Она была очень хороша, и он гордо подбоченился возле колонны и послал к ней гордый и счастливый свой взгляд.

— Нехорошо получается, Абрамшвили, — сказал, подходя, Черчков, — опять ты не пришел в штаб. Как это понимать?

И снова удивленно поднимались его густые брови.

— Отстань, Авесталом Илларионович, — сказал Георгий, глядя на Алину, — отойди, дорогой.

— Хулиганьш, Абрамшвили! — удивился Черчков и зафиксировал уже утвердительно: — Хулиганьш.

Компания Алины сильно разрослась за истекший день: кроме Насти, были уже здесь и другие женщины, а также появились крепко сложенные мужчины лет тридцати пяти, уверенно отеснившие на задний план троицу легкомысленных молодых людей.

Алина наконец заметила Георгия и еле заметно кивнула ему, чуть нахмурилась и тут же отвернулась и мужчине, что стоял рядом, широко расставив ноги в голубых джинсах, расправив плечи в полосатой рубашке, подтянув начинающий тяжелеть живот.

Улыбку Алины и знак ее бровей Георгий воспринял как выражение общей тайны, близости, ласки.

На самом же деле Алина смеялась над собой и над ним, над своим дурацким приключением накануне неожиданного приезда мужа, смеялась, вспоминая неумелые мальчишеские ласки Георгия и подавляя новость откуда взявшуюся горечь. Женщина она была неглупая и добрая, способная художница, в общем-то весьма рассудительная, но в их кругу почему-то за ней утвердился слава «неожиданной женщины». И она чрезвычайно заботилась о поддержании этой репутации. Иногда она думала о себе: «пошлая баба», но все-таки нужно ведь было ей заботиться о своей репутации «неожиданной женщины». И она иногда выкидывала «неожиданный» номера.

— Хелло, друг, — сказал, подходя, Леван, — посмотри, какую я заметил женщину. Великолепная женщина.

Он показал на Алину.

— Это моя женщина, — сказал Георгий, и от счастья и гордости все струны в нем натянулись и загнулись.— Не смотри на нее, Леван. Любовь, понимаешь!

— Понятно, Гоги, — сказал Леван и скрестил руки на груди.— Друзья одной помадой губ не мажут. Он был доволен, что высказал один из параграфов своего курортного рыцарского кодекса.

Георгий зашел к Алине, чуть-чуть, вежливо взяв за талию, подвинул мужичину и поклонился ей.

— Ого! — сказал мужчина, взглянув на него.— Горный оро!

Алина танцевала ловко и красиво, но, конечно, не так, как тогда она танцевала. Георгий встревожился, глядя ей в очки и пытаясь уловить выражение глаз. Увы, очки отсвечивали, лишь иногда мелькали в них зрачки, но понять что-нибудь было невозможно.

— Алина, давай уйдем, — шепнул он, как она шептала ему тогда.

— Приехал мой муж, — усмехнулась она, — и поэтому... ты же понимаешь... и вообще не будем вспоминать и...

— Давай уйдем, — шепнул он, не вслушиваясь в ее слова, а только чувствуя течение речи.

— Я же говорю тебе — муж приехал, — с маленьким раздражением произнесла она.— Мой законный муж, серьезный человек.

— Какой муж, что ты говоришь! — в ужасе и смущении заборотал он.— Глупости говоришь, дорогая...

Они танцевали в центре площадки, а вокруг буживал вечер отдыха, и под крики и визг культурников танцующие оцищали место действия то ли для бега в мешках, то ли для ловли призов с завязанными глазами. Они остались одни. Музыка смолкла. К ним уже бежали культурники, а Гоги все не отпуская Алину.

— Пусти немедленно, — зло прошептала она.— Мальчишка, дурак, пусти!

На шею у нее вздулись вены.

— Я твой муж! — закричал вдруг Георгий.— Я тебя увезу! Я тебе спрячу! Я не отдам!

Происходило что-то дикое и нелепое. Их окружили культурники, еще какие-то люди. Слышались выкрики.

— Позор! Совсем обнаглели!

Какие-то лица мелькали перед Гоги: ошаренные лица Левана и его друзей, ее лицо без глаз, с огромными стеклами, деловые лица дружинников, возмущенные лица, ухмыляющиеся, тяжелое лицо того человека, ее мужа, его тяжелая рука...

Тут произошла вспышка, похожая на длинный кустистый разряд молнии, и рассеченное время стало плавиться, оплзать, зрение Гоги застил красный туман — это его военная древняя кровь хлынула в мозг, он закричал что-то, чего и не знал никогда, и он не помнил потом, что он сделал, а опомнился через секунду уже в руках двух дружинников.

Из-за плеча Черčkова вспыхнул блиц — Гоги сфотографировали.

Потом его вывели за ворота Турбазы.

8

По вечерам на парапете сидит старик горец, шамкает что-то и за патнадчат копейк наливает желанному маджари из автомобильной канистры.

Знающие люди легонько толкают старика в плечо, подмигивают ему, словно он может в темноте увидеть это подмигивание, суют полтинники, и тогда он

лезет в корзину, разворачивает тряпки, вытаскивает оплетенную бутылку и наливает знающему человеку добрый стакан чаи. Итак, в мальчишескую прекрасную жизнь Георгия бурно ворвались первая женщина, первая сигарета, первый стакан водки.

Он долго плавал в темноте, пока не попал под луч прожектора. Тогда он выбрался на берег, натянул штаны и рубашку и заснул на остывшей уже гальке.

9

В сатирическом «ожке» городской дружины, которое называлось «Солнечный удар», появилась фотография Гогиной головы, к которой пририсовано было изваяющееся в безобразных конвульсиях тело. Текст гласил: «Дезушамк строго воспрещается танцевать с местным хулиганом Георгием Абрамашвили, 1945 г. р.».

Леван Тордзе по этому поводу высказался так: — Разве так делают? С девушками делают совсем по-другому. Гоги — осел!

Авессалом Илларионович Черчекоев докладывал об этом случае так:

— Ничего страшного не случилось. Георгию Абрамашвили мы дадим возможность исправиться. Еще раз в связи с этим хочу поднять вопрос о мерах наказания безобразных бесстыдниц, которые к нам приезжают для поправки сил здоровья. У нас молодежь южная, горячая, а они разгуливают по городу, понимаете ли, фактически без ничего, и отсюда вытекают печальные факты, недоразумения. Нужно штрафовать!

Сам Гоги молчал и думал: «Нехорошая женщина Алина. Почему она такая нехорошая!»

10

Георгий сидел на самом солнцепеке над обрывом возле вагончика, в котором жила водолазная команда. Внизу, под обрывом, метрах в двадцати от берега, с маленького катера опускали в море водолаза. Вот завинтили у него на шее шлем, толстак какой-то хлопнул ладонью по шлему, и водолаз ушел в глубину.

Георгий сполз по обрыву вниз, поплыл и в двадцати метрах от берега нырнул.

Там, где работал водолаз, было уже чуть-чуть темновато и прохладно. На камнях качались длинные водоросли. Гоги поплавал немного вокруг водолаза, заглянул к нему в стекло, увидел смеющийся глаз молодого парня, подмигнул ему и пошел вверх.

В пронизанной солнцем воде над ним качалось днище катера, он вынырнул рядом и взял рукой за борт.

— Ты! — сказал ему толстак с катера. — Ну и силен! Иди к нам работать, кацо.

— Нет, — сказал Георгий, — я скоро в армию иду. В авиацию.

Поплыл к берегу, посидел немного на берегу, оделся и пошел в парк.

В парке, возле горбатого мостика, притихло повисшее над пересохшим ручьем, сидела повариха Шура. Перед ней на газетке лежали куски пемзы разной величины.

— Здравствуй, Шура, — сказал Георгий.

— Здравствуй, Жорик, — сказала Шура, виновато как-то улыбаясь.

На голове у Шуры был выцветший платок с надписями «Рим», «Париж», «Лондон» и с видами этих столиц.

Гоги сел рядом с ней и закурил.

— Вот видишь, — кивнула Шура на газету, — пемзы насобирала. Торгую. Может, наберу своему ироду на сто грамм. Вот ведь иго ноземное, а, Жорик?

— Да-а, Шура, — сказал Георгий. Ему было хорошо сидеть рядом с ней и чувствовать к ней жалость, добро.

— Что же ты не питаешься, Жорик? — спросила Шура. — Совсем не ходишь.

— Уволился, — сказал он. — Скоро в армию иду. Скоро, Шура, летчиком я стану.

— А ты все рано приходи, — сказала Шура. — Приходи, Жорик, я тебя питать буду. А сейчас закуришь мне дай.

Они посидели немного молча, покуривая и глядя на аллею, которую пересекали редкие отдыхающие под зонтиками.

— Вон он идет! — вдруг вырвалось у Шуры восклицание, звонкое, как у девушки. В конце аллеи, влоча широкие штаны, появился ее муж. — И-идет, древний грек! — азвительно пропела Шура, а в глазах ее светилась любовь.

— Здравствуй, Шура, — смущенно хихикая, сказал грек. — Торгуешь?

— Торгу! — закричала Шура. — Ради тебя тут сижу всему народу на позор.

— Конечно, ради меня, Шура, — заулыбался грек, протягивая уже ладонь и выворачивая большой палец. — Введь я твой муж.

— Муж! — Шура уперла руки в боки. — Ох, уж и муж! Муж обелся груш.

Георгий оставил супругов на мостике, а сам пошел вдоль ручья к ущелью. Идти было приятно: сзади жарило солнце, висевшее над морем, а в лицо дул прохладный ветер из ущелья. Желтеющие уже листья платанов важно колыхались.

На окраине, возле станции, стояли в ряд четыре палатки военно-строительного отряда. Георгий прошел мимо них, с любопытством заглядывая в глубь каждой. Там шла тихая жизнь: солдат в майке писал письмо, другой лежал на койке с книгой, третий под взглядом Георгия испуганно встrepнулся — оказывается, разглядывал в зеркало свой затылок, — четвертый спал. К расположению отряда подъехал грузовик с кравием, трое солдат прыгнули в кузов и принялись сбрасывать лопатами гравий.

— Что стоишь, кацо, подосби! — крикнул один из них, длинный, в одних только трусах и сапогах.

Георгий взял лопату и прыгнул в кузов.

— Да я шуцу, — сказал длинный парень.

— Ничего, — сказал Георгий, и они заработали вчетвером.

— Пошли купаться, — сказал потом длинный Георгий, напялив на себя мешковатую тропическую форму, нахлобучил зеленую панаму с вислыми полями, и они пошли вдвоем к морю.

— Житуха! — сказал парень, жмурясь на море. — Ты местный?

— Ага, местный. Я скоро тоже в армию иду.

— Советую тебе, друг, просись в строительные отряды.

— Нет, я в авиацию. Мне вчера военком обещал.

— А-а, в авиацию, — сказал солдат, видно, задумавшийся о чем-то своем. — В авиацию, значит... А я так решил, дорогой кацо. Сам я москвич. Так! На «Красном пролетарии» работал. Там у меня и девчонка осталась — нормировщица. Мне в военно-строительном отряде деньги платят. Верно? Понял? А я их на сберкнижку кладу. Правильно? Вернусь к своей девчонке с деньгами. Верно или нет? И тогда мы купим мотоцикл с колеской и будем с ней го-

нять по живописному Подмосквью. Ну, и вечернюю школу закончим. Правильно я говорю?

Возбужденный своими мечтами, солдат все сильнее махал руками. Георгий еле поспевал за ним.

— Правильно говоришь, солдат.

— А ты, значит, в летние войска хочешь? В аэродромное обслуживание? — заинтересовался солдат судьбу Георгия. — Тоже дело. Специальность можно хорошо приобрести.

Они уже бежали к морю, двое мальчишек с торчащими ушами.

— Я хочу... — сказал Георгий и на миг сощурился под нестерпимым блеском солнца и моря... — Я хочу...

Что-то вдруг прозвонило его в этот миг. Он словно услышал какой-то далекий, очень далекий, бесконеч-

ный зов и бессознательно стиснул кулаки, пытаясь понять, чего же он хочет и что это за звук, услышанный им.

Может быть, его принес ветер древней Мескетии, пролетевший по всем грузинским ущельям — от неприступного Вардзия сюда, к юноше Абрамашвили? Чего он хочет?

Путь им пересек шлагбаум, и они остановились. Прощел скорый поезд Сухуми — Москва.

— Гогги! Приветки, Го-о-огги! — Поезд унес этот крик в туннель.

Они побежали дальше к морю.

— Я хочу стать космонавтом! — яростно закричал Георгий.

— Тоже дело, — одобрил солдат.

Ш. ТОВАРИЩ КРАСИВЫЙ ФУРАЖКИН

Адя Митя заправлялся в пельменной и соображал. Без всякого внимания и сосредоточенности он отправлял в рот пельмени, бульон, автоматически перчил, подсаливал, подливал уксусу, а сам в это время чутко следил через стеклянную стенку за стоянкой такси.

Зимний сезон для таксиста в Крыму — время скучное. Работы мало, а шабашки и подавно, но сегодня что-то было особенное: слишком уж много скопилось на стоянке машин.

Плотными рядами стояли здесь «Волги» из Симферополя и местные, ялтинские, были здесь также феодосийские машины, севастопольские, а в стороне от общей кучи стоял черный «ЗИЛ» дяди Мити.

Иные водители спали у рулей, иные читали, большинство, собравшись в толпу, обсуждало разные вопросы, а дядя Митя заправлялся вот в пельменной и соображал:

«Если я тут очереди буду ждать, — погорю. Если на Алушту стронусь или к санаторию «Донбасс», — может, погорю, а может, и нет. Но ежели я там кого подберу, то обратно все равно на индексе шпарить; Симферополь третий день самолеты не принимает, пассажирова нет, не годится. Но здесь-то ждать — дело гиблое. Того и гляди, Жорка Борбарян прикатит, сорвет мне всю коммерцию».

Так и не приняв никакого решения, дядя Митя вышел из пельменной. На стоянку он не пошел, а стал прогуливаться по близлежащему переулку. Издали он увидел, как из ворот рынка вышла его теща. Ежели бы за кулишные успехи присваивали научные звания, то теща дяди Мити давно стала бы профессором. Сейчас она выносила с рынка связанных за лапки трех курей. Оставалось только облизнуться: при виде так курей. Вот ведь работенка выдалась на старости лет — домашней не успеваешь заскочить похарчиться. А похарчишься дома, так тебя за это время так обставят, будь здоров! Как раз и подкатит за это время Жорка Борбарян. Остается трескаться эти пельмени, будь они неладный!..

А теща-то, теща... Идет, как плывет, как та самая гусыня плывет.

Дядя Митя вспомнил, какой была теща лет тридцать назад, до войны, — ладная была такая бабенка, веселая, разбитная. Массовиком она тогда работала в санатории «Парижская коммуна», а дядя Митя как

раз привез в тот санаторий на «лаккарде» ответственного товарища из КрымЦИКа.

Вот ведь история получилась у него с тещей, просто смех. Женился он сразу после войны, уже тридцатилетним мужчиной. Ну, женился, и хорошо — жена, теща, родственники, полный комплект. Только раз на гулянке по Октябрьские завели на патефоне старую пластинку «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу?» Прокрутили — и хорошо, но теща просит еще раз ее поставить. «Напоминает», — говорит, — мне эта пластинка один вечер. «Какой же это вечер?» — интересуется дядя Митя, которому и самому эта пластинка напоминает один вечер. «Так, один странный волшебный вечер, — со значением туманится теща, — я тогда работала в культмассовом секторе». В общем, слово за слово и вспомнили они санаторий «Парижская коммуна», и «лаккард», и вальс «Бостон», после которого отправлялись в парк погулять, и друг друга вспомнили. Хорошо, что жены дяди-Митиной на кухне не было во время этих воспоминаний, не видела она, как покраснела теща и руками на него замаяла. Вот ведь как иной раз бывает!

С того дня установились между дядей Митей и его тещей замечательные товарищеские отношения. Всегда теща держала его сторону в спорах с женой, и кормила хорошо, и внуков приучала уважать бабку. Вот что значит иметь общий романтический секрет!

«Да, — подумал сейчас дядя Митя, глядя на проходящую вдали тещу, — прямо и смех, и грех, и греческий орех».

Тут он увидел идущего к стоянке такси человека в заграничном плаще и с чемоданом в руке. Это был я.

— Черный «ЗИЛ» вас устроит, товарищ? — спросил меня дядя Митя.

— Полное, — ответил я.

— В Симферополь едете? — спросил он.

— Да.

— Тогда позвольте ваш чемоданчик.

Он схватился за ручку, я придержал, но он настоял и понес чемодан впереди.

На стоянке водители закричали:

— Опять ты очереди нарушил, дядя Митя!

— Товарищ на «ЗИЛ» претендует, — на ходу покзал на меня дядя Митя.

— Мне все равно в конечном счете, — сказал я, — «Зил», «Чайка», «Волга»... — Разумеется, я шутил.

— Видите, гаврики! — сказал дядя Митя. — Это особый случай.

— Химик ты, Митька! — сердито сказал ему его сверстник Семен Вольф.

— Сама, шал! Закончил этот разговор. Прошу, товарищи, садитесь. Сиденье кожаное. Сейчас поведем, радио включим. Поедем стремительно и под джаз. Одну минуточку!

Окруленный первым успехом, дядя Митя снова побегал в переулок. Минут пять он там рыскал, а потом выйдя с автобусной остановки трех женщин с узлами и кошельками. Не глядя на водителя, он провел женщин к машине, усадил их на заднем сиденье, закинул часть узлов в багажник, а часть навалил женщинам на колени.

— Ну и химикит дядя Митя! — говорили водители. — Некрасиво ведет себя товарищ, — сказал молодой водитель Горбачев, недавно демобилизованный с флота.

— Красиво — некрасиво, а он сегодня будет в порядке, — возразил Вольф.

«Еще бы одного человека бог послал!», — страстно мечтал дядя Митя.

И тут, как в сказке, добавил еще один, мордастый дядька в драповом пальто. Теперь дядя Митя был в полном порядке, на высшем уровне.

— Вы мне первое местечко не уступите! — обратился последний пассажир к первому, то есть ко мне. — Уступите, пожалуйста, поскольку я туберкулезный инвалид. Вы не смотрите, что я такой здоровый. Внешняя упитанность ни о чем не говорит.

Он весело захихикал, вытаскивал из внутреннего кармана трубочку рентгеновского снимка.

— Хорошо, хорошо, — торопливо сказала я, — пожалуйста, если это нужно для здоровья.

От инвалида исходил крепкий винный дух. Этим утром он уже успел побегать по набережной, отправляя в свой желудок все, что попало: портянки под портянки, кубанская так кубанская, шампанское — опять туда же.

«Какой-то гипноз», — думал я, сидя на откидном сиденье, теснимый узлами и коленями женщин. — Ведь я мог спокойно поехать один на «Волге», вон их сколько, и женщины могли занять «Волгу»; это какой-то гипноз.

Дядя Митя, отъехав от стоянки, удовлетворенно хмыкнул, потом, покрутив по горбатым улочкам старой Ялты и выехав на широкую Московскую улицу, опять хмыкнул и, наконец, выбравшись на шоссе и переключив скорость, хмыкнул совсем уже довольным и оглянулся на пассажиров. Задняя часть машины уютно была набита людьми и узлами. Почти полный комплект. Конечно, еще одного человека на второе откидное не мешало бы, ну, да ладно, может быть, по дороге подберем!

Иза поворота выкатил встречный «Зил» Жоржи Борбаряна. Дяде Мите показалось сначала, что идет Жоржа порожником. Нет, не такой человек Жоржа: на заднем сиденье у него все-таки кто-то маячил.

— Э-и-ей, дядя Митя! — крикнул Жоржа, высовывая голову из окна, и в голосе его, конечно, было восхищение сноровкой старшего товарища. Дядя Митя только успел ему сделать ручкой. Жоржу он уважал. Подпирал молодежь, на ходу подметки режет. Но только не сегодня. Сегодня дядя Митя почти в полном комплекте. Чуть-чуть лопухнул сегодня Жора. Ну, ничего, он свое возьмет!

Дядя Митя опять обернулся к пассажирам.

— Что, дорогой товарищ, девочки тебя там еще не одолели! — обратился он ко мне. — А девочки-то смотри какие сдобные, жаркие, пух-перо, душечки-ватрушечки. Эх, кабы я теши не боялся, приглотнул бы вас всех!

Женщины эти, пожилые, темные лицом и суровые, вовсе не располагали к подобным шуточкам, но от дяди-Митиних слов как-то сразу они огорошились, поправлять стали платки и махать на него руками — шут, мол, с тобой, изды, мол, сагана!

— Не обижайтесь, бабоньки! — весело закричал дядя Митя. — Я человек не обидный, козыльных слов не употребляю. Другие есть, знаете, товарищ, — обратился он ко мне, — палец зашибет, так ругается, весь изматерится, как сукни сын, а я нет. Ну, иногда скажу чего-нибудь под сливочным маслом, так это так, просто для веселья.

Он на минуту задумался, вспомнил, как позавчера в парке на тегосмотре Семка Вольф палец свой зашиб. Вот уж материл, вот уж сверносплювил за этот палец! Надо же, какие бьют люди!

Туберкулезный инвалид вдруг цапнул его за колено.

— Эй, водитель, штаны-то у тебя, я гляжу, хромые!

— Трофейные, — сказал дядя Митя.

— Я и гляжу, что трофейные!

— Сносу нет.

— Я и гляжу, что сносу нет!

Дядя Митя с улыбкой стал смотреть на инвалида, а инвалид, развернув бычью шею, с улыбкой смотрел на него. Поняли они друг друга.

Инвалид вынул рентгеновский снимок, развернул его и приложил к ветровому стеклу всем на обозрение. Он болел туберкулезом уже лет десять, все время лечился, все время лечился удачно, пользовался льготами и не тужил. Рентгеновские снимки он любил даже больше, чем свои фотографические карточки.

— Вот, — сказал он, — видите, красота кака! Пневмоторакс-то какой, а? Раньше у меня слева был красец — распустили, а теперь справа наложили, и тоже получились замечательный.

— Батюшки-свети! — анули сзади женщины. — Это что же такое?

— Это, сестрички, газ! Дуют мне его в бок через иглу по шестьсот кубиков в неделю.

— Бациллярный, браток! — спросил дядя Митя инвалида. Сам он туберкулезом не болел, но разбирался в этой болезни через больных, которых много возил по трассе Симферополь — Ялта.

— Нет, — ответил инвалид, — теперь я чистый. Да они мне теперь и не нужны.

— Что вам не нужно? — поинтересовался я.

— Бациллы Коха мне больше не нужны. Квартиру я уже получил у себя в Керчи, ха-а-рошая квартира. Вообще, товарищи, между прочим, кроме шуток, между нами, лично я туберкулезу только благодарный. Сам посудите, бесплатно жил в замечательных здравницах. Людей посмотрел, себя показал. В прошлом году в Теберде был восемь месяцев. Высокогорный курорт, живописное место, культурное общество, медицинские сестры. Останови, браток, у буфета, заправиться надо.

— Ага, а вот у нас был случай, — подхватил дядя Митя. Он любил, когда пассажир попадался разговорчивый, но особенно забавляться не давал, потому что самому нравилось поговорить. — Вот, значит, был такой случай... Ты погоди с буфетом, здесь буфетов много. Вот был случай, так случай. Я тогда на грузовой работал. Везу, значит, я в Сочи

плетеную мебель для какого-то там санатория, а под мебелью-то у меня, хи-хи-хи, кавуны. Один добрый человек попросил на рынок в Евпаторию подобрать. Смотрю, у обочины под кустом сидит на мотоцикле товарищ Красивый Фуражкин, инспектор, газету читает, а мимо грузовики идут, хоп бы что. Только я подвезжаю, поднимает он свою палочку-стукалочку. Стоп, дядя Митя, приехали — выборочная проверка. Что делать, а? Я вас спрашиваю, дамы и господа, куда мне деваться с легким грузом? Делаю вид, что не замечаю сигнала, а сам по газдм, по газдм. Оглядываюсь — что-то у инспектора мотор не заводился. А я уже за поворотом скрылся. Все равно, думаю, достигнет меня этот коршун на своем форсированном мотоцикле. Сворачиваю в Каштановку, там у меня мужик знакомый хозяйство держит, тоже помогал я ему с перевозками. Заезжаю прямо к нему во двор, кавуны мы температурно сгружаем и под рогожку, а плетеную мебель на место. Тут как раз и подвезжает лейтенант. «Почему,— говорит,— сигналов не слушаетесь?» «Виноват,— отвечаю,— никаких сигналов не видел». «А это,— говорит,— у вас что за груз?» «А это у меня плетеная мебель в Саки, вот наряд. Приветник!» Лейтенант: «Откройте борта!» Откидываю — чисто! «А почему,— говорит,— в Каштановке скрылись?» «Эх,— говорю,— товарищ Красивый Фуражкин, что же, нельзя к приятелю заехать, чашку чая выпить?» «Смотрите,— говорит,— смотрите, я ведь,— говорит,— все понимаю». Уехал. Я, конечно, кавуны назад в кузов. Вот ведь как бывает. Я вас не шокирую, товарищ, своим рассказом?

— Ничего,— сказал я, — что же поделаеть.

— Ага, по-всякому бывает,— заговорил инвалид, воспользовавшись паузой.— Вот меня тоже один раз профессор вызывает и говорит: «У вас, Кашкин, очень интересно протекает процесс, я,— говорит,— хочу про вас научную работу написать...»

— Так, так,— пასково сказал ему дядя Митя, как бы ободряя его для рассказа, а на самом деле желая прервать.— Это вы правильно, товарищ, заметили, что ничего не поделаеть. Материальный фактор вибрирует. Вот ты нам, друг-инвалид, про профессора рассказываешь, а со мной был такой случай. Ночью, значит, еду я в Феодосию, везу на рынок абрикосы. Один из Бахчисарая попросил подобрать. Километров двадцать не доезжая, смотрю, выворачивает на шоссе, узнаю по фаре, капитан Лисецкий. Я скоростя врубаю, иду, как на гонке. На счастье колонна в Феодосию шла, я в нее и втерся. Лисецкий едет, смотрит, где я, а я в колонне. Он и не заметил.

— По-всякому бывает,— подтвердил инвалид.— У нас в Керчи на заводе вызывает меня как-то главный инженер и говорит...

— Вот-вот, то-то и оно,— подтвердил дядя Митя.— Я вот тоже в Джанкой один раз приехал ночью, в там вокруг рынка ходит Щербакхов. Что, думаю, делать? Смотрю, Петро едет, наш водитель. Он сейчас в Монголии работает. Петро, говорю, выручай... Дядя Митя прервал рассказ и чуть было не икнул от неожиданности. Он увидел слева от себя в зеркалке лицо Ивана. Иван почти уже поравнялся с «ЗИЛом». Как всегда на шоссе, молодое лицо Ивана было каменным, и каменность эту еще увеличивал рывашок фуражки, охватывающий подбородок. Руки Ивана в кожаных перчатках твердо лежали на руле мотоцикла.

Он обогнал «ЗИЛ» и пошел прямо впереди, покидая своей палочкой-стукалочкой на обочину.— Прямится, мол, товарищ водитель.

Дядя Митя остановился и вылез. Иван тоже слез со своего мотоцикла. Они пошли друг другу навстречу.

чу. Дядя Митя улыбнулся Ивану. Иван не улыбнулся ему.

— Обычный рейс,— сказал дядя Митя,— везу пассажиров в Симферополь.

— Что у вас в багажнике?— сурово спросил Иван.

— В багажнике у нас багаж, Ваня,— улыбнулся дядя Митя.

— Откройте!

Дядя Митя открыл багажник и показал молодому офицеру мешки женщин.

— Это ваш багаж, товарищи?— спросил Иван у пассажиров.

— Наш, батюшка, наш,— испугались женщины.

— Следуйте дальше,— сказал Иван, козыряя дяде Мите.

— Эх, Ваня-Ваня,— пожурил его дядя Митя.

— На шоссе я для вас не Ваня, а младший лейтенант Ермаков. Сколько раз было говорено!

Иван сел на мотоцикл и, с места набирая скорость, помчался сквозь моросящий дождь вверх по дороге, скрылся в ближайшем облаке.

— Также товарищ Красивый Фуражкин,— сказал дядя Митя, с печалью глядя ему вслед,— а ведь пацаном я его еще знал. Учеником он у нас на базе был, болты мыл. Темный был, как антрацит. Потом, значит, набирали у нас молодежь в школу ГАИ, он и пошел...

Дядя Митя замолчал.

— Бывает,— сказал инвалид,— вот у нас, я помню...

На этот раз инвалиду удалось досказать до конца какую-то свою историю. Дядя Митя его не перебивал, он лишь хмуро смотрел перед собой на высиженные впереди туманные кручи. Ветровое стекло все запотело, потянулось по нему длинные струйки. Собачья погода была прямо под стать дяди-Митиному собачьему настроению. Он включил «дворники». «Дворники» мерно задвигались, каждым своим ходом как бы открывая перед дядей Митей картины прошлого. Он вспомнил, как пришлось ему уйти из грузового транспорта, как прекратилась его увлекательная, опасная, но выгодная работенка, как перестал он быть хозяином Крыма, а стал вот на этом паршивом такси комбинировать по мелочам. И всему виной главный его обидчик — Иван Ермаков, товарищ Красивый Фуражкин.

До его появления на крымских трассах дядя Митя не знал больших бед. Бывало, конечно, недоразумения с капитаном Лисецким, со Щербакховым, со старшим лейтенантом Гитридзе, с другими товарищами, но все это были легкие недоразумения, заблуждения, дым и туман. Ему удавалось притупить бдительность автоинспекции, а то и просто по-пиратски нагло уйти, скрыться, обмануть; примерно так, как он рассказывал нынче пассажирам.

Младший лейтенант Ермаков сразу стал к нему особо присматриваться. Бывало, идет вровень по осевой полосе и смотрит, смотрит. Привет, Ваня, скажешь ему, а он мурчит: я, мол, вам не Ваня. Был, мол, раньше Ваня, вы его за папиросами гоняли, бедного Ваню, вы это забудьте. Телерь, мол, я вас погоняю — младший лейтенант милиции Иван Ермаков. Такое у него примерно было выражение лица.

Потом он стал прихватывать дядю Митю, и все по мелочам: то за превышение скорости, то за неправильный обгон, то за несоблюдение дистанции. Штрафовал. Рублей, конечно, дяде Мите было не жалко, у него в то время водился презренный металл, но было как-то обидно и, главное, тревожно — чувствовал он, что подбирается Ермаков к самому главному, к левым его делам.

— Мелочишься ты, Ваня,— как-то сказал он ему во время очередного штрафа.

— Я вам не Ваня! — рявкнул Ермаков.

— Эх, Ваня-Ваня,— продолжал дядя Митя,— ведь ты у нас на базе когда-то болты мыл.

— Да, мыл. Ну и что же!

— Эх, Ваня, добра ты не помнишь. Помнишь, как я за тебя перед директором вступился, когда ты с базы ключи унес?

Ермаков покраснел и еще больше нахмурился.

— Это пятно я давно уже смыл,— сказал он,— и поручился за меня комсомольская организация, а не вы, и потом сколько раз говорено: я вам не сват, не брат и не Ваня!

Как-то раз дядя Митя рано закончил работу и поешком направился к своему дому. Был разгар летнего сезона, и все население Ялты, временное и постоянное, теснилось на пляжах, терлось боками друг о дружку.

Дядя Митя с удовольствием выпил пива, с удовольствием закурил папиросу и с удовольствием посмотрел на видневшуюся среди вечнозеленой растительности крышу своего дома.

По дороге он зашел в суперкассе и сделал очередной вклад. В суперкассе привлек его внимание плакат денежно-вещевой лотереи. В целях рекламы здесь были отпечатаны снимки счастливых с их выигрышами. Домохозяйка П. С. Курцер из Шепетовки выиграла стиральную машину, инженер П. П. Горюхов из Донецка изображен был рядом с приемником «Эстония», бухгалтер В. Н. Панченко из Харькова любовался выигранным ковром... Особое внимание дяди Мити вызвал снимок, на котором показан был человек средних лет, который, сняв от редкого счастья, выпавшего на его долю, прислонился к новенькому «Москвичу-407». Подпись под этим снимком гласила: «Ф. Ч. Кулик, житель из г. Джанкоя». Не бухгалтер, значит, не инженер и не домохозяйка — житель, и все.

«Свой парень», подумал дядя Митя, внимательно разглядывая «жителя».— Эх, достать бы мне гденибудь выигранный билет, хоть за любые деньги. Был бы тогда «Москвич» у моего семейства. А так ведь купили, сразу начнут источник дохода искать. Добройоты, мать их так!» С этими мыслями он подошел к своему дому, вошел во двор, твердый и яркий от солнца, проверил, как работает насос в колодце (хорошо работал насос!), потом обошел молчаливый дом, громко покашливая, погулял по щедрому своему саду, предмету тещины забот, потрогал вблочку (удались, родимые!) и только тогда медленно и шумно стал подниматься по лестнице.

Дом у дяди Мити был просторный, крепкий, в пять комнат, с кухней и санузелом. В сезон, конечно, четыре комнаты занимал разный сборный люд из северных городов, а дядя Митя с семьей — с тещей, с женой Александрой, со старшей дочкой, Изабелкой, с ребятами Виткой и Игорьком — помещался в одной комнате и в пристройках, в сарайчиках, которых несколько было во дворе.

Как дядя Митя верно предполагал, жильцы все, а также теща с детьми околачивались на пляже, и в доме оставалась лишь его жена Александра. Дядя Митя, конечно, твердо знал, что жена Александра ему не изменит и даже в мыслях не держит этого греха, но все-таки на всякий случай всегда вот так напялял, топтался и шумел, прежде чем войти в дом, предупреждал, в общем, о своем приходе, чтобы не было неожиданных сюрпризов. Зачем лишние скандалы в доме!

В этот раз он застал Александру, как всегда, в прохладной комнате. Она лежала на оттоманке, под-

ложка под голову мягкую руку, а на груди у нее покоилась замечательная ее коса. Женщина она была совсем еще старая, мягкая, ленивая... Дядя Митя тут посмотрел на нее и совсем остался довольный.

Затем приблизился вечер, жара спала, установилось по всей округе прозрачное вечернее освещение. Дядя Митя услышал, что по двору забегало множество крепких ног, и спустился вниз, оставив на оттоманке жену Александру.

Любезно он поговорил с жильцами, дружески перемигнулся с тещей, подкинул в воздух шестилетнего Игоря, Виктора за ухо потянул и полюбовался на Изабелку, которая у калитки вертелась, играла на чувствах выскоченного парня в тельняшке с красивыми полосами.

Изабелка получилась не в мать — вертлявая, озорная, парни за ней ходят гуртом, дерутся из-за нее, а она только смеется, дита юга.

— Забудь тебе пора, Изабелка,— говорит ей обычно дядя Митя,— как бы греха не было.

— А я греха не боюсь! — смеется дочка.— Что это за старомодные разговоры, май фазер! Отстающее у вас поколение.

Жутким образом любил дядя Митя свою Изабелку. Вообще все свое семейство он очень сильно любил и гордился благополучном, царским в доме. Для этого и пиратничал по крымским дорогам, для таких вот часов, да вечернего отдыха души.

Теща уже накрывала на стол прямо во дворе под платаном, тещина трескунки сковороды, крошила в салатницу помидоры, огурчики, выставила на стол бутылку с молодым вином, подоброщенным на днях одним из дяди-Митиных клиентов.

— Митя, Вита, Игорек, Изабелка, Александр! — кричала она.— Занимайте места согласно купленным билетам.

Дядя Митя первым сел к столу, чтобы своим примером завлечь подрастающее поколение.

— Что это за фрэворчек с Изабелкой, тещенька? Не интересовались? — спросил он.

— Неделю уже ходит,— отвечала теща,— остальных всех распугал. Говорит, что инженер.

Дом булькал, хлоптал, поскрипывал. Дядя Митя благожелательно наблюдал, как быстро пробегали по двору приезжие хозяйки, соображая нехитрые ужины, как московские и ленинградские детишки тем временем крутили на худеньких чреслах свои обручи, как копошились все его ежедневные шестнадцатые рубликов.

«Каждому ведь нужен отдых, витаминнозная пища,— думал дядя Митя,— каждый соображает, как лучше».

— Марш к столу! — закричал он.— Эй, поколение, марш к столу! Изабелка, пригласи своего кавалера!

Мальчишки разом прыгнули на лавку и заерзали, хватая куски и получая слегка по рукам. Изабелка, смеясь, потянула за руку своего молодца. Молодец упрямиться себя не оставил и бодро зашагал к столу. Парочка издала выглядела вполне прилично — тоненькая Изабелка и широкоплечий верзила, рот полон белых зубов.

— Жених! — смеялась и приплясывала Изабелка.— Имею честь вам представить женишка!

— Тили-тили тесто, жених и невеста! — с ходу заорали пацаны.

— Одну минуточку,— сказал парень,— конячок у меня там.

Спортивным длинным ногом он пронесся обутым и калитке. На задку у него заграничными буквами было написано «КЕП». Он скрылся за калиткой и

моментально появился снова, пронесся к стреле уже с коньяком.

«Шустрый парниoga, — подумал дядя Митя, — потом- стаю хорошее может быть».

— Значит, выпьем, папаша, — веселился за столом жених. — А дочку вы сконструировали на славу!

— А где работаешь, молодой специалист? — поинтересовался дядя Митя.

— В Москве! — воскликнул жених и подмигнул Изабелке.

Вдвоём они сразу заехали:

Хорошо нам с тобой идти
По ночной Москве,
Нам бульваром на всем пути
Открывают объезды...

— В КБ я работаю, — пояснил жених, — в почтовом ящике.

— Папа, папа! — закричали пацаны, влюбленно глядя на жениха. — Он Эдике Сворцову скулу свернул, а штурмана через себя перебросил!

— Папа, я занужу за него хоч, он премии получает, — лукаво хихикала Изабелка.

— Точно! — гаркнул жених. — Недавно восемьсот дубов премии отхватил по проекту «Пальма», а раньше еще полтыщи по проекту «Кипарис».

— Старыми или новыми? — полюбопытствовал дядя Митя.

— Новыми, папаша. За кого вы меня принимаете? «Дельно», — подумал дядя Митя, а дочке строго сказал:

— За человека надо выходить, Изабелла, а не за деньги.

— Золотые слова, Митя! Учи, внученька, на будущее, — пропела теща.

— Подумаешь, будущее! — кочевряжилась Изабелка. — У него вон «Запорожец» стоит. Выдали?

Дядя Митя приставил и действительно увидел на улице похожий на серого ишачка «Запорожец», уткнувшийся носом в ствол платана. Заметил он также, что жених уже хватает под столом Изабелку за колено.

Появилась жена Александра. Сонно она взглянула на шумное семейство и присела рядом с мужем, перекинув на грудь тяжелую свою косу.

— А я манюкор себе сделала, — сказала она, и рука ее нависла над столом, словно шея лебзя.

— Тебе бы, Александра, в самостоятельность записаться, — сказала теща, — сыграла бы ты хоть Катерину из «Грозы».

— Верно говорит теща, — подхватил дядя Митя, — маешься ты, Александра, внутренних сил в тебе много.

— Мама, а у меня жених! — крикнула Изабелка.

— Да, Александра, вот видишь, интеллигенция протиски в рабочую семью, — сказал дядя Митя.

И в это время как раз зашел во двор товарищ Красный Фуражкин. Дядя Митя, как увидел его, сразу остановил свою речь, а домочадцы, проследив его взгляд, повернулись к приближающемуся милиционеру. И Изабелка, изогнув свой стан, смотрела на Ваню Ермакова оленими глазами.

Младший лейтенант Ермаков строго шел через двор, имея перед собой цель — дядю-Митину плутовскую личность, и вдруг словно получил удар в солнечное сплетение, перепулет шаг. Это он наткнулся на Изабелкин загадочный взгляд.

Он подошел к столу, кашлянул и не нашолся, что сказать, кроме как «Добрый вечер». Все молчали, Изабелка с женихом хихикали, глядя на него, и дядя Митя нарочно молчал, видя его смущение.

— Вы немедий! — нарушил молчанье Игорек.

— Я! — совсем уже растерялся Ермаков, красная,

обливаясь потом, чувствуя, что происходит с ним что-то неладное.

— Вы миллионер? — ехидничал Игорек.

— Да, — Ермаков схватился за спину стула.

— Вы не за мир — забираете всех мальчишкови! — торжествующе закричал Игорек.

Изабелка с женихом весело расхохотались. Ермаков резким усилием воли, словно на соревнованиях по стрельбе, привел себя в порядок.

— Я лично к вам, — сказал он дяде Мите, поправляя мундир и фуражку. — Придется вам, товарищ водитель, прослушать цикл лекций по правилам движения на крымских автомобильных дорогах. Вот повестка.

— Да вы садитесь, — сказала Изабелка и подошла близко к Ермакову, — садитесь с нами вечером. — Повестка задрожала в руке младшего лейтенанта. Дядя Митя давно уже смеялся, что к чему.

— Это, товарищ, наш автоспектор товарищ Ермаков, — представил он нежданного гостя. — А тебе, Игорек, я уши надеру! Ваня, дорогой, сделай чае, выпей с нами стаканчик сухого и не сойти за подхалимаж.

Изабелка дотронулась пальцами до Вани, и тот неожиданно для себя сел к столу.

— Поскольку я уже не при исполнении, — бормотал он, — поскольку я сейчас как частное лицо...

— Поскольку-постолу! По сто грамм, — засмеялась Изабелка.

Дядя Митя смотрел, как дочка подкладывает Ване гуляш и салат, и вдруг неожиданная гениальная мысль пронзила его. Незаметно он пристал и глянул через забор на «Запорожец».

«Подумаешь, мельница пластмассовая, проку в нем, — подумал он. — Ежели у меня такой Ванек в семье будет, я Изабелке за год на «Волгу» сколочу».

И тут он сразу переиграл свои планы насчет будущего.

Инженериска из Москвы выставил на стол транзистор, выловил румынский твист и пошел выкаблучивать с Изабелкой. Танцевал он, конечно, лихо, да ведь не в танцах проявляется мужская сила. Сила эта проявляется в организации семьи, а стилигаинженер для этого не годится со всеми своими «пальмами» и «кипарисами», к тому же, может быть, моральный разложенец, хотя, конечно, в почтовых ящиках кадровый учет поставлен строго, а может, он скрыл свое истинное лицо!

Вон у Вани Ермакова какое лицо — чистое, ровное! И взгляд на Изабелку робкий, преданный. Дядя Митя даже вскрикнул, испугав к Ермакову приля родственного его умиления. Тут румыны вдарили вальс, и Ваня пошел кружить с Изабелкой. Дядя Митя подмигивать стал теще на них, и теща сразу его поняла, закачала головой с восхищением — какая, мол, парочка! Инженериска помрачнел.

Спать в этот вечер легли поздно. Дядя Митя дождался, когда уснет жена Александра, подлез к окну и стал смотреть на Изабелку и ее кавалера.

Молодежь стояла возле калитки. Инженериска все выдирючалась, видно, поражае «столничими» ухмами, а Ваня Ермаков, наш главный герой, стоял молча, заложив руки за спину, и лишь светились в темноте его чистые глаза и кокерда на красивой фуражке.

Потом, когда Изабелка упоркнула, молодые люди молденно отошли от калитки и остановились. Инженер нежно взял Иванову руку и так же повернул ее, как бы показывая начало приема. Иван чух не нежно показал ему начало контрприема. Потом Иван поинтересовался, знает ли инженер вот такой прием, и

оказалось, что тот знал. Тогда они сунули руки в карманы. Вдруг инженер засмеялся.

— Молоток! — сказал он громко, сел в свой «Запорожец» и укатил.

Иван тоже сел на мотоцикл, поскидел немного в седле, глядя в небо, и вдруг подкинул в небо свою красивую фуражку. Впрочем, тут же он ее поймал, нахлобучил и, осуждая себя за несерьезность, поехал по переулку.

Дядя Митя чуть даже не задохнулся от открывшихся перед ним перспективы.

С того дня младший лейтенант Ермаков стал частым гостем в их доме. Дядя Митя изобрел многочисленные семейные праздники и все приглашал Ваню. Инженеричке он старался дать от ворот поворот, а за Ваню вел в доме осторожную, но постоянную агитацию. Вот, дескать, парень — устойчивый, крепкий, чемпион по мотоспорту и стрельбе. Последнее обстоятельство сильно заинтериговало Изабелку, оно и решило успех дела.

— С такими нервами, — сказала она, — Иван может стать чемпионом мира.

Под осень отправились в загс. Изабелка в этот день не прыгала, держалась солидно. Иван в гражданском сером костюме весь одеревенел.

После бракосочетания предстояла молодежи серьезная работа — перетаскивание на новую квартиру спортивных Ивановых призов. Семь раз они курсировали от милицейского общежития до дяди Митино дома, нагруженные кубками, скульптурами и мельхиоровыми чашами.

Ух, дядя Митя веселился на свадьбе! Читал куплеты, разыгрывал с тещей сценки, пел, плясал — в общем, был душой общества. Очень ему хотелось расположить к себе приглашенное милицейское начальство — капитана Лисецкого и старших лейтенантов Щербакова и Гитаридзе. Кажется, это ему удалось.

После свадьбы молодые, как полагаются, уехали в путешествие. Навьючили на мотоцикл рюкзаки, надели защитные очки, т-р-р — и укатили в Карпаты.

За время их отсутствия дядя Митя даром времени не терял, а, наоборот, развил свою плодотворную идею. Так или иначе, скоро стали они кумовьями с капитаном Лисецким; прилетела по вызову из Харькова младшая сестра жены Александры, Надежда, и вышла замуж за старшего лейтенанта Гитаридзе, а племянник дяди Мити, Федор, прибывший из Мурманска, женился на сестре старшего лейтенанта Щербакова.

Все эти операции были завершены к приезду молодых, и на пирушке, устроенной в честь их возвращения, Иван увидел за родственным столом своих товарищей по работе.

На другой день дядя Митя сказал зятю:

— Ванюша, дорогой! золотая моя гордость, узная, пожалуйста, кто во вторник по дороге на Джанкой будет дежурить и на каком километре.

Дело было утром во дворе под ранними лучами теплого еще солнца. Иван прервал общефизическую подготовку и повернулся к теще холодным, официальным лицом.

— Вот что, папа, я вам должен сказать. Прошу любовь мою к Изабелле и наши родственные узы не использовать в корыстных целях. Прошу оставить эту идею раз и навсегда. На шоссе мы с вами не родственники.

— У тебя что, Иван, шарика за нолики закатилась? — грубо сказал дядя Митя и пошел со двора. Тревожное, зловещее чувство охватило его.

Во вторник по дороге на Джанкой он услышал сзади комаринный зуд нагоняющего мотоцикла. Это

был Иван. Деловито он прижал дядю Митю к бровке, обнаружил левый груз, составил акт. Кончилось это для дяди Мити выговором в приказе.

В другой раз остановил его Гитаридзе.

— Превышение скорости, товарищ водитель, — közырнул он. — Засодно и путевочку предьявите.

— Своё! — возмолвил дядя Митя. — Душа любезный Ваня!

— Дорогой дядя Митя! — сказал Гитаридзе, проверяя путевку. — За грузинским столом гости святой человек, и ты у меня в гостях будешь, как бог! Но на шоссе, не обижайся, Гитаридзе будет выполнять свой долг.

Щербаков прихватил дядю Митю на севастопольской трассе.

— Как сестричка-то поживает за моим племянничком? — интересовался дядя Митя.

— Семейные разговоры в другое время, — отрезал Щербаков. — А сейчас придется вам, товарищ водитель, сделать прокол.

Про кума Лисецкого нечего и вспоминать. Этот человек являл собой символ закона. Вросшая в мотоцикл, его косякая фигура, просвистанная, продубленная, промытая всеми ветрами, градами, суховеями, дождями, и ранше-то выводила дядю Митю из состояния равновесия, а после зитроумного кумовства стала просто-таки приводить в трепет. Кум Лисецкий, вот тебе и кум, наприсился летуха в кумовья!

Другие водители сильно забавлялись всеми этими обстоятельствами. Дяди-Митина злосчастная личность стала главным комическим предметом разговоров по утрам в диспетчерской. Авторитет его резко падал. Не было дня, чтобы дядя Митя возматрился на базу без колки акта или без катанции штрафа. Чуть ли не ежедневно ГАИ сигнализировала директору о его художестве. И во всем этом виноваты были новосопсечение его родственники, в особенности же родной зять. В общем, плодотворная идея вывернулась назнанку — постоянные его тираны, став родственниками, старались по сильнее проявить принципиальность и тиранили вдвое.

«Змею пригрел на груди», — думал дядя Митя по утрам, глядя, как Иван и Изабелка выбегают во двор для общефизической подготовки.

Изабелку после замужества прямо не узнать — стала она сдержанной, не болтливой, по утрам в постели не ваялась, ходила в мотоцикцию, а вечерами вдвоем с благоверным говоились они к поступлению а высшее учебное заведение.

— Положительное влияние, — шептала теща дяде Мите, — но тот отмалчивался, кряхтел, замыкался в себе, в оскорбленной своей душе.

Один раз он, правда, не выдержал.

— Ты бы хоть в рестораничке жену сводил, Иван, — сказал он зятю. — Засуши ведь девку. Ничего в тебе человеческого нет, одна красивая фуражка.

Иван пролиолал и отвернулся, а Изабелка вдруг вспыхнула и пристукнула кулачком по столу.

— Вы, папа, отсталый элемент! Ничего не понимаюте! Молодежь не собирается растрчивать свои лучшие годы на пустяки!

На следующий день дядя Митя уже не удивился, услышав сзади комаринный зуд нагоняющего мотоцикла.

Вот из-за этих всех причин и пришлось дяде Мите перейти с грузовой транспорта на такси...

Вечерний зимний ветер заканчивал уже свою бездарную мазию — размытое серыми тучами небо темнело, густело. Потом печальную эту картину подправила желтая роспись симферопольских огней.



«Безумные ветры хлестали дядю Митю со всех сторон...» (стр. 26).

Инвалид все что-то рассказывал, хохоча, задние пассажиры помалкивали.

— Слушай, мастер художественного слова,— обратился дядя Митя к инвалиду,— тебе куда, на вокзал, что ли?

— На вокзал,— сказал инвалид.— Держи, браток, я тебе пару рубликов подброшу. Больше нет, извини. Вчера профессор Рабинович дал мне как интересно больному на дорогу десятку, а я ее спустил грешным делом. Вот ведь профессор, а как тебе нравится?

— Ладно, давай свои рублевки, а больше без денег на такси не садись,— устало сказал дядя Митя. Женщины с узлами тоже вышли на вокзал. Заплатили они сполна, не поскупились. Остался только один пассажир, которому надо было в аэропорт. — Садитесь на переднее сиденье, товарищ,— предложил мне дядя Митя.— Сейчас концерт продолжим, музыку найдем. Надоело, небось, художественное слово!

Я пересел к нему на переднее сиденье. Он включил приемник, пробилась сквозь разноязычную болтовню какая-то громыхающая музыка, и мы поехали к аэропорту.

— Самы вы кинороботник? — спросил меня он.

— Как вы догадались?

— Не знаю,— сказал дядя Митя,— всегда узнаю кинороботников.— И я вот тоже в искусство вложил свою скромную лепту,— сказал он спустя некоторое время.— Вся война во фронтовом театре играл. Из самодеятельности меня выявили.

— Вся войну? — дивился я.

— Ага. Матроса Швандио всю войну играл. Любимец был 3-го Белорусского фронта. Один раз бомбу на нас сбросил наглый фашист,— сказал он еще через минуту.— Прямо во время спектакля заханул, да промазал.

«Вот это хват! — думал я, глядя украдкой на его лицо утомленного плута, на густые, словно подкрашенные брови.— Вот это хват, сам черт ему не брат! Надо же, всю войну матроса Швандио играл!»

В аэропорту мы расстались. Он донес мой чемодан до кассы. Я щедро заплатил ему, оставив

себе, кроме билетных денег, еще два рубля на коньяк.

Дядя Митя вышел из здания аэропорта в минорном настроении. Очередь таксистов и здесь была велика. Почему-то не стал он хитрить, а сел за руль, чертыхнулся, закусил губу и сильно разогнал свою машину по шоссе. Сильно превышая скорость и не обращая внимания на свистки регулировщиков, он промчался через город.

«Дозели, загнали, обложили! — зло думал он.— Нет, я вам не заяц, не медведь, я дядя Митя, король трассы!»

Свиста, прощелкивали мимо встречные машины. Голова кружилась. Он несс по шоссе через темную равнину, забирая все выше и выше к горам, к старому выветрившемуся Крымскому хребту.

За переездом он остановился и вылез из машины. Тумана не было. Звезды колебались над головой. Безумные ветры хлестали дядю Митю со всех сторон, пронизывали одежду, щекотали ноздри, ерошили сырые брови, выдували из головы осторожность, расчет, усталость. Древняя воровская ночь окружала его. В дяде Мите проснулся хищник. Он видел под собой Крым, весь Крым, и в разных частях — вечерний свет в окнах клиентов, он видел Крым, как туристскую схему, и видел весь бассейн Понта Эвксинского, и дальше — взгляду его не было границ.

Сейчас надо мандарины взять в Сухум, а гвозди в Стамбул, а носки в Тбилиси, доски, бочки, стручки перца, трикотаж, галантерею, лавровый лист, пуговицы, запонки, томаты, рыбу, кавуны, цветы, веревки, кальсоны, радиолампы, тюль, листовое железо, вилки, ложки, домашних животных, пряники, коржики, семгу, икру, вино, лекарства, кресты, надгробья, книги, табак, олово, железо, марганец, химикалии в Джанкой, в Балаклаву, в Рим, в Париж, в Москву, в Свердловск...

Дядя Митя рванул дверцу, упал на сиденье, нажал стартер.

С четырех сторон, по шоссе и с гор, катились к нему четыре солнца или луны, четыре безмолвных светила. Это приближались, слепа фарами мотоциклов, новые его родственнички, рыцари своего долга.

IV. МАЛЕНЬКИЙ КИТ, ЛАКИРОВЩИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

— Что это такое ты принес! — спросил меня Кит.

— Это кепка.

— Дай-ка сюда.

Он взял в руки и с удивлением стал рассматривать мою новую кожаную кепку. Через секунду любопытство его достигло такой силы, что он задрожал.

— Толя, что это такое, а? — закричал он.

— Такая своеобразная кепка,— пробормотал я.

— Это кепка, чтобы в ней летать? — еще сильнее закричал он и залпыгал с кепкой в руках.

Я с готовностью уцепился за эту идею.

— Да, чтоб летать. В этой кепке мы с тобой полетим на Северный полюс.

— Ура! К белым медведям!

— Да.

— К моржам?

— Да, и к моржам.

— А еще к кому?

Голова у меня трещала после рабочего дня, в течение которого я переругался с несколькими сослуживцами, получил устный выговор от директора, совершил несколько ошибок, настроение было пре-скверное, но я все-таки напрягся, пытаясь представить себе судную фару Ледовитого океана.

— К акулам,— шельмовал я.

— Нет, неправда,— возмущенно возразил он,— акул так нет. Акулы злые, а на Северном полюсе все звери добрые.

— Да, ты прав,— торопливо согласился я.— Значит, мы полетим к белым медведям, моржам...

— К китам,— подсказал он.

— Ага, к китам и к этим... ну...

— К лимпедузе! — восторженно крикнул он.

— Что это за лимпедуза?

Он сморщился, положил кепку на тахту, отошел в дальний угол комнаты и оттуда прошептал:

— Лимпедуза — это такой зверь.

— Верно,— сказал я.— Как же это я так забыл Лимпедузу! Такой скользкий юркий зверек, верно!

— Нет! Он большой и пушистый! — уверенно сказал Кит.

В комнату вошла моя жена и сказала Киту:

— Пойдем займемся нашими делами.

Они вышли вместе, но жена вернулась и спросила меня:

— Звонил?

— Кому?

— Не притворяйся. За целый день ты не смог ему позвонить?

— Хорошо, сейчас позвоню.

Она вышла, и я впервые за этот день остался один. Прислушиваясь к необычной тишине, я словно принимал ванну или душ, душ одиночества после рабочего дня, наполненного во всех своих измерениях шумными людьми, знакомыми и незнакомыми.

Я сел к пустому письменному столу и положил на него руки, с удовольствием ощутил прохладную поверхность стола, лишнюю всяких дел, бумаг, исполняющего сейчас лишь обязанность подставки для моих тяжелых рук.

За окном солнце, бесшумно преодолев желтые заросли близкого сада, подкатывало к углу многоэтажного дома, и гигантскому, торчком стоящему параллелепипеду, темному сейчас и словно безжизненному.

Во дворе по крыше котельной носились осатаневшие десятилетние мальчишки. По их разнужным трам можно было представить, какой за нашими стеклами стоит вальт.

Из палисадника боязливо вышла культурная старуха, сторожо, словно лань, повернулась в сторону котельной. Мальчишки при виде старухи попрыгали с крышки наземь.

Старуха эта, каждый вечер выходившая во двор подышать кислородом и подкладывающая под свой бедный зад надувную резиновую подушечку, была постоянным объектом злых мальчишеских шуток. Она давно привыкла к ним и терпеливо сносила проделки этих загадочных, по ее мнению, коварных и быстрых дворовых «террористов», терпеливо сносила, но все-таки боялась, всегда боялась.

Сейчас мальчишки пустили поперек ее пути струю из дворничьего шланга и разлекались, дико прыгали с открытыми в хохоте ртами, а старуха терпеливо толталась, ожидая, когда им наскучит их затея. Позависла дворничиха, подруга старухи, и бросилась в атаку, широко раскрывая при этом рот и размахивая руками.

Вся эта сцена, будь она озвученной, должно быть, вызвала бы во мне гнев или боль, но сейчас она прошла перед моим безучастным взором, словно кадры старого немого фильма.

Итак, старуха благополучно пересекла двор, а «террористы» беснулись на крыше котельной, не думая о том, что близкая уже смерть старухи произведет в их душах, может быть, первое, незначительное, конечно, опустошение.

Стараясь сохранить свою безучастность и спасительную вялость, я придвинул телефон и стал набирать этот проклятый номер. будто между прочим,

будто это для меня пустяк — позвонить ему, но уже на третьей цифре все засосало у меня внутри, сердце, печень, селезенка смялись в один бешено колотящийся ком, и лишь короткие частые гудки освободили меня. Занято!

Я представил себе, как он сидит в кресле или лежит на тахте, но обязательно играет очками, крутит их на одном пальце, разговоривая с кем-то. С кем? С Садовниковым? С Войновским? С Овсянниковым? Я чертыхнулся, и в этот момент с кухни послышался крик Кита. Он там что-то разбавлялся. Изюба на него находит.

— Уходи! — кричал он изо всех сил.— Уходи! — кричал он моей жене.— Ты нам не нужна!

Послышался возмущенный голос жены и потом шелканье выключателя. К Киту были применены санкции — он остался на кухне в одиночестве и в темноте. Сразу затих.

Жена ушла в спальню и забила там в угол. Она очень тяжело переживает размовки с Китом, с этим маленьким мальчиком, нашим сынком, с этим «мужичком с ноготок» трех с чем-то лет от роду.

Я встал и пошел на кухню, слополодобо ступая по паркету, весело и грозно трубя:

— Ту-ру-ру! Пап-слон идет! Из глубины джунглей сам слон Бимбо! Ту-ру-ру, сам папа! Лично! Собственной персоной!

В сердце мое вихрем влетело ощущение спокойствия и любви.

На кухне я увидел его округлую голову на фоне сумеречного окна. Он сидел на горшке и что-то шептал, поднимая палец к окну, где начинали уже зажигаться огни дома напротив.

Я теперь почти привык к Киту. Все реже и реже посещает меня странное чувство иллюзорности, когда он вбегает в комнату или вкатывает в нее на велосипеде. Благоговение перед тайной и страх первых месяцев его жизни почти прошли. Сейчас получается так: ну, Кит — и все! Мальчишка, сынок, чудо-юдо рыба-кит на завалинке сидит... и прочая чепуха.

Ему было полгода, когда я назвал его Китом. Вдвоем с женой мы купали его в ванночке, и он ворочался в мыльной воде и разевал беззубый рот. Я его за голову держал и всовывая назад в уши выпадающие кусочки ваты, а он иногда поднимал на меня свой голубой взгляд и хитровато улыбался, будто предчувствуя нынешние наши замысловатые отношения. Сначала он показался мне сосиской в бульоне, и я сказал об этом жене:

— Вот еще сосиска в бульоне.

Подумав об этом с полминуты, жена заметила, что это вряд ли очень эстетично. Тогда я придумал другое сравнение — кит.

— Это маленький кит,— сказал я.

Жена промолчала.

Вечером после купания я уехал во Внуково и сел там в огромный самолет, отбывающий на Восток. Потом на Сахалине, развезая по тамошним портовым городкам, в гостиницах и в домах приезжих, я вынимал его карточку и думал о нем уже так: «Как там мой маленький кит?»

Ну мало ли какие прозвища я давал ему впоследствии! Он был Кусекой и Чашкиным, а однажды получил такую сложную фамилию — Чушкин-Плюшкин-Побрунжушкин-Раскладушкин-Ложкин-Плошкин, — но все эти прозвища постепенно отходили, забывались, а оставалось одно, главное — Кит.

— Ну, что случилось, Кит? — спросил я, усаживаясь в кухне на табуретку и закуривая.

— Смотри, огонечик! — сказал он и показал пальцем в окно,

— Раз, два, три, восемнадцать, одиннадцать, девять,—взял он считать огоньки и вдруг воскликнул:—Смотри, луна!

Я повернулся к окну. Бледная луна с выеденным боком висела над домами.

— Да, луна,—чуть-чуть заволновался я и страхнул на пол пепел.

— Толя, Толя, пепельница есть,—сказал Кит тоном своей матери.

— Ты прав,—сказал я,—извини.

Мы замолчали и некоторое время сидели — я на табуретке, он на горшке — а полной тишиной, нарушаемой только вздохами жены из спальни и шелестом страниц ее книги. Глаза Кита таинственно сияли. Затишье, видно, было ему по душе.

— Знать,—вдруг встретился он,—на Луну летает пилот Гагарин.

— Да,—сказал я.

— Знать,—сказал он,—ни Гагарин, ни Титов, ни Терешкова, ни Джон Гленн...

Задумчивая пауза.

— Что?—спросил я.

— ...ни Кулер в рот и в нос ничего не берут,—закончил он свою мысль.

В кухню вошла жена и приподняла его с горшка.

— Ничего не сделал. Сидишь споза и старайся. Ты совершенно не стараешься.

— Толя, а ты стараешься, когда сидишь на горшке?—спросил Кит.

— Да,—сказал я,—слон Бимбо стареется.

— А слониха Тумба?

— Тоже.

— А слоненок Кучка?

— Еще как стареется!

— А кто еще стареется?

— Кашалот,—сказал я.

— А кашалот добрый?—спросил он.

— Законил?—спросила жена.

— Занято было,—сказал я.

— Так позови еще.

— Послушай!—вскрипел я.—Ведь это — мое дело, правда? Это — мое дело, и я сам знаю, когда звонит.

— Ты просто трусишь,—презрительно сказала она.

Я вскочил с табурета.

— Отправляйтесь гулять!—резко сказала она.—Собирайтесь живо, и марш!

Мы вышли с Китом из дому и пошли по нашему переулку к бульвару. Было уже темно. Кит шагал широко, деловито, маленькая его ручка крепко сжимала мою.

— Так что же?—спросил он.

— Что?—растерялся я.

— Кашалот добрый?

— Да, конечно, добрый. Акулы злые, а кашалот добрый.

«Как он представляет себе море, которого никогда не видел?—подумал я.—Как он представляет себе глубину и бескрайность моря? Как он представляет себе этот город? Что такое для него Москва? Ведь он ничего еще не знает. Он не знает, что такое город и что такое государство. Он не знает, что мир располол на два лагеря. Он не знает, что такое мир. Мы обозначили уже... худо-бедно, но мы уже обозначили почти все явления, окружающие нас, мы соорудили себе наш реальный мир, а он сейчас живет в удивительном, странном мире, ничуть не похожем на наш.»

— А кто у луны бок скусил?—спросил он.

— Большая Медведица,—лягнул я и испугался, сразу представив, как я все это буду ему объяснять. По его ручке я понял, что он снова весь вздрожал от любопытства.

— Что такое, Толя?—вкрадчиво спросил он.—Какая такая медведица?

— Я поднял его на руки и показал в небо.

— Видишь звездочки? Вот эти — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... В виде коша. Это называется Большая Медведица.

Что такое звезды? Что такое Большая Медведица? Почему она так испокон веков висит над нами?

— Да, Большая Медведица! — весело вскричал он и погрозил ей пальцем.—Это она скусила бок у луны! Ай-я-я!

Легкость, с какой воспринял он эти условности, ободрила меня.

— А тем पोшесть есть еще и Малая Медведица,—сказал я.—Видишь маленький кошечки? Это Малая Медведица.

— А где медведи?—задал он резонный вопрос. Он стремился организовать медведю семью.

— Медведь, медведь,—забормотал я.

— Охотиться пошел в лес, да! — вырuchил он меня.

— Ну да.

Я спустил его с плеча.

Мы вышли на бульвар. Скамейки все здесь были заняты стариками и няньками, а по аллеям расхаживали ряды пятнадцатилетних девочек, а за ними ряды пятнадцатилетних мальчиков. Здесь было светло и голубовато, люминесцентные лампы освещали Конька-Горбунка величиной с мамонта, Жарптицу, похожую на гигантского индюка, огромного, в два человеческих роста, Кота в сапогах с порочным выражением круглой физиономии, другого Кота, совсем уже растленного вида, на золотой цепи у лукоморья, Князя Гвидона, Царевну Лебеду, Рекету, Ксролеву полей, Гулливера...

Это был «Мир фантазии» — детский книжный базар, разбитый на нашем бульваре. Кiosки в этот час были закрыты, лишь кое-где сквозь щели сказочных фанерных гигантов струился желтый свет — тем продавцы подсчитывали выручку.

Кит обомлел. Он не мог одинуться с места, не зная, к кому бежать — к Коту ли, к Царевичу, к Лебедю... В первые минуты он словно лишился дара речи, лишь вращал своими большими глазами и что-то беззвучно шептал. Потом дернул меня за руку, заверещал, и мы почти вприпрыжку припустились к kiosкам. С трудом я отбивался от града вопросов, рассказывал ему, что к чему, кто добрый, кто злой.

Оказалось, что почти все фигуры являли собой добро и свет, мудрость, народную смекалку, лишь жалкий Коршун, парижский над Лебедью, представлял здесь силы зла, но и него уже была нацелена стрела Гвидона.

В конце концов мой Кит устал и привалился боком к Коньку-Горбунку.

— Пойдем, Кит,—сказал я,—надо уже домой идти.

— Толя, слушай, дай-ка их всех с собой возьмем.

— Как же мы возьмем таких больших!

— Возьмем, возьмем, все равно возьмем.—Он хлопнул ладошкой Конька.— Этого взяли! — Побежал к Коту и его хлопнул.— И этого взяли!

Таким образом всех он забрал к себе в кровать на сон грядущий и после этого, уже совершенно спойкивая, отправился домой, не оглядываясь.

При выходе с бульвара он задержал шаги, и я остановился. В чем дело?



«В это время между нами интереса Кит...» (стр. 30).

— Посмотри, Толя,— сказал он,— какая идет красивая тетка.

И вглядясь — я увидел красивую тетю, которая приближалась к нам. Ее походка напоминала какой-то сдержанный, вернее, еле сдерживаемый танец. Толчками замечательных своих колден она раскидывала полы замечательного пальто, а зонтик, невероятно острый, тонкий, который она держала под мышкой, видимо, являлся не чем иным, как запасным внутренним стержнем для аэронавта, а глаза ее, тайные и хитрые, ярко осветились при виде нас. Я не видел ее уже три дня, эту тетю, и сейчас стало мне мутно и тревожно, как всегда, когда я ее видел или думал о ней. Сейчас, в присутствии Кита, особенно.

— О,— сказала она,— так вот, значит, он какой, твой маленький Кит. Какая прелесть!

Она нагнулась к нему, а он дотронулся до зонтика и спросил:

— Что это? Стрела? Ружье?

— Это зонтик! — воскликнула она и в мгновение ока раскинула зонтик. Чуть хлопнул, он развернулся над ее головой, придав всей ее фигуре дополнительную, почти уже цирковую легкость.

— Дай поддержать! — закричал Кит.

Она передала ему зонтик.

— Приятно видеть вас, синьор, за таким мирным занятием,— сказала она мне.

— И вас, мамзель, я рад узреть,— сказал я. Вообще-то мы могли бы обойтись без этого идиотского остроумия, свойственного нашему кругу, и сразу заговорить серьезно о том, что нас тревожило в последние дни, но так уж повелось, что для начала надо было проявить подобный или более удачным образом чувство юмора, и мы с ней тоже не могли отступить от этого.

Кит кружил вокруг зонтика, и мы могли говорить спокойно.

— Почему ты кислый?

— А ты обижаясь?

— Тебе точно, да!

— Почему?

— Думаешь, я пристаю к тебе?

— Ты можешь не хитрить!

Она сказала, что не хитрит, что мы могли бы не ссориться, ведь не выдвинули три дня, она понимает, что на душе у меня кошки скребут, она все понимает и думает всегда обо мне, и, может быть, это мне помогает...

Она и врага и не врага. Как лозно в женском сердце могло сочетаться искренность и хитрость, думал я. Вечное спокойствие и безумная, отравительная внутренняя суета. Потом им легче, красивым ббам, думал я, они смерти не боятся и не думают о ней никогда, они лишь старости боятся. Глупые, они старости боятся.

Еще я думал, пока она сочувствовала мне, что не следует мне снова входить в ее мир, не хватят меня на это, а голове у меня одна суета, не до включений мне сейчас и не до романтики. Как я хочу спокойствия, а спокойным за целый день я был только среди фанерных чудниц «Мира фантазии».

— Милый,— говорила мне «красивая тетя», — я понимаю, что это унизительно, но наберись мужества и позвони ему. Ты должен выяснить все до конца, и если даже будет хуже, все-таки будет лучше, уверю тебя.

Она подняла свою руку и приложила ладонь этой руке к моей щеке. Поглядела.

В это время между нами втерся Кит. Он дернул за рукав «красивую тетю,

— Эй, возьми свой зонтик и не трогай папку! Это мой папка, а не твой.

Мы расстались с «красивой тетей» и пошли домой. Несколько секунд у нас в ушах еще стоял ее чуть-чуть фальшивый, деланно добродушный, может быть, горький смех.

По дороге мы остановились у ворот автобазы. Огромные автобусы выехали из ворот, и средние размеры, и микроавтобусы.

— Автобус-папа, автобус-мама, автобус-детка,— сказал Кит и засмеялся.

Итак, мы вернулись домой. Пока Кит ужинал и рассказывал маме о прогулке, я слонялся по комнате, поглядывая на телефон, и так волновался, что прямо сил не было никаких.

Я ненавижу этот аппарат. Просто поражаю, как может жена часами разговаривать по телефону со своими подружками, как может она устанавливать душевную близость с людьми при помощи телефона. Может быть, нежность ее к своим подружкам переносится на телефонную трубку, и именно к ней она испытывает в эти часы нежность и привязанность?

Я массу времени теряю из-за того, что не люблю разговаривать по телефону. Вместо того чтобы снять трубочку и «вбрызнуть», я еду через весь город, теряю время и деньги. Может быть, это оттого, что я стремлюсь к реальной жизни, а когда слышишь голос в трубке, кажется, что это выдуманно, все выдуманно, все не по-настоящему?

Может быть, и сейчас так сделать? Может быть, не звонить сегодня, а завтра поехать к нему и поговорить, глядя ему в лицо? Глядя ему в лицо, я смогу мимикой, еле заметной, тонкой мимикой показать ему, что я не так-то прост, что меня не так-то просто унизить, дать понять ему, что я не размазня, а мужчина, что мой визит — это тоже акт мужества, а на него мне чихать. Разговор по телефону дает ему огромное преимущество, для меня такой разговор все равно что разговор со сверхъестественной силой.

Телефон зазвонил. Задребезжал, гадина! Я снял трубку и услышал голос друга своего, Стасика.

— Я на тебя обижан, ты на меня обижан, я свинья, ты свинья,— лепетал Стасик.

Когда закончилась увертюра, я спросил, зачем он звонит.

— А затем, чтобы сказать: не будь дураком и немедленно позвони этому деятелю. Ты же знаешь, как много от него зависит. Я видел сегодня Войновского, а тот встречал Овсянникова, который вчера говорил с Садовниковым. Они все считают, что ты должен это сделать. Сейчас я позвоню Овсянникову, а тот попытается связаться с Садовниковым, а Садовников позвонит тебе. Ты не знаешь телефона Войновского?

Я положил трубку. Рычжки гадко щелкнули. В течение пятнадцати минут, сидя у молчащего аппарата, я почти физически чувствовал телефонную возню, поднятую моими друзьями, представлял, как слова, гладкие, словно мыши, юркаят в кабели и скользят по ним встречными потоками.

Потом позвонил Садовников, обещая связаться немедленно с Овсянниковым, который даст ему телефон Стасика, а Стасик поможет ему соединиться с Войновским.

— Дозволился! — спросила, входя в комнату, жена.

— Никто не подходит,— солгал я.

— Понятно. Ты просто безответственный человек. Она ушла. Я был в полной растерянности и смья-

тении, когда вошел улыбающийся Кит со своими книжками в руках.

— Давай почитаем, Толя!

Здесь были сочинения Маршака, Якова Акима, Евгения Рейна, Генриха Сапгира, а также разные народные сказки. Мы взяли за сказки. Кит привалил ко мне, аниматорно слушал, в напряженные минуты терял мое ухо.

Индийскую сказку о слоненке он отверг. Когда мы дошли до того места, где слоненка за хобот ухватил крокодил, он закричал, выхватил книжку и швырнул ее на пол.

— Неправда! — Он даже покраснел. — Этого не было! Это плохая сказка!

— Послушай, Кит, — сказал я, — сказка хорошая. Она хорошо кончается.

— Нет! Нет! Она злая! Читай вот эту!

Он вытаскил из кучи «волка и семерых козлят». Господи, подумал я, ведь здесь тоже описаны драматические события, страшный акт съедения маленьким козлят, и, хотя все кончается хорошо, как я это прочту Киту, маленькому лакировщику действительность!

Кит тем временем переворачивал страницы и разглядывал картинки.

— Вот коза-мама, — говорит он, — несет молоко. Вот козлята-детки играют.

Милая идиллия развертывалась перед нами, и это радовало Кита. Навяный, он не знал законов драматургии и спокойно открыл следующую страницу, где зверски нарисованный волк тащил в свою страшную пасть беленюшко козленка. Я замер.

— А вот козленок-папа, — сказал Кит, показывая на волка, — он играет с деткой.

Самым спокойным образом он организовал козленную семью.

— Кит, ты ошибаешься, — осторожно сказал я, — это не козленок-папа, а гадкий серый волк. Он собирается проглотить козленка, но все кончится хорошо: волк будет наказан. Это драматургия, мой маленький Кит.

— Нет! — закричал он и чуть не заплакал. — Это не волк! Это козленок-папа! Он играет! Ты ничего не понимаешь, Толя!

— Да, я ошибся, — торопливо сказал я. — Ты прав. Это козленок-папа.

— Ванюша, пойдём спать, — позвала его мать, и он ушел, забрав с собой в свои тихие сны семью небесных мадавед, семейку автобусов и семейку козлят, зонтик «красной тети», добрых чудищ «Мира фантазии», мою кепку, которая, конечно, ночью вырастет до размеров самолета и в которой он полетит на Северный полюс, в царство добрых зверей.

Уложив его, жена вернулась и села в кресло напротив меня. Мы закурили. Обычно это были хорошие минуты, когда мы вместе журили в конце дня, но сейчас мы журили плохо.

— Что за теть, о которой рассказывал Иван? — спросила жена.

— Это из главка, консультант по правовым вопросам.

— Так, — сказала она. — Что же ты намерен теперь делать?

— Не знаю.

— Что вообще теперь будет?

— Не знаю.

— Так, — сказала она.

— Господи, скорой бы зима! — вырвалось у меня.

— Зачем тебе зима?

— Зимой ведь у меня отпуск. Поеду кататься на лыжах.

— Конечно, — язвительно сказала она, — ведь ты прекраснейший лыжник.

— Перестань.

— Нет, правда. Ведь ты же первоклассный лыжник. Все это знают.

Она чуть прикусила губы, чтобы не расплакаться. Тогда я придвинул телефон и одним махом набрал этот проклятый номер.

Пока в трубке звучали длинные, редкие гудки, я представлял, как он сейчас сбрасывает свои ноги с тахты и медленно идет к телефону, читая на ходу какую-нибудь из своих книг. Может быть, он потянет спину или зад, может быть, думает: кто же это звонит, наверное, тот жалкий тип со своими идиотскими просьбами. Вот он снимает трубку.

Он говорил со мной тихо и доверительно.

— Слушайте, мне передавали, что вы не решаетесь мне звонить. Я давно жду вашего звонка. Правда, что за церемонии и опасения? Видимо, это вызвано недоразумением. В последнюю нашу встречу мне показалось, что вы неправильно поняли меня. Я думаю, что все решится положительно. Спите спокойно. Я всей душой с вами, и каждым ее фибром, и каждым своим нервом, сердцем, печенью и селезенкой, моим достоинством и честью, верностью, искренностью и любовью, всем святым, что есть у человечества, идеалами всех поколений, земной осью, солнечной системой, мудростью моих любимых писателей и философов, историей, географией и ботаникой, красным солнцем, синим морем, тридцатому царством я клянусь быть верным вам слугой, оруженосцем и пажом.

Облизывая потом, я повесил трубку.

— Вот видишь, — сказала мне жена, — как все просто и не страшно. Стоит только захотеть и... — Она улыбнулась мне.

Я встал, отправился в ванную, умылся, потом зашел в спальню и посмотрел на Кита. Он спал, как маленький богатырь, раскинув руки и ноги. Младенческие перелажки еще не окончательно исчезли у него, они были обозначены на запястьях, на лухлых его лапах. Он хитрово улыбнулся во сне, видимо, совершая в этот момент разные смешные и милые перестановки в своем царстве.

Когда я смотрю на него, я наполняюсь радостью, светом и добром. Мне хочется выпить за счастливую жизнь семерых козлят.

Июль 1964 года.
Ирина Иоа, Эстонская ССР.



На камушках гадалка мне гадала,
Судьбу мою гадалка предсказала.
«Прекрасна цель твоя,— она
сказала.—
Но в жизни у тебя врагов немало».

Постой, гадалка, не трудись
напрасно,
Всем ясно без гаданья твоего:
Когда у человека цель прекрасна,
Противников немало у него.

Еще давным-давно себе на горе
Я посвятил тебе свой первый стих.
Смеялась ты и вышла замуж вскоре,
Твой муж-милиционер в чинах
больших.

Я стал поэтом.
Ты считаешь это
Своей заслугой. Что тебе сказать?
Коль ты умеешь создавать поэтов,
Ты мужа научи стихи слагать.

Что слепому все темно кругом,
Вопсе не бездумные виновато.
И не виновато поле в том,
Что живет крестьянине небогато.

Что зимой босому нелегко,
Стоит ли винить мороз проклятый.
Что людское горе велико —
В этом сами люди виноваты.

Я ничуть не удивляюсь, что ж,
Будет так и было так от века:
Яд и злоба, клевета и ложь
Насмерть поражают человека.

Но никак понять мне не дано,
Почему порою так бывает:
И любовь, и правда, и вино
Тоже человека убивают.

Самосохранение — забота.
Людам, нам, сопутствует боязнь.
Слышишь: в доме том, страхась
чего-то,
Плачет человек, едва родясь.

Вечная боязнь куда-то гонит
По земле весь человеческий род.

Слышишь: в этом доме тихо стонет
Старый горец в страхе, что умрет.

Поэзия, ты сильным не слуга,
Ты защищала тех, кто был унижен,
Ты прикрывала всех, кто был
обижен,
Во власть имущем видела врага.

Поэзия, с тобой нам не к лицу
За сильных возвышать свой голос
честный,
Не можешь походить ты на невесту,
Когда корысть ведет ее к венцу.

Наш мир — корабль. Он меньше
и слабей
Его одолевающего шквала.
И в трюмах много женщин и детей.
А тех, кто может плавать, очень
мало.

И если вспыхнет на борту вражда
И если драку матросия затеет,
Что станет с кораблем, что жлет
тогда
Всех слабых, всех, кто плавать
не умеет?

С А В Я Р С К О Г О

✱

Мне оправдания нет и нет спасенья,
Но, милая моя, моя сестра,
Прости меня за гнев и оскорбленье,
Которое нанес тебе вчера.

Я заклинаю: если только можешь,
Прости меня.

Случается подчас,
Что человек другой, со мной не
сложный,
В мое нутро вселяется на час.

И тот, другой, жестокий, грубый,
льяный,
Он в злобе неразумен и смешон,
Но он в меня вселяется незваный,
Я с ним борюсь, а побеждает он.

И я тогда все делаю иначе,
Мне самому невыносимо с ним.
В тот час я, зрячий, становлюсь
незрячим,
В тот час я, чуткий, становлюсь
глухим.

При нем я сам собою не бываю,
Того не понимаю, что творю,
Стихи и песни — все я забываю,
Не слышу ничего, что говорю.

Вчера свинцом в мои он влился жилы
И все застала тяжелой пеленой.
Мне страшно вспоминать, что

говорил он
И что он делал, называясь мной.

Я силой прогнать его пытался,
Но, преступая грань добра и зла,
Он злился, он бранился, он смеялся
И прочь исчез, как только ты ушла.

Я за тобой бежал, кричал. Что толку?
Ты уходила, не оборотался,
Оставив на его полу заколку,
И на душе — раскаянье и грязь.

Мне оправдания нет и нет спасенья,
Но ты прости меня, моя сестра,
За униженья и за оскорбленье,
За все, что сделал мой двойник вчера.

Памяти народного артиста Басира Инуилова

Мой друг Басир, что ты наделал,
милой?
Зачем нам причинил такую боль?
Переоденься, выйди из могилы,
Тебе не подобает эта роль.

Ты не однажды умирал, бывало,
И в смерть твою не мог не верить
зал,
Но гром оваций этого же зала
Тебя опять из мертвых воскрешал.

Аварский театр. На заднем плане
горы.
Я только зритель, но в моей груди
Волнуется помощник режиссера
И шепчет: «Инуилов, выходи».

Но не сыграть тебе в любимой драме
Ни нынче вечером, ни через год,
Не вырваться тебе: могильный
камень
Сильнее сцены, что тебя зовет.

Сегодня упадет другой влюбленный,
Взойдет другой правитель на престол.
И ты без репетиций и прогонов
На горе нам в другую роль вошел.

Кто автор пьесы, действие которой
Выходит из привычных нам границ
И убивает навсегда актеров,
А не всего лишь действующих лиц?

И занавес упал неколебимый,
Гремел оркестр, безмолвствовал
суфлер,
Ты прочь ушел без парика, без
грима,
В простой одежде уроженца гор.

Мой друг Басир, что ты наделал,
милой,
Зачем нам причинил такую боль?
Переоденься, выйди из могилы,
Тебе не подобает эта роль.

✱

Я негр своих стихов. Весь божий
день
Я спину гну, стирая пот устало.
А им, моим хозяевам, все мало:
И в час ночной меня гонять не день.

Я рикша, и оголби с двух сторон
Мне кожу трут, и бесконечна
тряска,
И тяжелее с каждым днем коляска,
В которую навез я запрячен.

Перевел Н. ГРЕБНЕВ.



Николай Старшинов

✱

А мне теперь всего желанней
Ночная поздняя пора...
Я сплю в нетопленном чулане,
В котором не хранят добра.

Тут лишь комод с диваном
старым —
Вот все, чем красен мой приют.
И подо мною, как гитары,
Пружины стонут и поют.

Здесь воздух плесенью пропитан,
Он пахнет сыростью ночной...
Я слышу, как в ночи копытом
Стучит корова за стеной,

Как писк свой поднимают мыши,
Вирываясь в рукопись мою,
Как кошки бегут на крыше...
И точно в полночь я встаю.

Копилку-лампу зажигаю,
Беру помятый свой блокнот,

И всю-то ноченку шагаю
Вперед, назад и вновь вперед.

И, отступая, тают стены,
И все меняется вокруг...
Вот возникает им на смену
Залитый солнцем росный луг.

А где же тут диван с комодом?
Они ушли на задний план...
Уже не плесенью, а медом
Благоухает мой чулан.

И не корова над корытом
Стучит-гремит в полночный час,
То бьет некованым копытом
Мой застоявшийся Пегас.

А что мне значит писк мышинный
И вся их глупая возня,
Когда поэзи вершины
Вдали сверкают для меня?!

Девушка на велосипеде

Листья кленов краснее меди.
Солнце за бурый бугор ползет...
Девушка едет на велосипеде,
Яблоко розовое грызет.

Зубы сверкают — она смеется,
Радостью сердце ее полно
Лишь потому, что тропинка вьется
С речкой извилистой заодно.

И потому еще, что, признаться,
В сердце и места для грусти нет,

Если всего ему восемнадцать,
Даже еще и неполных лет.

И потому, что дрозды над рябиной
Вьются, вечерний спугнув покой.
И потому, что ее любимый
Ждет, как условились, за рекой.

Самый лучший из самых лучших,
Самый красивый на всей земле...
И заходящего солнца лучик
Радужно светится на руле.

✱

Осенняя осина.
Багряная дística...
Меня, совсем как сына,
Приветила Литва.

В глаза мне поглядела,
Исполнилась тепла:
Все, чем сама владела,
То мне преподнесла.

Сказала за беседой:
— Ну, Коля Старшинов,
Сядь за стол, отдавай
Картофельных блинов.

Нарежь побольше сала
Да чарку не забудь.
Все это для начала,
А дальше... дальше — в путь!

Вот лес тебе, который
Весь в ягодах-грибах,
А вот тебе озера,
Поскольку ты рыбак.

Пленяйся соловьями,
Гуляй в моем саду...
Что, дело за друзьями?
Так я друзей найду!

А может быть, сыночек,—
Сказала мне она,—
Ты здесь жениться хочешь?
Найдется и жена!

Считай, вопрос решенный,
Раз я взялась помочь...
И отдала мне в жены
Свою родную дочь.

А та, как говорится,
Умом и всем взяла:
Работать — мастерица,
Лишь подавай дела.

Характера незлого
И ясного ума.
Такая... право слово,
Как матушка сама!.

Девочки и кардинал

У здания кафедрального собора
Не толпы древних старцев и старух,
А девочки в заутреннюю пору
Образовали тесный полукруг.

Что надо им в религиозных
бреднях?!
Поближе подойди и погляди:
На каждой — белый кружевной
передник,
У каждой — черный крестик на
груди.

Они на двери смотрят с нетерпением.
Как набожны — ну, кто бы это
знал!..
И к ним по белокаменным ступеням
Выходит из собора кардинал.

Он в мантии невыносимо алой,
А рядом с ним епископ, два
ксендза...

И девочки под взглядом кардинала
Потупили безгрешные глаза.

И девочки от робости немеют,
У них все получается не так,
И девочки креститься не умеют
И на колени падают не в такт.

А старый кардинал мрачнее тучи
Идет, благословляя их... Потом
Подходит к каждой и подолгу учит,
Как надо осенить себя крестом.

Потом, сойдясь в единую семейку,
Они — очарование само —
Садятся с кардиналом на скамейку
И дружно улетают эскимо.

Их угощает кардинал не сильно,
Но все-таки немного пожурив...
А в общем, здесь проходит съемка
фильма,
И в данную минуту перерыв.

*

И на меня нелепые полотна
Не раз, не два глядели со стены...
Там, в тундре, кактус рос в грязи
болотной,
Пустыни юга были мхом полны.

Там существа земные обитали,
Ну просто непонятно, кто и где.
Там караси под облаком летали,
А соловьи барахтались в воде.

Земля произрастала там из хлеба,
Там горы дров рождал обычный
дым,

А солнце было голубым, как небо,
А небо, словно солнце, золотым.

Но иногда вдруг среди болотной
тины
Так теплилась небесная звезда!..
Нет, эти и подобные картины
Мне, в общем-то, не принесли вреда.

Я никакого не понес урона,
Не разлюбил красы родных земель,
Лишь снялась мне зеленая ворона,
Присевшая на розовую ель..

Рута и бабушки

Руте только десять дней...
Встали бабушки над ней:

— Рута, Рута, ты наш свет!
Ну, скажи «агу» нам, Рута!
— Ну, скажи «агу»!..
В ответ
Рута плачет почему-то.

— Ну, «агу!» — твердят опять.
— Ну, «агу»!..
А Рута плачет.
Плачет так, что не унять...
Где же бабушкам понять,
Что ответ ее и значит:

— Не скажу я вам «агу»,
Потому что не могу...



Глава первая

1



Быть бы тебе, отец, дома, может статься, мы и под одной крышей ужились бы. И, наверно, не раздумывая, с глазу на глаз я доверил бы тебе свои мысли.

Сейчас весна. Охота. До семужьей путины еще не близко. Сейчас бы нам с тобой на остров Журавелец! Засесть бы в скрадок на гусей, там, знаешь, где у самой реки ячменные поля. А вечером, когда потухнет заря и звезды проклюнутся сквозь тучи, стали бы мы чай пить.

Ты помнишь такие вечера? Еще мальчонкой мне видно было, как отходил ты сердцем на охоту. Кругом, бывало, тишина, костер ласкается к нам, гусиный говор то и дело слышится с Васильевской косы...

В такой час ты таял, как воск от тепла. Вряд ли когда в другое время мне довелось бы услышать, как в войну носило тебя по фронтам, как подорвался ты на минном поле, как тебя спасли товарищи. И о разведке... Да мало ли ты мне порассказывал!

Теперь и я о жизни своей тебе рассказал бы. А может, поспорили бы, бывало, чуть что—и заведешься. Или другим теперь стал и нет в тебе прежней ершистости?

Да, будь мы вместе, наверно, все шло бы по-другому. Но тебя нет. А мне хочется говорить с тобой так, как если бы ты в самом деле сидел рядом.

На письма отвечать рука не поднимается: видно, тебе своя, а мне своя боль все еще кажется больнее.

Новелла

НИКОЛАЙ ЖЕРНАКОВ

ПОМОРО

ВЕТРЫ

Хорошо помню утро, когда ты впервые повел меня на рыбачий стан. Кажется, мне было десять! Да, да... Август сорок седьмого, я собирался в третий класс.

Много раз потом бывал я на Голодай-острове, а тот, первый, все в глазах, будто навеки его в память врезали. Нынче тоже бывает: ошибусь иной раз, но все же, худо-хорошо, цену человеку назначу. Тогда же было многое странно и непонятно. Но и сейчас иногда станет так жалко себя, точно в детстве, когда, случалось, любимую игрушку отнимут ребята.

На всю жизнь памятно мне, до холмика, то утро на Голодае. Вот как это было. Как сейчас вижу: ты гребешь против течения на повороте из Куряны. Перекат кипит под карбасом, будто костер развел кто под водой. Ты глядишь на меня, а не видишь: о чем-то другом думаешь. Но помню: красив был! Я тогда здорово тебе завидовал: раз махнешь веслами, карбас прыгнет, как конь от кнута. На тебя глядя, и я сильный сидел на корме. Правильно-весло держал, как большой. Да и очень хотелось мне быть настоящим рыбаком.

Потом забыл обо всем, берегами да Двиной захватило. И запомнилось: изба наша в Курянихе, первая с краю, стоит фасом на Двину, а боковые окошки как раз в нашу сторону, смотрят на устье реки Куряны.

Теперь Куряна искожена вдоль и поперек. А тогда, отец, я даже не знал, откуда берется такая уйма воды, не думал, что она вытекает из Черного болота совсем незаметно, словно коричневая змейка вползает в замшелое руслице. Потом ныряет тень бора, там ее и не видно вовсе. Зато в устье, ниже нашей Курянихи, она куда как широка! И невелик иногда понизовый ветер, а — вспомни-на! — как шумит Куряна на перекате, как припадает дробной своей волнишкой к двинской колыбельной волне! Знобко станет от одной мысли: что будет, если схватится северко! Не только карбасом, katerом не пройти переката.

СКИЕ



Оглянусь я сейчас на свою жизнь, и у меня вроде так, как с Куряной нашей: помалу, незаметно вплитывал в себя все, что видел вокруг, что слышал. А потом все это чуть не вышло из берегов.

Хорошо мне было тем утром! Весла бурвяют воду, берег уходит от нас, а на нам курянинские избы, провожают, дымами из труб нам машут. За Куряной луга туманятся, веретень косматятся красно-талом.

Погляжу вверх по Двине: простор! Протоки, болон, песчаные островки в голубовато-зеленой дымке — а опуши няняка. Чайки сумятиятся-толкнутся над водой, крик подняли — уши затыкали! Утки тянут низко-низко, даже вода под крылом рябью дрожит.

3

Вот и Голодай-остров. За что он так прозван? За то, видно, что голо на нем: песок да лоза ивовая. Совсем рано. Еще не обутрело. Красноватое солнце чуть поднялось над Задвиньем, позолотило вешала с сетями, вершинки кустов, трубу на избушке. Сама она, еще темная, с голубым окошечком, будто одноголазая голоза глядит со взгорка. И крыша колчаном, как богатырская шапка; и скамья у земли, как рот оксаленный: свайки белые — скамейкины ноги — два клыка... Чудно все!

Сонно на рыбацком стану. И в природе дремотно, даже ворона равнодушно посмотрела на нас и нехотя свилась с окозла берега, бросила у самой воды свой завтрак — светлую рыбешку.

Я уже было — два пальца в рот — свистнуть собрался, пугнуть разбойницу-ворону, но тут из-за угла избы вышел великан. Ростом без малого до избушкинй трубы, в плечах просторен, грудь вся зашевана кудельной бородой, на голове шляпа-шлем, и открылки-напелнички на спине. Святотор-богатырь! Подошел к берегу и оказался дедком Некрасовым. Знал я его давно, но что из того: дедко лелю мою сказку дальше, и я глядел на великана во все глаза.

— Доброе утро, Влас Левонтьич! — крикнул ты старику.

— Спаси, Христос, — отозвался дедко по своему стариковскому обычаю. — Проходите-ка.

Он ничего больше не прибавил: ни привета старому знакомцу, ни досады на тот случай, если гости приехали не ко времени. Повернулся, загородил плечами весь берег от меня и ушагал за избушку. Из-за крыши ее — я теперь только заметил — поднимался белесый дым: мне почувался терпкая горечь костра.

Неприветный прием умерила мою радость. Ты тоже посмотрел вслед дедку с кривой улыбкой, как дома, когда сердился на мать.

Мы подтащили карбас в берег, чтобы на смыло моряной: начался прилив, — и выкинули на песок вкорь-кошку. Ты заворчал что-то, пошел за избушку, а я бросился к ее окошечку. Не терпелось узнать, что там. Прильнул к стеклу носом, взгляделся: впритык к подоконнику стол прижался торцом столешницы, сложенной из трех щелястых и грязных досок. Посреди стола бутылка с водкой, рядом рыбные обеды, стаканы. А за тем столом, как ступнула, видно, головой, так и спит непробудно Данила, сын дядки Некрасова, бригадир колхозной рыболовецкой бригады.

Я уже слышал от матери, что Данила нынче «зашибает не ко времени». Мне стало больно. Поскорее отошел от окошечка: не дай бог проснется!

Побежал на берег и забыл обо всем: на всю жизнь в глазах и эта избушка, серая, приплюснутая, срубленная из кое-как отесанных бревен; и эта толстая шкура, растянутая мездрой вверх на стене для просушки; и подолок над входом, где свалены в одну кучу весла, багры, шести, а поверх еще старые сети. Рядом с избой другой стол: ноги — четыре свайки, на них щит из досок. На столе миски, ложки, кружки — все чистое; видно, дедко готовился к завтраку в ожидании рыбкоз.

Ты поминишь этот утренний мир на рыбацкой тонь? Вот он — полон, о котором рыбаки говорили всегда, как о жимом: «Полой нынче даст рыбки! Или: «Ох, и осерчал сегодня полон у Голодайка!»

Экая ширь! Шире Куряны... От берега до середины ровной цепочкой убегают вершинки свай семушьего выбоа. Я уже все знал об этой лоушине: на сваях навешаны сети. Они стеной перегораживают русло. Сети оттянуты до два кибасами — грузилами из обожженной глины: нет пути-дороги стремительной серебрястой рыбине-семге. Мечется она, ищет ход, надо скорее попасть в верховья дядкинских притоков, выметать икру. Идет семга вдоль стены, пока не скользнет в широкую горловину рюки.

Тебе ли не знать всю рыбацкую необходимость! Но что из того, отец! Много унес я с собой от первого утра на Голодай-острове, многое с ним связало меня на всю жизнь.

4

Зачервал рыбацкий стан, опьянила река, гляжу — не наглагожусь. Вон там, за выбоаи, стремнина.

Над ней парится розоватый туманец. Солнце пронизывает его, и вырывается узенькая ланта песка. Она, будто снегом, забита молчаливыми с утра чайками. Мне чудится: это льдина плывет в вощнее подололе.

Смострю — и такая сила во мне! Хочется сейчас же испытать ее. Забраться, например, в карбас да сходить на нем до самого выбоа рыбу-семгу посмотреть. Поеду! Хотя и страшно, но решил изкопец. Вдурт твой голос остановил меня:

— Брось, борода, ерунду пороть... И пикнуть не посмеешь! Везде достану. Слышь, лучше на драззи!

Такого злого голоса, отец, я не слышал еще. Бывало, при мне лез ты и к матери с кулаками да с руганью, а все не то. Сразу потускнело вокруг, будто тучкой Голодай покрылся. Только мельтешила вдали сутолока волн на перенате у нижнего конца острова, на выходе в Двину. Я подбожал к избушке да так и присох к углу, к вам не посмел подойти. Дедкин голос был тоже суров:

— Не грозь, Онисим... Я уже прожил свое. Не пугай!

— Про-жи-и-л! Ну и подкай, черт с тобой! Но и Данилке не поздоровится. Пошевеле мозгами-то, борода, если не совсем из ума выжил.

Данилке — это значит Даниле Власычу. Но почему, за что? Рыбак Данила, не в пример другим, был добрым дяденькой для нас, ребятишек, позволяя нам удить рыбу с карбасов. Они всегда болтались на воде, в заводи под берегом Куряны.

— Данилу не трожь! — Голос дедка Некрасова задрожал.

— Что, пробрало старого дьявола! «Не трожь!»

Вот вы где у меня, голубчики! Еще как трону, если захочу.

Бедный дедушка!

— Не кисни, не кисни! — продолжал твой голос. — Ишь, околелись. Давай лучше по-хорошему. Иди, делай, что велю. Скоро подъедут пьянчуги твои.

— Кто ж их сотворил такими?

— Помалкивай. До чего умны все стали, сукнины сыны!

Весь разговор был непонятен и страшен. И дедку жалко и радость прошла. Я заплакал.

— Какого там черта?

Я замолчал было, но не удержался, вскрикнул снова.

— Лешка! Ты чего там, дурак!

— Домой хочу-у-у...

— Замолчи! Успейшь.

Наконец ты вышел ко мне, но больно так сгреб ладонью за голову, но строго спросил:

— Нанугал кто, что ли? — И встревожился: — Ты где сейчас был?

— К перекату бегал... Вон туда!

Впервые, отец, я соврал тебя.

5

Прошлое... Оно тянется за мной, как побитый бурю карбас. Ведет его рыбак на буксире к дому, к своему берегу. И всего: рубануть бы по канату топором, пусть посудинку несет по течению, пусть закопает ее в песок на далекой рёлке динская волна. Но стоит рыбак на корме катера, смотрит на карбас, грустная улыбка тронула губы: побита обноска, в борту дыра — кулак проходит, разбиты уключины, а нет сил бросить. Много прожито вместе, много поработано-порыбачено. Пусть уж валется на берегу, на излучине против окон изб, напоминает о пугине!

Я солгал первый раз и со страхом смотрел на тебя: по спине мурашки бегали, в животе захолопуло. Но позже сошла как нельзя лучше.

— А Шарик-то где? — ты подозрительно оглянулся.

— Там он остался, у переката...

Я только тут вспомнил о собаке. Утром она забралась в наш карбас и, конечно, рыскает сейчас по острову, у нее свои, собачьи заботы. Но стоит только свистнуть, обязательно приближит: из всей нашей семьи над Шариком я — хозяин. И всегда (ты хорошо должен помнить это), всегда я оберегал Шарика от твоего салюга. За что ты не любила собаку? Разве плохо, что мать подарила мне ее в день рождения?

— Шарик! — позвал ты.

— Никуда не делся твой Шарик, — сказал подошедший дедко Некрасов. — Чего кричать? Я ему кости кинул, пусть пожрет. Да и мальчонку-то поноормил бы. Он-то и ревет, что есть хочет. — Тут дедко взглянул мне в лицо и словно осветил все вокруг своей улыбкой: — На голодно брюхо, поди-но, поехали на выбой-то?

Ты недоложно покосился на старика. А мне сказал:

— Ну, хватит соли распускать. Уха готова. По-еди да и обратно. Вон уже где солнышко-то!

Мы ели уху из семужьей головы на ершовом отвя-

ре, такую вкусную, какой я еще никогда не едал, хотя семга часто бывала и дома у нас на столе. А дедко Некрасов ушел под гору к нашему карбасу. Вернулся он скоро с мешком в руках. Когда мы ехали на Голодай-остров, этот самый мешок лежал в карбасе, в корме, у меня под ногами. Были в нем, как видно, бутылки — они сейчас хорошо вырисовывались под натянутой от тяжести мешковины.

— Пала, мешок-то наш вроде... А дедко тащит его себе в избушку!

Ты как-то незата рассмеялся.

— Помалкивай... Был наш, а теперь шабаш.

И вот мы снова в карбасе несемся по течению. В корме у меня под ногами другой мешок. Мокрое, угловатое набито в нем по завязке, темно-красные подтеки испяливали его. В таком же точно мешке ты приносил иногда семгу домой. И мне стало радостно: как много вкусной рыбы мать насолит в большом глиняном горшке! И мать и сестра моя Тоня тоже всегда радовались, когда горшок, полный семги, стоял у углу кладовки.

Приехали в Курянку. Ты вынул из мешка и бросил мне в плетёный берестяной кузовок только два ярких красных на разрезе зёна — только два! — и велел нести домой. А сам ударил в весла, и пошел, пошел карбасок от берега, забелело, закисло за его кормой, будто Тонина коса распустилась по воде.

Куда же ты повез семгу? Ведь в мешке-то ее было немало...

Глава вторая

1

Как давно это было! А сегодня я был у Тони. У нее в семье такая история. Димка, пятиклассник, принес двойку по арифметике. Тоня обвинила в этом мужа!

— Погоди, он тебе еще кол притачит!

— Вот тебе раз! Да я-то при чем?!

— При чем?... С кого ж ему пример брать? Вот полюбуйся, за что он двойку получил.

В классной тетради под косыми столбиками примеров было аккуратно выписано:

На стене висит ковер,
Посреди его узор,
По кайме ковра висят
Бархатные ниточки.
Вот какой номер у нас
В комнате веселой!

— Это неш Димка написал?!

— Он. Чему возрадовался, дурной ты человек!

И задумались они — мать и отец — над тетрадкой. Гладели на ковер над диваном, тревожились за Димку.

— Я уж поговорила с ним, ты не очень до него добираться, — Тоня опустила ресницы, и все же я успел заметить, как в ее глазах вместе с тревогой играет лукавинка: она знает, уверена, что ее муж — плохой наставник. «Самого нудного выдрать не мешало бы», — это я слышал не раз.

— Погляди-ка еще, как он умывальник раздделал.

На умывальнике, на его желтой эмалевой краске, тупым карандашом жирно выписано загадочное: «Морда-личико»; и еще: «А моряк не плачет никогда!» Под такими энергичными фразами нацарапаны слова, очень мне близкие теперь: — мне довелось их читать в Димкином возрасте:

Живу ли я,
Умру ли я,
И мощна все же
Счастливая.

Парень, видимо, «Овода» уже осилил, а Тоня с мужем и не заметила.

— Ты никогда ничего не замечаешь! — сердится Тоня. — Вчера он раздражил Аленку, уроков не дал сделать. А сегодня утром... И сказать-то тебе боюсь.

И верно, только этого еще не доставало! Тоня застала Димку за раскуриванием забытой отцом папиросы. А когда стала выговаривать ему, Димка нагрубил. Какие уж тут смешки!

— Ой, отец, не проворонить бы нам парня! — покачала Тоня головой. — Ведь ему двенадцать скоро.

Я еще фуфайку не найду, а Тоня уже санки и ушат надела и с улицы обратно в кухню приплываает:

Эх, Олеша, нам ли быть в печали...

— Ну, что ты копошишься, как кура перед сном! Пока одеваешься, может, я успею к Струевым ненадолго сбежать!

У соседей Струевых Тоня бывает почти каждый день. Смешное ее словечко я слышал часто: Тоня любила убежать к Струевым «ненадолго», что означало — ненадолго, а пропадала там часами.

— Нет, нет. Оделся уже! — кричал я в восторге: рад был, что сестра пойдет со мной на реку.

И вот летит она к реке, водовозные санки за нею только полозом поскрипывают, а на санках я — животом на ушае, ноги в небо задраны... Хохотю!

Приблизим на Курьян, месяц в проруби купается, я все юзчиком норовлею его зачерпнуть. Тоня плышет вокруг проруби, подплывает:

Чудный месяц плывет над рекою,
Все в объятых ночной тишины...

Хорошо, отец, пела Тоня с матерью, когда тебя дома не было. У матери тоже голос-то — ого! Ты и не слышал, наверно. Потому как чуть скрипнет крыльцо под твоей ногой, сразу — молчок. Тут уж и Тоня не приплывала, опасалась тебя, хотя ты никогда не тронул ее и пальцем.

А мне легко и грустно станет, как бывало, запоют они. Сколько песен знала мать! Многие мне и сейчас памятны.

Особенно запомнилась песня про вечерний звон. Сначала я только слушал ее, а потом стал подпевать. Мать и Тоня поправляли меня, чтобы перестал «вздорить», и наконец мы пели все трое.

— «Вечерний звон, вечерний звон», — заводила Тоня чистым тонким голосом.

— «Как никому дум неводит она», — вступались мы с матерью.

И когда Тоня начинала новые строки:

— И так я с ним, навеки простаясь,
Там слушала звон в последний раз! —

мы бормкали на два голоса — я первым, мать вторым — в такт песне: «Бом! Бом! Бом! Бом!»

Эта песня волновала нас сильно. Мы пели, наверно, хорошо: Струиха выйдет в палисадник под окно своей избы, сядет на скамеечку, закроет глаза и слушает «Вечерний звон» до конца. И как-то похвалила:

— В клубном хоре вам надо участвовать. Поете — сердце не на месте.

Но в клубном хоре пела только Тоня. Мать же отмахивалась, красная от похвалы:

— Коровы песни мои любят, и ладно.

Мне было любопытно:

— Мама, почему папа не поет никогда?

Мать спокойно объяснила:

— Не до песен ему, дела много. Нас ведь семья: всех одеть, обушить, накормить... Для песни свобода сердцу нужна, душе спокойя. А у него ни того, ни другого нету. Не до песен ему, Леша.

Она говорила про тебя так, точно ни сама, ни Тоня не работали, только ты один заботился о нас. Мне казалось, что она старалась передо мной, твоим сыном, выставить тебя в самом лучшем свете. Непонятны были только слова о «свободе сердца» и «спокойе души». Почему уж нет у тебя?

И еще один раз сказала:

— Песня, Леша, только незлобивою дается.
А ты? Разве ты «злобливый»?

2

Вряд ли ты помнишь, отец, что случилось, когда твоему Лешке стукнуло двенадцать. Ты всегда бывал очень занят, почти не замечал меня, разве в том случае, когда надо было дать подзатыльник.

Раз я даже поинтересовался:

— Мама, почему папа ломит, как вол (это твои любимые слова, отец), а председатель колхоза говорит: «Бездеельник Онисим Королев!» Как же так?

Мать перестала мыть посуду, медленно вытерла о фартук руки и только тогда взяла меня за подбородок. Долго и грустно смотрела мне в глаза. Наконец сказала:

— От самого председателя слышал? Вишь ты... Не хорошо так, Леша, об отце спрашивать. Мало ли что люди брякнут... Свой ум пора иметь.

Вот тут и гадай!

Впрочем, гадать времени нет. Кроме школы да уроков на дом, на моей совесть еще «помощь родителям». Эту помощь, сказать тебе по правде, я не очень любил, особенно когда в одиночку. Но все менялось, если со мной бралась помогать родителям Тоня, или Тонька, как обычно ты называл ее.

Тоня все умела делать весело, все бегом да вприпрыжку. Ей уже семнадцать. Школу она бросила после седьмого класса. Четырнадцать лет пошла на маслозавод работницей. Очень уж не терпелось быть взрослой. Она росла сильной и красивой (что она красавая, об этом я слышал от многих): белокурые волосы в толстой косице, а глаза черные-черные.

Мне всегда хорошо и покойно около сестры. Даже ночью, бывало, увидишь страшный сон, вырнешь и ней под одеяло, а она уже знает, что со мной. Прижмет к себе — теплая, мягкая, — буркнет спросонок:

— Страшное опять увидел? Ну вот... Не читай на ночь глупых книжек.

А мне уже не страшно, я уже сплю.

Все меня звали Лешкой, одна Тоня вкусно и круто так выговаривала: «Олешан».

— Олеша, ты за водой ходил! — спросит, едва только успеет ноги в избу занести после работы. — Не ходил! Так пошли вместе, чего в ночь-то тянуть...

Но тебе и верно было не до песен. Все ходил хмурым: не спроси и не скажи ничего.

Мать напомнит о чем-нибудь, а ты уже в ругань. Сказала как-то:

— Бригадир спрашивал тебя.

— Какого... ему надо! У меня все кости болят, а им наплевать! Повоевали бы с мое, узнали б, почему сотня грешешков!

Я слышал уже не раз, как ты воевал, как тебя изранили. «Нет на мне живого места»,— говорил ты. Знал, что врачам наплевать на твоё здоровье: «Дали третью группу, безмогильный народ!» Знал я также, что о ни — это бригадиры и председатель колхоза.

Помню, долго не решался спросить у тебя, почему все же сотня грешешков там, где тебе довелось воевать, и зачем они продавались на войне. Потом спросил учительницу: оказалось, не над чем было и голову ломать.

Думаю, не так уж плохо шла моя ребячья жизнь. Может быть, так и прошло бы детство, не случись со мной одной истории.

3

Ты помнишь, отец, мою учительницу русского языка в пятом классе? Полину Платоновой ее звали. Стройная такая да высокая (а может, только нам казалась высокой!), такие у нее пышные волосы были, все в крупных кольцах, будто в медную стружку убрана голова.

Сколько ей было лет? Двадцать пять, тридцать. Красива ли она была? Трудно сказать, как представлялись нам ее возраст и красота. Но мы любили ее. Бывало, только взглядом поведет: «Ребят, кто хочет помочь мне?» — весь класс сорвется с парт.

Училась у нее хорошо. И чем она брала? Тем ли, что говорила убедительно: расскажет, расспросит да так подойдет, такое делает, будто подарит что, Или очень просто держала себя с нами? Как мать. Рассказывает урок, сама ходит меж партами, да вдруг и поглядит по волосам, взглянет в глаза — так и захочется прижаться к ее руке.

Но и строга бывала. Не знали мы горше наказания, чем получить выговор от Полины Платоновны. В избу ученика за помощью к родителям она не хаживала, а вот зайти порадоваться вместе с ними его успехам — это умела.

Со мной в тот год творилось совсем неладное. Если учительница проходила мимо моей парты, у меня даже голова кружилась. Если долго смотрела на меня, уж казалось и бог знает что. Недаром, видно, я не представляю теперь — не запомнилось мне, — какого цвета у нее глаза. Они сияли, ослепляли меня. И если нечаянно или так просто, как и со всеми ребятами, она касалась своими тонкими холодными пальцами моих щек или волос, сердце у меня совсем останавливалось, грудь делалась пустой, и сам я становился легким-легким... Кажется, душь на меня — оторвусь от парты.

Раздражительный стал, готов всегда обижаться, даже и без повода. Если Гагинка Некрасова — она сидела рядом — первая начнет отвечать урок, меня зло возьмет. Начну ей подсказывать. А увижу, что Полина Платоновна хмурится, я еще громче стану шептать. Сам себе противен, а остановиться не могу. Зовет, скажем, Полина Платоновна дружка моего,

Витку Паромова, подать ей книги. Я тут как тут: рзую у него из рук, суюсь им под ноги, мешаю...

Дома вместо уроков стихи стал сочинять. Общую тетрадь от корки до корки напичкал: «Тоска, тоска мне сердце жмет» или: «Когда ж окончатся страдания!» — все в этом роде, с жестокими переживаниями.

— Королева, скажи, что было задано на дом?

А у меня теперь один ответ: стою да молчу. Пыталась Полина Платоновна не раз разобраться, на чем я свихнулся, — молчу.

Как-то в середине урока говорит:

— Королева, если тебе интересней на улице, пойди погляди.

Очухался: в самом деле, смотрю не в тетрадь, а в окно, на березу. Березка одна такой жалконой мне показалась, припала веткой к стеклу против моей парты, точно погореть просится. На улице же октябрь, холодно и сыро.

Отчаянность меня взяла. Дальше все как во сне делал. Только Полина Платоновна опустила в книгу глаза, я — раз-раз — заданжку на раме поднял и прошуш деревянным голосом:

— Разрешите выйти!

Она даже покраснела:

— Выйди, Королева.

(Ах, вы так! Всегда звали Алешей, а сегодня третий раз — Королев). «Не надо, не надо, не делай этого», — кипит у меня в голове. «Нет, сделала, назло ей сделала, назло ей сделаю!» — колотится в сердце.

И сделал: распахнул окно, вскопич на подоконник. Класс ахнул, у меня сердце остановилось: как же, перед всем классом! Я качнулся и... прыгнул на березку. Руки ободрали, штаны порвали, но спустился не землю и ушел домой. Весь класс смотрел на меня из окон, Полина Платоновна кричала: «Вернись!» «Э-э, все равно!» — думаю.

Не вернулся.

4

Много было у Полины Платоновны попыток найти лазейку к моей душе после той выходки. Я или отмалчивался, или дерзил.

Ты, отец, ничего не замечал. Мать, вечно занятая в коровнике, может, и видела что, да руки до меня не доходили. Тоня не раз принималась за рассказы, но тоже без толку: я сам не знал, чего хочу.

Прошла неделя. В субботу вечером наша семья, как всегда, сидела в кухне за чаем. Мать торопливо причмокивала, обжигалась — надо было на дойку. Ты ворчал: «Всегда, дескать, бегут, пожарят им недосуг». Я — глаза в блюдце — тянул потихоньку горячее. Сестры еще не было с работы. Все шло обычным порядком.

В дверь постучали. В тревожном предчувствии я поднял глаза: так и есть, вошла Полина Платоновна. Поздоровалась, села на лавку. На меня ни разу не взглянула.

— Чашечку, — засуетилась мать.

— Не беспокойтесь, спасибо. Я пила уже.

Ты, разомлевший, красный, сидел и вопросительно на меня поглядывал. Меня подымало удрать, но об этом нечего было и думать. Полина Платоновна спокойно ждала, с любопытством оглядывала кухню, пол некрашеный, покрытый ковчиками из разноцветных лоскутков (Тоня была мастерица), промытый с помощью голика до желтизны (мать любила некра-



шенные поля, на мытье их не жалела сил). На стене между окон висела потемневшая от времени, испятнанная мухами картина «Стенька Разин». Я выдрал ее из журнала и рамку сам смастерил. С полатей, изпод ситцевой занавески, свисали рыболовные сетки. В углу напротив, под самым потолком, стояли иконы. Зачем они вам нужны? Ни ты, ни мать, насколько я понимал, в бога не верили. Мне же очень нравился старичок отшельник, похожий на Льва Толстого. Он стоял в окружении фольгового сияния, бурый медведь с непомерно большой головой лежал у его ног. Лес, и речка, и особенно красные грибы под елочкой... Очень красиво! Я был убежден, что это и не святой воисте, а вроде Дурова, которого я видел однажды в городском цирке.

Все рассмотрела Полина Платоновна. Я не сводил с нее глаз из-за самовара. Наконец вздохнула, кивнула на сетки:

— Рыболовством занимаетесь, Снисим Николаич?
— Надо как ни то жить! Семья...

— Мне надо бы поговорить с вами (мать, собираясь на работу, надела пальтуку и уже взялась за скобу) и с вами, Анна Степановна. Я не задержу.

Вы ушли в комнату.

Так Полина Платоновна не хочет говорить при мне! Хорошо. Вы беседуйте себе на здоровье, а мне недосу...

Но едва я взялся за шапку, намереваясь дать тятю, как раздался твой голос:

— Лешка, не вздумай ударить!

Я склался на лавке у порога и бездумно просидел до конца вашего разговора, все пытаясь унять дрожь в коленях. Говорили вы довольно громко, но непонятно. О чем? — вот что мучило меня.

Время длилось бесконечно. Тихо журчал голос учительницы, потом ты крикнул: «Вот стервец!»

Резко откинулась дверь... Таким я тебя еще не видел. Особенно страшными были глаза. Не спуская их с моего лица, ты пятался к стойке-подпорке полатей, шарил позади себя рукой: на стойке, на ггазде, всегда висели рыбачьи снасти. Наконец в руку тебе попал обрывок крученки — веревки, пропитанной рыбьей слизью, твердой, как телеграфный провод.

— Папа, не надо... Папа, не буду... не буду больше!

Но крученка уже свистела, жгла протянутые к тебе мои руки, плечи, шею, голову... Мать кричала что-то, неистово бросалась к тебе. Но ты, сильный и пьяный, — я только теперь увидел это — молча откидывал ее левой рукой, а правой бил, бил, бил...

— Стыдно! Что вы делаете?!

На твоей руке повисла Полина Платоновна. Ты ошалело посмотрел на нее. Щеки у тебя дрожали, дыхание прерывалось.

— Культурный человек!

Мне показалось, что ты ударилшь и Полину Платоновну, так качнулся к ней после этих слов. Но ты оборотомгал только:

— Культурой нечего попрекать! Мой сын...

Я не знал тогда, отец, что раньше ты учился в педагогическом училище, что война сорвала твои планы: в школу, в учителя ты не попал.

Очнулся я в горнице на кровати. Тоня сидела рядом со мной, держала мои руки, зачем-то дула мне на пальцы и прижимала их к своим губам. Врачиха из нашей Курянинской больницы надевала халат и улыбалась мне. Мать стояла у моих ног. Она казалась еще ниже ростом, еще беззащитнее выглядела вся ее фигурка в пальтуке и теплом вязаном платке — ее обычном наряде в будни.

Ни Полины Платоновны, ни тети в горнице уже не было.

Долго и непонятной болезнью болел я после этого случая. Иногда беспринципно и неожиданно судороги сводили мне руки и ноги. Из Курянской больницы меня перевели в областную. Но и там легче не стало. Снова привезли домой.

Кто-то наддушил мать показать меня древней старухе. Издана ходила с ней слава захарки. Агафья Наумовна пришла. И что же? Вечная память, пусть земля будет пухом старушке: она спасла меня. Три раза она приходила ко мне, растирала руки и ноги, ласково бормотала надо мной что-то непонятное, врасплох прыскала в лицо студеной — водой из проруби. Если я плакал, лугаясь, Агафья Наумовна все радостно светилась, говорила матери: «В Бане великий — господин, в печи — конюрга, над Лексеевой хворобой — баба-яга. Веселись, Степановна, отходи у парня испуг-от!»

Испуг отошел. Читал я потом ученую статью, пошла: народная медицина иной раз делает чудеса. Полно в тебе было чудес, маленькая колдунья, Агафья Наумовна!

Как бы то ни было, но к декабрю я уже не держался, а под Новый год с моими друзьями — Витькой Паромовым и Галинкой Нецрасовой — мы вовсе катались на лыжах. В воскресные дни на горы с нами частенько бегала и Тоня. Вот уж когда был праздник! Она любила лыжи. А как прыгала с трамплина! Мы обожали ее. Я гордился сестрой так, будто не она, а я сам летал птицей с высоченных гор (поминишь: за Ягодным оврагом, над Куряной); не она, а я имел и этот красивый лыжный костюм и эту толстую косицу из золотистый волос. Тоня ее не уместит, бывало, под шапочку, сколько ни укладывает.

Я в вечном долгу перед ней, перед моей сестрой, другом и всегдашней заступницей.

Глава третья

1

Мне не пришлось учиться в ту зиму — много пропустил уроков. Полина Платоновна пыталась продолжать мою учебу на дому, но ты помилости, отец, что из этого вышло.

Однажды после обеда я сидел у окна и глядел на Куряню. Сильным ветром с нее сдуло снег против нашей избы. Матовостеклянный лед застил передо мной. Уже не отражалось бледное небо, только низкое солнце играло в снежных ропаках на курянинском перекате. Ропак холодно блестили, искрились, будто там продолжалась осенняя сутолока волн.

Глядел в окно, мне было грустно. Повзрослел после порки, что ли: стал задумываться о том, что раньше и в голову не приходило.

— Что к Галинке-то не идешь? — тревожилась мать. — Шел бы, игры затеяли... Чего ж скуку-то разводить?

Бывало, мы с Галинкой друг без дружки никуда. Но все чаще я избегал друзей, все больше уединялся или держался около Тони. Особенно мне нравились ее песни, а еще любил слушать, как она читала вслух. Тоня читала много, везде и в любую минуту. Только что прилясывает, бывало, около стола, отглаживает себе кофточку, напевает. Гляды! Уже за-

стыла над книгой, и уютно холодеет на самозарной конфорке. А читать вслух для меня и матери считалось у нее за большое удовольствие.

Матери обычно некогда было «рассказывать» над книгой, без дела. Но вот в руках у нее починка белья или прялка, и уже слышно:

— Тоня, читни-но мне про этого... про Раскольниковова-то. Как он ужо: выкрутится, нет ли? Скажи на милость, зарезал-таки старуху, дурак bestолковой!

Мать умела говорить о книжных героях, как о своих знакомых, интересно и с такими подробностями, каких не было иной раз в книжках.

— Погоди-ко,— перебивала она Тоню.— Дальше, наверно, вот что будет...

И рассказек о том, как было в самом деле», например, с Чапаевым.

— Это только в книжке: утонул! Не мог он утонуть на самом-то деле, не такой он, Чапаев, чтоб так, за здорово живешь, голову подставлял. Перво-наперво — герой, а второе — семья, ребята малы... Это писатель расписал для интереса, чтобы было завлекательней.

В тот памятный день я сидел у окошка, ждал Тоню особенно нетерпеливо: она хотела прийти пораньше, дочитать нам перед уходом матери на вечернюю дойку повесть Чехова «Степь».

Над Куряной, на оголенном угоре, сыла одинокая елка. Еще на моей ребячьей памяти было: около нее кудравились в пышной хвое три молоденькие елочки, а две высохшие от старости соседки стояли чуть поодаль, ноченели голыми сучьями, будто раздетые донага на морозе.

Недавно ты срубил их на дрова да заводно свалил и молодянок.

И вот стоит теперь ель одна-одинохонька. Сиверко бьет ее с налету, мороз леденит, а кругом никого. Мне больно за нее так, как будто не она, а я стою там под холодным небом. Стою, думаю за нее: «Страшно и зябко мне, люди! Долга зима и люта. Лучше уж срубил бы ты, Онисим Николаич, меня, вместе с сестрами и с детками, лучше бы сгореть мне в печке, чем одной стоять тут до весны».

Знакомый голос раздался на кухне, прервав мои мысли. И в тот же миг неудержимо задрожали у меня веки, больно пронизало голову, заломило в суставах. Припадок возвращался.

— Не хотелось, чтобы Алоша отстал. Такой способный мальчик, надо продолжать учебу,— говорила Полина Платоновна уже в дверях горницы.

Ты входил за меня. Мне показалось в ту минуту, будто свет из глаз учительницы ударил в меня, и потому судороги еще сильнее свели подлокотники и пальцы рук, еще сильнее заломило над бровями. Я вскопчил, хотел бежать и упал. Ты бросился было ко мне, но на полпути остановился, словно побоялся подойти. Слышно, уже в кухне раздалось:

— Мать! Тонька! Где вы там! Подите скорее-то! С Лешкой чего-то опять!

Это был последний припадок, больше он никогда не повторялся. Но и Полину Платоновну мне тоже больше никогда не довелось увидеть.

Где она теперь, моя первая детская любовь (иначе я не могу и назвать то чувство)?

Тогда же, зимой, Полина Платоновна уехала из Курянихи. Говорили, будто к мужу не то в Казахстан, не то в Туркмению — не помню уже. После тебе пришло письмо. В нем она спрашивала о моем здоровье. Я долго хранил страничку из тетради со знакомым почерком и до сих пор жалую, что она затсырялась, я нигде не найду ее.

Хорошо, что ты, отец, не глядел на мое малолетство, позволяя мне в ту зиму охотиться. Ружье, лес, одиночество... Это мне и было нужно. С друзьями не игралось. Хотя Галинка по-прежнему после школы прибегала ко мне, а Витка Паромов даже пытался учить со мной уроки, толку они не добились: я ничего так не хотел, как бродить в лесу одному.

С утра становился на лыжи и спасался от моих друзей, и от жалостливых материнских глаз, и от тебя. Часами скитался по зандревелым березовым опушкам, пугал голодных косачей. Беспечные в морозные утра, они жадно пожирали березовую сережку — только бей!

Но и косачей я почти не стрелял. Я мечтал. Я шел тринадцатый год, а я мечтал о ней, о моей учительнице. Куда только меня не уносило!

Далеко-далеко Полина Платоновна горюет обо мне. Наконец разводится с мужем. Так ему и надо, старому дураку, не суйся со свиным рылом в калашный ряд! (Что за калашный ряд такой, я не знал. Но приговору такую слышал от матери.)

Вот учительница приезжает в Куряниху, все удивляются, завидуют. Горюет Галинка Некрасова, сердится Витка Паромов: я уеду с Полиной Платоновной, а им-то нельзя! Вот мы и уехали. Гуляем с ней в горах, там, где Лермонтов жил в ссылке (как она рассказывала нам об этом!). В папаше и при кинжале я скачу на коне по краю пропасти. «Какой смелый!» — говорит Полина Платоновна. Но именно в этот миг мне вспоминалась порка. Стыд опалил и жег меня. Тут же придумывались десятки способов мести: то я становился богатырем, как дедко Некрасов, и порол тебя сам кручиной перед мамой, то загонял тебя в подпол и морил голодом; то — страшно подумать! — встречал тебя в лесу и грозился застрелить. Ты ползал у меня в ногах, а я наслаждался твоим унижением...

Как-то среди зимы вечером мы встретились с тобой у крыльца: я шел из леса, ты возвращался с Куряни. Я знал, что за перекатами на ямах стояли у тебя самолозы на стерляди — ловушки запретные, ты носил их в мешке тайно от людей.

— Не хватит ли, Лешка, по лесу-то гонять! Мужик мужиком стал, а отцу хочь на стороне помощника бери... Когда и подзаработать, как не на подледной, — впервые после болезни заговорил ты со мной о работе.

— Не пойду! — непримиримо отрубил я, будто порка давала мне право на какую-то особенную самостоятельность.

— И не ходи! На черта ты мне нужен, злыдень такой...

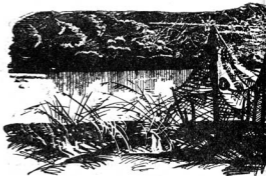
Впервые мы разговаривали по-мужски. Мне показалось даже, будто ты побавивался меня. Мы зашли в избу, и ты, словно стараясь скрыть от матери нашу размолвку, сказал каким-то не своим голосом:

— Что хмуришься-то? Рыба любит веселых людей, Лешка...

Не знаю, заметил ли ты, отец, что я почти перестал звать тебя папой. Но мамы-то примотила.

— Ты бы, Лешка, уж простил отцу-то, — грубовато попросила она, когда мы остались вдвоем, — больно ой, израненный, отец-от...

Она шила и не подняла на меня глаз. А мне подумалось, что ей тошно было произносить такие слова о тебе.



Всю зиму я «промантулил», по твоему выражению, дома. Правда, без дела не сидел: переколот на-мелко и сложил под навес кубометров десять дров, вода для хозяйства по-прежнему была моей заботой, научился даже валенки подшивать. Засиживался на старой дедовской липке далеко за полночь.

Как я был горд и рад, когда мать оценивала мою работу!

— Смотри-ко, отец, сын-то: как вылил заплатку-то. Ну и Олексей Онисимыч...

Но ты не умел уже, видно, ни удивляться, ни радоваться.

Зимой частенько собирались в нашей кухне твои друзья. Ты сам не раз называл их так, когда на столе перед вами стояла водка.

То были рыбаки из зена семужников с острова Голодая, где командовал дедко Некрасов. Я хорошо знал их. Один — Иван Корелин, по прозвищу Ванька Рыбный, мужик лет сорока, рыжий, красноносый и круглый. Жир распырал его. Вместо глаз у него были хитрые прищурки, никогда не поймешь, смеется или сердится. Он так и сыпал прибаутки, но словно для того только, чтобы скрыть свою не любовь к людям. Другой рыбак — длинный, сухощавый и рукастый человек с большой головой, тоже еще не старик. Но лысна (танцплощадка, — называл ты ее) уже обнакала на всей макушке бледную блестящую кожу. Около ушей еще топорщились редкие белесые волоски. Брови же имел сивые и широкие, будто наклеенные над глубоко сидящими, всегда мрачными глазами. Этого звали Дмитрий Лукин Димкин. А меж вами — просто Димка Димкин. Он был страшноватый и всегда ругался, но я не боялся его: если шуточной протянет, бывало, ко мне свою ручищу, подходил и жался к его коленям.

Оба рыбака — наши односельчане. А Ванька Рыбный — даже сосед. Судя по разговорам, и он и Димка Димкин, так же как и ты, побывали на фронте. Димкин, например, написавши, любил потрясать кулаками и всегда сообщать одно и то же:



— Душу бы вынуть из холеры крашеной: не дает группу! Не там, вишь ты, ранение... Оно мне не мешает, мол. По-ейному, выходит, наршно я хрицу то место выставлял.

Ты потелася над ним вместе с Ванькой, я знал почему: «крашеная холера» — наша курьянская врачиха, а ранение у Димкина находилось на ягодице.

Дедю Некрасов за всю зиму только раз заходил к нам по делу. Водки он не пил, хотя видно было ваше стремление напоить его. Ванька Рыбный всегда хотел казаться мужиком себе на уме. Потому и выговаривал витиевато:

— Мы, Влас Левонтич, претлично соображаем. То есть в лучшем виде... Понимаем, ты лицо руководящее над нами. Но посуди сам: в каком ты соотношении к компании? Пей, коли угощаем!

При этом он совсем закрывал свои щелки и, вытгивая губы, намеревался поцеловать старика в усы. Но великан положил свою руку на плечо рыбака и попридавил его к лавке. Потом сплюнул себе под сапог, вытер ладонью бороду и ушел, не сказав больше ни слова.

— Брезговат, холера,— мрачно посмотрел ему вслед Димка Димкин.

— Непропорционально ведет себя,— подтвердил Ванька Рыбный. Таких слов он нахватался от третьего твоего друга. Третий появлялся у нас не часто, больше вечером, когда на курьянских улицах не встретишь человека, а если встретишь — не поймешь, кого: фонарей у нас нет, улицы темные. Звали его Георгий Павлович, или Егорий Палыч, по слову Димки Димкина. Держался он за старшего — хозяином. Это меня удивляло: очень уж он был среди вас — могучих да кражистых — ненастоящий какой-то, маленький, с острой мордочкой. Казалось, вся она утянулась в большой, вислый нос. Да и молодой еще — лет тридцати всего, а при его белобрисости и того не дашь.

Егорий Палыч обычно у нас заочевывал. Тогда ты с матерью укладывался в горнице на полу, гость же завладевал периной на вашей кровати. Всегда бережливая мать стелила Остроносому — так про себя я прозвал его — не будничные, в заплатках, а праздничные, с синей каймой, хрусткие простыни.

Ванька Рыбный и Димка Димкин — односельчане и меня мало интересовали. Другое дело — Остроносый. При его появлении я моментально взбирался на печку, на свое любимое место — за трубу. Отсюда все видно и слышно.

Остроносый — человек городской и одет по-городскому: белый свитер с черной полосой поперек впадой груди. Эта полоска делала его еще более поджарым, придавала сходство с горностаем. Пил он здорово, почти не закусывал. После пятой-шестой стопки любил поговорить наставительно. Было заметно, что его речи вам не очень по душе. Но вы терпели, не возражали и даже иногда поддаивали.

— У меня, брат, так,— тонким голосом выпевал Остроносый. — Уж я люблю, чтобы все было пропорционально! А как же? Вы трудитесь, платить кто-то должен! Всякий труд оплачивается соотносительно, по закону: вы мне, я вам!

Остроносый всегда привозил деньги и делил меж вами.

Однажды он пришел около полуночи, когда все вы уже были «на взводе». Разделся, бросил на лавку зеленую куртку на белом меху, какую носят полярники (я видел на картинках в «Огоньке»), рукавицы же швырнул на печь. Они упали к моим ногам, на горячие кирпичи. «Ссохнутса,— подумал я,— вишь, как размокли!» — и положил рукавицы на боровак.

Остроносый за стол не сел, пробежал из угла в угол по кухне, остановился против тебя и злорадно спросил:

— Воздаете Бахусу?

— Чего? Ты, Егорий Палыч, об чем это... Ты давай садись-ко, чекалдыки,— загсворил Димка Димкин веселым языком.

— Заткнись!

Димкин обиделся.

— Чего, чего?

— Ничего, проехали... Ваше дело — только водку жрать, — задергал горностаевой мордочкой Егорий Палыч. Но сел наконец к столу. Ты посмотрел на него с тревогой, спросил:

— Что случилось?

— Э-э... Хватит вам: «Что да почто!» Выдержки-ко

для примера штрафную, — вмешался Ванька Рыбный, — Одумайся, тогда и доложи все. Пей, не чванься! Как говорится: жни да делай назло, недоделай наш и век.

Остроносый не стал больше «чваниться», жадно проглотил стаканчик водки, поддел на вилку соленой семги и уставился на нее.

— В горловину не лезет сегодня, проклятая! — сморщился, но все же зачавкал с аппетитом.

— Что мозги затуманиваются! — спросил ты, все болле тревожно. — Деньги привез?

Остроносый окинул кухню быстрыми — как искра мелькнула — глазами, вскочил, прикрыл дверь в горницу (там была Тоня), снова сел:

— Деньги? Ишь ты, умный какой! Скажи спасибо, сам я перед вами сижу, а мне не здесь находиться следовало бы!

— Как?! — Ты вцепился руками в край столешницы, аж пальцы побелели.

— Что?!. Денег не привез, твою так! — гаркнул пьяный Димка Димкин, мерцая глазами, и навалился на стол широкой грудицей, чуть не опрокинул его.

— Это что же значит? — Ванька Рыбный тоже влился щелками в лицо Егория Палача.

— А очень все просто, чего взъелись? — огрызнулся он. — Оно и видно: ваше дело только глотку заливать! Поймал, сдал — и жди манно... Нет, ты попробуй реализовать при теперешней пропорциональности. — Он прикрыл желтыми веками быстрые глаза. — Засыпались... Влипла наша Полнарья Гавриловна.

Все долго молчали, огорошенные этими словами. Потом ты спросил:

— Сидит?

— Нет. Она — молодчик! У нее комар носа... Устроила все соответственно. Не знаю, мол, откуда взялись лишки, не знаю — и все. Ну, а где она рыбу берет? Кинулись к нам на ледник. Ревизия!

Лица у всех вытанулись. Ты вскочил, забегал по кухне. Наконец остановился.

— Ну-у, добивай! — И выругался крепко. У меня дух захватило: «Вот здорово ругаетесь! Никто из них не сумеет так».

Но Остроносый присел за столом, загосорил нетерпеливо, самодовольно:

— Чего «добивай»? У меня, брат, все в ажуре. Полнарья-то мне сразу звонок: «Вороны летят!» Я только-только успел до них. Прибрал все лишки. Кончики! Ну, естественно, сунул помощнику своему, один-то бы я не управился: большие центнера ев еще там. Всю на лед, в боковые карманы угаматали.

Снова налили по стакану, пили молча. Только Димка Димкин, пьяный и страшный, беспросветно кистерил какую-то «холеру», обещал переломать ей все ребра.

Ванька Рыбный бодрился. Изображая перед вами бабу, у которой муж — львица, балагурил по-бабьи: «А мужик-то мой ноне как с ума сошел: домой-то поперек дровен приедет. В избу зайдет, ногами затопит: «Лива да вина, лива да вина!» Да что, говорю, мужик, ведь ты дома. «А если дома, давай воды», — говорит».

Но вы смеялись неохотно. Наконец ушел Димкин. И Ванька Рыбный сослался на нездоровье: голова, мол, болит, тоже ушел демой. Вы с Остроносым еще долго бубнили, не поймешь что.

Разбудила меня твоя твердая рука: ты очень больно сжимал у щиколотки мою босую ногу. Я со страхом огляделся: рядом с тобой, на печной приступке, стоял Остроносый. Он тоже хватал меня рукой.

— Лешка, ты с чего тут, шельмец! — Ты потянул меня за ногу прямо по горячим кирпичам. Было больно, кирпичи жгли ляжку, но я молчал, охваченный страхом.

— Понимаешь, Онисим, — бормотал Остроносый, — схватился я: где прчатки! Вспомнилось предположительно: как пришел, на печку бросил. Ну, думаю, чистый-то хром — да на печку! Сунулс я, а тут вот он. Ведь все слышал, мазурик...

— Не сетети-ко...

— Как то есть, ине сететия?

— А так, очень просто. Ты спал, что ли, Лешка?

— Спал, — захныкал я.

— Какого черта тебя на печку... Давно торчишь тут?

— Оставил бы ты его, отец, — раздался материн голос. Видно, уже с дойки пришла. — Умался пареня, ну и присунулся за трубу. Не первый раз, поди. Еще напугай возьми сонного-то! Слезай, Лешка, попей молочка да поди спать. Тоня! Стел-но ему на полу в горенке!

Я заметил, что после того вечера собираться вы стали пореже. А Остроносый, тот и вовсе пропал. Но я еще не раз, отец, вспоминал потом про это случай, все гадал: какие «лишки» прятал Остроносый к себе в «боковые карманы». Много позже узнал я, что это такое: так назывались боковые отсеки в леднике.

Чувство уважения и страха к тебе проникало меня всего. Я уже догадывался: все, что вы делали с рыбаками и с Остроносым, было почему-то такое, о чем никто не знал и не должен был знать.

Как интересно! Сколько раз порывался я рассказать обо всем этом Галинке и Витьке! И только воспоминание о том, как ты тревожно расспрашивал, не подслушал ли я ваших разговоров, сидя тогда за трубой, останавливало меня. Я крепился и молчал, хранил тайну. А это было не так-то легко.

Глава четвертая

1

Пришло лето. Тебе, отец, оно не принесло, наверно, ничего нового: ты по-прежнему браконьерил (так по-за глаза говорил о тебе народ) на динских полозах, на стол мать всегда подавала свежую рыбу. Большую часть улова ты продавал, а я помогал тебе в этом. Торговали мы и в Курянке, но только мелкой рыбешкой. С огромными, как тарелка, лещами, с длинномордыми щучками выезжали в город, ходили по квартирам. А стерлядь ты увозил в город один. Кому? Я не знал и не спрашивал.

На работу в колхоз тебя уже перестали приглашать. Председателев сын Тимофей (я знал, что То-

ны именно из-за него бегают к Струевым «ненадо- лышко») сказал как-то Тоне: «На Онисима Николаи- ча отец рукой махнул».

С Тимофеем мы дружны тоже через сестру. Ему уже около двадцати лет. На колхозной доске почета висит большой портрет, а под ним такая подпись: «Лучший тракторист колхоза Тимофей Струев».

Тимофей знал про мою тетрадку со стихами. Иногда с серьезным видом спрашивал меня: «Ну, что новенького сочинил, Леша?»

Я уже не писал теперь про любовь, а больше про рыбалку и про охоту, про озеро, про Двину и свою Курьяну. Гордый вниманием Тимофея, я спрашивал: «Про чего хочешь? Про охоту?» Становился, выпятив грудь колесом (в клубе так читал стихи приезжий артист), и начинал декламировать:

— Прекрасно крутом: полыхали зарницы!
А я любовался, Испуганной птицы
Несметные стаи неземных пород
Носились над гладью неизменяемых вод.

— Складно! Только пышно как-то... Ты бы попроче. Не пиши, старейся, думаю, толк будет.

Похвала приподнимала меня, я не шутя рассказывал потом Галинке Некрасовой и Витьке:

— Тимофей сказал мне... Ты, говорит, пиши, старейся, толк, говорит, из тебя выйдет!

— Конечно, выйдет, зато бостолочь останется,— смеялся, важно надувая щеки, Витька Паромов, за что и получал от меня затрещину.

То, что на тебя в колхозе махнули рукой, меня вполне устраивало: рыбалка совсем сводила с ума, а ты теперь часто брал меня с собой, и даже, бывало, мы заочевывали на берегах покоев. Мне хотелось пригласить еще и Галинку с Витькой, но ты строго запретила:

— Не только брать — рассказывать им ничего не смея! Выдери и никогда самого больше не возмуй!
— А Шарика можно?

— Бери своего Шарика, будь он неладен!
Шарик хорошо запомнил твои пинки, никогда не ластился.

Теперь мы с тобой не изматывались на веслах, как в прошлом году, когда выгребали иной раз дальние дороги против упругого дзвического течения или с трудом преодолевали толчею крутых волн на перекатах. У нас появился катерок, и мы носились по Двине, как чайки. Радости моей не было предела: собственный катер! Меня не интересовало, откуда взялись деньги на его покупку.

Вскоре я хорошо понял, кого и за что называют браконьером, но это только попустило моему самолету, а на тебя я стал смотреть, как на героя.

Раз ранним утром, еще ветерок не морщил сонную воду покоев, мы подъехали к острову Журавельцу. Заглушили мотор. Я сел в весла, и мы тихо-тихо двинулись вдоль песчаной косы. Нам было не впервой слушать маленькую кошку-якорек за корму, поддывать ему поводок самолета, перебирать его, осматривать острые жала крючков. У меня всегда зазнался дух: один крючок пуст, другой, третий... Неужели ни одной? Но вот поводок натянулся: есть! И пошла потеха.

Ждем стерлядку, а из темной воды под бортом катера тускло блеснет горбатая спина. Лещ! Экая громадина! Звучным шлепком ложится он на дно катера, на телас. На втором крючке олять лещ. Досадно: нам нужна стерлядка, она заказана тебе кем-то в городе.

— Гребь, гребь помалу! Черо рот раскрыл?

Я гребу. Шарик тычется в спину, повизгивает. Ему тоже интересно, я понимаю. Сиди, Шарик, сиди, не шевелись. Видишь, снова натянулся поводок. Вот она, первая сегодня... Я знаю, отец, как дорога тебе стерлядка, мне очень нравится твоя складная приговорка: «Лещ — друж, цена — платж. У стерлядки другие повадки: это добро — всегда серебром».

2

Уже пятую стерлядку опускал ты в плетенный из ивовых прутьев садок. Он приспособлен в воде, под бортом катера. Живая стерлядка ходит в нем. Живую — а кадушке с водой — ты возишь ее и в город. Вдруг из-за высокого уреза берега острова Журавельца неожиданно вылетел еще катер и пошел прямо на нас.

Кровь схлынула у тебя с лица.

— Лещика! Выгребай изо всех в реку...

Ты быстро обмотал кошку поводком самолета, швырнул ее в корму. Выхватил из воды садок, сунил в него, прямо на стерлядь, кирпич («Вот для чего у нас в катере всегда лежат кирпичи!»), крутнул заводную ручку, катер рванулся вперед.

— Весла убирай!

Мы полетели к середине Двины. Словно только сейчас проснулся утренний ветер. Волна била через нос, хлестала мне в спину, Шарик растерянно визжал, дрожа, прижимался ко мне. Незнакомый большой катер гнался за нами, кто-то махал с него рукой. Но ты даже не оборачивался, все глядел вперед. Лицо у тебя было злое и решительное, рука тяжело лежала на руле, другая напряженно сжимала горловину садка. В нем изредка взбрыкивал лещ, придавленный кирпичом. Нем стало страшно и отчаянно: «Что, взяли! Попробуй-но погоняйся за нами!»

Я глядел на тебя во все глаза: здорово ты похож на Стеньку Разина! Вот только бы еще папаху да саблю, то и совсем как на картину у нас в кухне. Стенька не боялся никого, и ты не боишься. Кто это гонится за нами? Что им надо? Момент, топить нас будут? За стерлядь, наверно, напустились, раз запретная она.

Далеко остался Журавелец, наш катерок уже ближе с волной на середине Двины. А чужой катер все ближе. Вот ты выкинул за борт садок — только блестя в нем серебро чешуи. «Утопил весь улов!» Схватил кошку с намотанным на нее самолесом — и тоже за борт.

Мы еще посостязались немного, и ты выключил мотор. Незнакомый катер с разгона чуть не врезался нам в борт. Хорошо, что расторопный моторист успел затормозить и дал задний ход. Держась против волны, катер подошел. Грузный пожилой человек в форменном кителе с блестящими пуговицами (двухлетняя моя мечта и зависть!) поймал багром наш катерок за обшивку, подтянул. Стали мы борт о борт.

— Удрать хотел, браконьер! — грозно крикнул на тебя тот, что в кителе. — Нет, шалишь, наигрался... Кишка тонка!

Он легко перескочил к нам и, придерживая багром свой катер, радостно сообщил:

— Ба! А я догадывался, что это ты, Королев. Попался все-таки! Ну, показывай добычу.

Ты был уже совсем спокоен. Я подумал, что ничего страшного, назерное, не будет.

— Чего вы, как дикари, за лодками гоняетесь? — с насмешкой спросил ты. — Гуляют люди по Двине, а вы бросаетесь за ними, как гонимые за зайцем.

— Перестань, Королев, в прятки играть! Дело-то посерьезнее, чем ты думаешь; еще и парнишку с собой таскаешь. Добру учишь, голова.

Но взять, оказывается, с нас было нечего. В катере никаких следов. Нас на буре отвели к Журавельцу, поставили на прикол. Рыбинспектор долго волочил по дну пятипалую кошку за своим катером, пытаясь насупать наши самолеты и уличить нас, но все напрасно.

— Если не браконьерили, зачем удирали тогда? — подозрительно расспрашивал рыбинспектор, щупая меня умными глазами. Ясно было, что он никому не верит. — Тебя как зовут, мальчик?

— Лешкой.

— Алексей, значит, Пионер?

— Нет, — соврал я.

— Ну, неважно. Школьник. В школе врать тоже не учат. Отвечай-ко: была рыба?

— Не было.

— Самолеты ставили?

— Чего это!

Ты одобительно усмехнулся мне:

— Он и слова-то такого не слышал... Чему учи-те парня?..

— А удирали зачем?

— Отяжитесь от ребенка! Зачем, зачем!.. Лупите прямо в лоб. Перетрусил я, кто знает, какие вы люди.

Рыбинспектор насмешливо покачал головой:

— Перетрусил! Ай-я-я... Бедный Королев: катер-ров стал бояться!

— Оскорблять честных людей и вам не положено. Как бы не ответить!

— Стыда у тебя нету, Королев. Но помяни мое слово: доберусь я до тебя. Спыхватиться, да поздно будет.

Когда катер рыбоохраны растворился вдали, в текущем мареке солнечной дымки, ты стал поднимать кошку. Она, оказывается, висела под жилем на тонкой капроновой нитке. Ты выгасил и бросил кошку в катер. Хвастливо сказал:

— Вот как надо дела делать! Все шито-крыто.

Ловко! Пока рыбоохрана волочила свою кошку по пустому месту, наш самолет спокойно висел под жилем. Ай да отец!

— Где ему, толстопузому идиоту, тягаться с Королевым! — сказал ты.

«Правильно, так ему и надо. Молодец, папа!»

3

Конечно, встреча с рыбоохраной, обман были тебе не в диковину, а в моих глазах ты еще вырос. Об этом случае я рассказал Галинке и Витке в тот же вечер.

— Здорово! — восхитился Витка. — Сразу видно, что у тебя папанка не жадога, как этот инспектор. Рыбы в Двине на всех хавают.

— Нехорошо обманывать, — сказала Галинка.

И твоя отец не без обмана живет, — обиделся я.

— А вот и нет, а вот и нет!

— А вот и да, а вот и да!

— У меня папа не такой. Он хороший, он рыбу государству ловит, колхозу, а не так...

— Не такой! Не так... — Зло меня взяло: мой обманчик, а у нее святой! — А на какие вши твой папанка за воротник закладывает (это не мои, твои слова, отец)? А я вот знаю, на какие, знаю, знаю... Вот!

Галинка заморгала часто-часто и покраснела так, будто лопнуть собралась. Я спыхватился, но поздно: Галинка всхлинула, разрыдалась и бросилась к дому.

Всем колхозу было известно о частых выпивках Данилы. Мы тоже знали, что на правлении ему уже была взбучка. А теперь я как бы оказывался виноват в пьянстве Галинкиного отца потому, что мой отец возит рыбакам водку.

Витка Паромов растерянно моргал. У него не было отца: погиб под Москвой. Мать работала библиотечником и жила, как она говорила, только для Витки, потому, мол, и замуж не вышла. Витке всегда было завидно: у нас есть отец, а у него нету.

— Чего она задевается своим отцом! — проворчал наконец Витка, когда Галинка скрылась за углом. — Подумаешь! Отец, отец... Он и не воевал вовсе.

Обо всех отцах Витка судил только с двух сторон: служили они или не служили в армии, воевали или не воевали. Такая им и цена начиналась.

— Дура! — добавил и я вслед за Виткой, что бы поддержать его как мужчину. И понял, что зря: мне не хотелось огорчать Галинку. Совестно стало за «дуру».

— Может, догнем? — нерешительно сказал я.

— Давай! — охотно отозвался Витка.

Мы не могли сориться надолго...

4

Все проходит, прошло и лето. Я провел его нетопуно при тебе: ловили рыбу, продавали, бывали изредка у рыбаков на Голодае, привозили им водку, а иногда какой-то вонючий спирт, про который ты говорил, морщась:

— Зараза...

— А зачем пьют? — спрашивал я. — Помрут же! Ты смеялся:

— Ни черта не делается... У них желудки промолоченные.

Остроносый не показывался, но я знал, чей спирт пьют рыбаки, куда увозишь ты огромные серебряные рыбины. Знал, наверное, и дедко Некрасов, хотя и помалкивал. Лишь один раз сказал, когда тебя не было рядом:

— Сволочь сволочью стал Онисим. Опаскудился совсем с водкой да со спекуляцией...

И вдруг увидел меня. Дрогнула у него борода, нахмурились брови. Хотел сказать что-то, да только махнул рукой. И я ничего не сказал ни ему, ни тебе. Почему? Не знаю.

По-прежнему мы частенько выезжали с тобой на охоту. Ты купил мне однуствольную «Ижевку», всю осень я не расставался с ней, всегда возил с собой.

В воскресное октябрьское утро мы сидели на любимом Журавельце в скрадке, ждали пролета гусей. Холодный рассвет заползал на остров с хму-рой, шумящей волнами Двины. Полз медленно, будто по-настоящему никогда и не думал наступать.

Вот-вот должны потянуть гуси с Репного острова.

— Там он, гусь-то, весь там, прохвост, на ячменном поле. Самое время ему жрать колос, немало его после жатвы-то напало, — объяснял ты. Глаза у тебя хорошели, мне хотелось прижаться к тебе. Но от тебя пахло кислым табачком и перегаром (вечером ты с рыбакими опять пил водку), от запаха меня тошнило, хотя он уже не казался настолько противным, как раньше. Он только раздражал меня, щекотал ноздри и вызывал воспоминания о том, как я уже не один раз ловко обманывал тебя, мать и Тоню: допивал остатки водки из ваших стопок. Очень приятно! Голова после водки кружилась, тепло разливалось внутри, все вокруг казались хорошими и добрыми.

Сиверко таянул с понизовья Двины, ударял по скрадку резко, порывисто, холодил нам спины. Ты достал из сумки «маленькую».

— Br-р! Эх его, как октябрят. Ты не того... не озяб?

— Чутько.

— Жаль, мал ты еще. Славно бы обогрелся. Она, проклятая, куда как хороша бывает к месту-то.

Пока ты пил прямо из горлышка, я с завистью смотрел и думал о том времени, когда подросту настольно, что наступил мое законное право вот так греться, как ты сейчас.

Рассвет все же наступил наконец. Сиверко прошелся и по небу, разогнал тучи. Бледная голубень отразилась в притихшей воде. Вдали, у острова Голодая, оча блестела расплавленным стеклом.

— К ветру опять, — сказал ты. — Пошли ветра, не устоять выбоям, девятки все вышибут. А жалко: семужка валом повалит, ветер набивной, самый рыбный...

После маленькой зыск у тебя, как видно, развазлелся.

— Га-га-га! — раздалось внезапно.

Мы присели в скрадке, будто нас и не бывало. Меня сразу затрясло, гусиный близкий разговор током ударил по нервам. Шарик тоже поднял уши, прижался к моей ноге: он хорошо знал, что такое «га-га».

Но где же они? Я проследил за твоим взглядом и наконец увидел гусей. Цепочкой, стройно, они шли над самыми серебристыми барашками волн, прямо на гусиные профиля. Мы ставили профиля для приманки на песчаной косе, неподалеку от скрадка.

Гуси все ближе. Эти не отворачивают в сторону: серые, гуменички. Вот казарке — та обманет. Тянет так, будто вот-вот сядет на мышку. Ан, глядь: вильнула в сторону и ушла из-под выстрела. Но казарке на Двине появляется только веснами, осенью у нее другие пути пролета. А серые летят и осенью и всегда строго за передовым гусем, не выхлываются: птица солидная.

У меня затекла шея, неловно подвернулась нога. Но пошевелиться нельзя. Избаи бор! Раздастся тревожное «га-га», и вся стая поднимет гаалт, тогда поймешь ее как звали.

Вот они уже над каймой берега. «Га-га-га...» Огромные птицы летят тяжело, они уверены: ведь на песке тоже гуси — профиля. Наверное, тут споконно, можно присесть к компании, отдохнуть, напиться в речной заструже после ночной кормежки на репинских полях.

Гуси уже над профилями. И сразу тревожно га-гакнул один: почему ничего нет на серой равнине сырого песка?

Переполох страшный! Гуси заорали все разом, застопорили на одном месте, быстро-быстро машут

крыльями, свечкой поднимаются вверх. Они почти над нами — самое время стрелять.

— Бах! Ба-бах! — И далеко от скрадка падает... один. Почему только один? Неужели опять я...

— Мазило! — кричишь ты зротно. — Опять в кучу бил?

Да, да. Наверное, я промазал. Никак не могу привыкнуть: гусей-то много, но бить надо не в кучу, а в одного.

С отчаянием глажу на тонкую цепочку гусей в небе. Впервые при тебе грязно ругаюсь. Но ты вроде не слышишь. Ты сам в эту минуту ругаешься такими словами, что у меня от страха холодеет в животе. От страха не за себя — за Шарика. Он выскочил из скрадка и весело треплет на песке, среди профиля, убитого гуся. А на нас с другой стороны уже тянет новая стайка гуменичков. Если бы не Шарик, бить бы нам еще с гусем, а может быть, и с двумя. Определенно Шарик отпугнет гусей.

— Шарик, Шарик! — кричу я в страшной тоске, потому что вижу, как трясется у тебя руки: ты пишешь в казенник патроны, а сам глядишь на беззаботную собачонку.

— Не надо! Ой, не стреляй... Шарик, Шарик!

Я схватил тебя за руку, но ты оттолкнул меня и вскинул ружье...

Много лет прошло, отец, с того октябряского утра, а гибель Шарика и сейчас в глазах. Я не простил и никогда не прощу тебе этого. Правда, после мне ничего не стоило всадить заряд соли доброму соседскому псу, когда он погнался за нашей курицей; повесить kota, уже настолько остаревшего, что он не мог вскочить сам на пенку. Все это я проделывал хладнокровно. Но Шарик... Нет, Шарика мне всегда было жалко.

Я спрашиваю себя сейчас: кто виноват в том, что поступал ты так? И не могу найти ответа.

Позже узнал я о твоём прошлом. Ты был хорошим деревенским парнем, рос в работящей колхозной семье, семь лет проучился в той самой школе, где учились потом твои дети — Тоня и я. Хотел стать учителем и два года пребыл в педагогическом училище. Но почему-то неожиданно бросил, пошел в бригадыры к рыбакам. Что ж, разве есть в этом плохое?

Ты любил по-своему нас с Тоней, нашу мать, свою деревню, колхоз, работу...

И — война. Воевал, был ранен, немужден.

Ты был, наверное, таким, как многие люди. Только был...

Помнится, когда я совсем мал был, годов пяти-шести, и вечно мешал матери своими вопросами, почему да отчего, она с досадой говорила мне:

— Ну и надоедней ты парень, Левка! Вырастешь — узнаешь, почему.

— Я сейчас хочу, — не отставал я.

Тогда мать глядела на меня озабоченно. Говорила раздумчиво, как бы для себя:

— Экий ты скорый растешь... Трудно будет людям с тобой. Уметь ведь надо терпеть-то, а в тебе этого вовсе нету.— И заключала: — Отца пошел.

Вот и думаю теперь: неужели я в тебя пошел характером? Если так, то где же та граница, которая разделила нашу жизнь надвое!

Внезапно и тяжело заболела мать. Еще вечером она выглядела совсем здоровой. Когда ложилась спать, она сидела за починкой белья, устало вздыхала, но рука с игой птицей порхала над моей рубашкой, я смотрел из постели, засыпая, думал: «Вверх-вниз, вверх-вниз — как жаворонок над гнездом». А утром курянинская врачиха, та самая, что приходила ко мне, появилась олять в нашей избе. Тоня ушла на работу в слезах, а ты хмурился, ходил не ходил — слонялся из кухни в горницу — то к матери, то обратно. Курил непрерывно.

В нашей избе стало очень печально, когда мать увезли в больницу. Тоня сказала мне что-то непонятное:

— Ой, Олеша, беда... Кровь не останавят никак. — Откуда кровь, из носу? — спросил я.

Но Тоня только сморщилась, будто от боли, и махнула рукой. Видно, нос тут был ни при чем.

Теперь я только и думал о матери, больше ничего не шло в голову. Я представлял себе, как уходи почему-то из матери кровь, и замирал от жалости и страха. Два раза бегал в больницу, но к матери меня не впустили. А у тебя я боялся спросить: как только подходил к тебе, ты торопливо отворачивался.

Я не находил себе места.

Прошло три дня. Утром в декабрьской белесости неба над Курянской показался вертолет. Сотрагались крыши от грохота мотора. Он промчался над деревней и повис в воздухе против больницы. Метель под ним завихрилась снег, все скрылось из глаз. Наконец улеглось и утихло.

Я был в школе. Вместе с ребятами бросился к окну, всем было любопытно: зачем вертолет сел в нашей деревне? А у меня упало сердце: сразу подумалось, что между вертолетом и матерью есть какая-то связь.

В ту же минуту в дверь класса постучали, и Тоня, бледная, растерянная, показалась на пороге.

— Что, что? — испуганно уставилась на нее наша учительница.

— Нельзя ли Олешу ненадолгошко?

— Еще не получили согласия, я выскочил из-за парты, бросился к сестре.

Когда мы прибежали к больнице, мать уже вынесли на крыльцо. Ты суетился у вертолета. Куча народу толмачилась около него и гомонила свое. Я расслышал только, как наша соседка Струиха проворчала негромко, словно самой себе:

— Сказались на бедной кулачнице-то Онисима. Вот и разрешили раньше срока.

И вдруг за этими словами мне увидалось что-то от детства, когда я ходил еще в первый класс. Перед глазами встало матерно лицо с оплывшим синяком, твой, отец, льняной рот, разодранный руганью, твой тяжелый красный кулак... Он гвоздил все вокруг. Вспомнились слезы на Тонином лице, белеющем с печки... И все это сплилось сейчас в одно целое с носилками, с недвижимым телом на них, с бескровным лицом матери, с ее нестерпимо горящими глазами.

Она смотрела, словно игле меня, и шептала беззвучно — я понял — мое имя. И тогда еще понял: случилось то, что нельзя никак предотвратить. Я прижался к Тоне и заплакал.

— Не плачь-ко. Побереги слезы-те. Охти мне-шеньки, горюшка-то сколько!

Это вздыхала рядом та же Струиха. Я заплакал еще громче.

Из города мать привезли на автомашине уже в красном гробу. За рулем рядом с Тоней сидел Тимофей Струев. Он остановил машину у крыльца избы, выскочил из кабины и не успела Тоня оглянуться, перебежал на ее сторону, распахнул дверь, подал руку. Лицо у Тимофея при этом было виноватое и а то же время уверенное. Так глядел на меня, бывало, Шарик, когда ожидал наказания и знал, что я не буду его наказывать.

Мне досадно было сейчас глядеть на них. Тонины глаза теплелись печально и благодарно навстречу глазам Тимофея, будто в кузове не было гроба с матерью. Тимофей подхватил сестру под мышки и осторожно («Что она, упадет и рассыплется!») поставил ее на нижнюю ступеньку крыльца. Руки его задержались на Тониной талии, но она оглянулась на меня, нахмурилась и с досадой оттолкнула Тимофея. Мне показалось, что рассердился все же не на него, а на меня: не подвертывайся не ко времени!

Я стоял и думал: «А вы-то нашли время узакониться!»

Когда мать была жива, я не замечал, чтобы она выделялась чем-то из среды односельчан. И было поразительно видеть теперь на кладбище, как плакали не только жени и девчата — подружки ее, дочки, но слезы текли у всех провожающих. Еще более удивился, когда председатель колхоза Дмитрий Сергеевич Струев, всегда немножко насмешливый, худой человек в очках, стал говорить над гробом так, будто мать могла услышать его:

— Дорогая наша Анна Степановна! Много сделала ты для колхоза, можно сказать, благородным своим трудом. Особенно для животноводства. Мы низко кланяемся тебе (тут дочки ударились в голос, все засморкались, а ты, отец, заскулил как-то так, что мороз заходил у меня по спине). Да-а... Низко, значит, преклоняемся,— повторил Струев.— И никогда не забудем... Что говорить: ухастиста ты была, а мы иной раз и не замечали твое нездоровье. Бывало, и я... и я... (Тут Струев тоже всхлипнул, толпа ответила ему воем, но он быстро справился с волнением.) Я тоже, дорогая Анна Степановна, когда и несправедливо, бывало, шуми на тебя, Прости. Немало было вместе поработано...

На поминки пришла не только родня, но, кажется, вся Куряника. Тоня, Струиха и наша тетка из соседней деревни, с Погоста, совсем сблизил с ног, подавая еду на столы.

Наконец стали расходиться. Меня утомила суматоха, под ровный и тихий гомон людей тянуло ко сну. Я забрался на свое любимое место на печку, за трубу, и задремал. И чудилось: будто сидишь ты за бутылкой с рыбаками в кухне, а Егорий Па-

льч выгибается над столом в своем горностаеваем свитере... и будто его острый нос протянулся до самой пачки. У пачки же стоит Тоня, со страхом глядя на него и все повторяет быстро, но тихо: «Непропорционально это, непропорционально...»

Очнулся — и впрямь слышу тихий голос:

— Непропорционально судить, Дмитрий Сергеевич, — говорит Ванька Рыбный. — Разн мы спавшем Данила Власича? У него своя душа-мера. Мы тут ни при чем.

— Ты не шути, Иван Иванович, — упрямо возражал Струев. — Я слышу, недалеко у вас. Буылка, она никогда еще до добра не доводила. Преду-преждю!

Председатель ушел, а Ванька Рыбный (и по голо-су слышно — пьян) забормотал вслед:

— Пугаешь? Черта лысого ты знаешь что-нибудь! У нас, брат, все соответственно, комар носа не под-точит.

В избе уже никого не осталось. В горнице тоже было тихо. — Я слышу, недалеко у вас. Буылка, она никогда еще до добра не доводила. Преду-преждю! Только бренькала посуда: Тоня со Струухой и теткой убирали со столов.

Тут я вспомнил, что матери уже нету и никогда не будет, что Тоня уже не прочтает ей про Раскольниковца да про чеховскую степь, а мне больше никогда не услышать единственного голоса:

Ванька мялочник, злой разлучник.
Разлучил князя с жено-о-й!..

— Мама! — впервые со дня болезни позвал я ее. — Мамочка-а! — Но никто не откликнулся на этот призыв. Я беззвучно кричал, стиснув зубы так, что стало больно в скулах.

3

После смерти матери ты стал немного поласко-вее с нами. Дедка выпивал редко, но стал приходить поздно.

Мы с Тоней боялись спрашивать, где пропадешь и что делаешь. Сами тоже старались быть дома поменьше, а по вечерам уходили — Тоня и Струевым, я к Некрасовым.

Тоня вначале ухнула одна, потом вошло в привычку: у елки на берегу Курчаны появлялась высокая фигура. Свет из наших окон падал на нее. И по-моему, зря Тоня ждала условного свиста и открывала форточку: она еще до сигнала торчала у окна.

— Ослеша, уроки готовы? Нет? Ну тогда делай, а я сбегала ненадолгошко к Струевым, послумерничем.

Напрасно она лгала мне: я хорошо знал, кто свистит под елью. Я тоже не мог сидеть в пустой избе один. И на выпочках выходил вслед за сестрой, тихоноко прикрывал дверь, будто вместе с матерью из избы навсегда исчезли и Тонина при-ляска, и песни, и мой смех.

У Некрасовых тоже, казалось мне, что-то не ла-дилось. Дедка зимой уже не ловил подледную. «Ружки забнуть стали», — пояснил он. Все больше молчал, сидел на кухне, латал старые и вязал новые сети.

Иногда с ним приходил и садился работать с дедком на пару Димкин. Но и тот трезвый бывал

молчалив. Большой, ружастый, он ловко орудовал деревянной игой-«холлером» и время от времени ворчал, поиняя «холлеру». Я смотрел на него через сетку от порога, где мы обыкновенно сидели с Витькой Паромовым и Галинкой, играли в карты в дурака, и мне чудилось: огромный паук плетет в некрасовской кухне паутину, а дедко только сидит в паутине, не плетет ее, лишь старается разо-рвать, но сил у него уже нет. И, озердись, дедко хмуро глядит на непрошеного помощника.

Димкин появлялся здесь не для работы. Ему нуж-ден был Данила, и мы уже знали, зачем.

Данила приходил поздно. Работал он много. Уставал.

— Уже сидишь? — спрашивал он у Димкина.

— Уг-ум...

— Ждешь, поди?

— Уг-ум...

На том разговор и заканчивался. Сети убира-лись. Серафима — жена Данилы — подавала на стол уху, ломти соленой семги, кубляжки. Данила шел в чулан, появлялся пол-литра, и семья садилась ужина-ть.

Раньше — замечал я — дедко Некрасов ругал сына за пьянство и оставлял от себя стакан с водкой. Нынче же он покорно выпивал, а если наливали еще, он опять выпивал молча и с такой же покорной ми-ной. После трех черепушек, как называл стаканы Димка Димкин, дед совсем пьянел, забирался на по-лати, ворочался, стонал и кряхтел там.

Сам Данила пил много, но не хмелел, сидел задумчиво, слушал безудержную уже болтовню Дим-кина, которая и вся-то обычно состояла из жалоб и причитаний о том, как «холеры не дали групп», потому-де, что ранен он в непотребное место.

Серафима — крепкая, широколицая и такая же светло-русая, как муж, — ела вместе с ними, аппетит-но причмокивала, даже весело было на нее смот-реть. Но от водки отказывалась наотрез. Она изредка перекидывалась с мужем фразой, все больше по хозяйству. Некрасовы имели корову, Серафима ра-ботала в колхозе свиноварной, дела было немало. И потому, видно, ее мысли вертелись около скота.

— Сена бы надо прикупить, Дая. Замрет нынче корова-то, объедой одной, почитай что, кормлю.

— Ладно. Приценись ужо, ешь на Погосте у здо-вой Ахулины, — отвечает спокойно Данила, будто и не он выпил только что не бутылку целиком.

Или другое:

— Сегодня-то ты устал, поди-ко, Даня... А навоз бы надо выкинуть из хлева. В утрах хоть.

— Толканы меня пораньше. Долго ли мне выме-тать, не ахти сколько там навозишку-то.

Вот и весь разговор. Казалось, Серафиму сколько-но не волновали ежедневные разливы мужа и будто не раздражал его болтливый суботныйлик. Но однажды я услышал ее приглушенный голос из горенки, куда она ушла вслед за мужем после ужина:

— Дождешь ужо, Данила Власич... Не посмот-ро на срамотищу, разисуно твои художества народу прямо на собрании.

— Много ли я пью-то...

— Помолчи-ко лучше. На людей глаза не смею поднять. Побасенки ползут: «Колхозную рыбу про-пиваете». И дедка-то совсем сполни, бесстыдники!

Меня и Витьку Серафима тоже кормила ужином после того, как Димкин уходил. Покончила с водкой, он говорил:

— Спасибо за хлеб-соль. Произвели человека в высшее качество. Оно неплохо бы еще принять дозу

для лучшего засола внутренностей, да где ж ее те- перь... Поздно.— И добавлял, вопросительно уста- вясь на Серафиму:— Машка, холера, поди-но, не даст? (Машка Давыдова торговала в магазине сель- по.)

Уходя, он не забывал стрести со стола порожнюю посуду. Распихает ее по карманам и прискажет:

— Мало ли... Иногда копейки не хватает.

Серафима подливает нам в тарелки, а сама ходит по кухне, жалостливо поглядывая на то, как мы уби- раем хлеб за обе щеки, дуем на горячую аромат- ную семужью уху. Потом вздохнет и сядет супротив меня.

— Ешь, сирота, ешь... Ты-то ни в чем богу не ви- новат.

При упоминании бога я представлял святого схим- ника с медведем, но не мог понять, какая связь между мной и им существует для тетеньки Серафимы. Витка потом тоже спрашивал меня:

— К чему это она про бога-то?

Я пожимал плечами.

4

Аомой я старался приходить не поздно и не ра- но— так, чтобы не попадаться тебе лишней раз на глаза. Если ты был уже дома и трезвый лежал в кровати, то спрашивал:

— Лешка, Тоньку не видел?

— Не-е...

— Что ж она, шельма, не следитесь? Скоро уж са- мому посуду придется мыть.

Обед теперь готовила Тоня. Ты, как и при матери, приходил домой, уверенно откидывая печной засло- нок: еда всегда бывала на месте, горячая и вкусная. Посуду тоже мы с Тоней убирали, но ты нынче вор- чал уже больше по привычке.

Никто к нам теперь не заходил. И сам ты никогда не ходил ни в клуб, ни в кино. Все один да один, как та елка на берегу Курая. Видно, тебя не радовали ни Димкин, ни Рыбный, ни Егорий Палыч.

Я приходил и, само собой, молчал, не рассказывал ничего о Тониных встречах. А всегда бывало так: мы выходим с Виткой от Некрасовых, а сестра с Тимо- феем подходят к дому. Мы уже знаем: Тимофей ее провожает. Потом Тоня будет провожать Тимофея, не скоро разойдутся. Мы шмыгнем за угол, дождем- ся, когда пройдут,— и хodu по домам.

Однажды нам очень стыдно стало! Будто мы под- глядывали. Они очень долго простояли у калитки. У нас с Виткой ноги зашлись, такой холод взялся, уши пропадают совсем. Надо же додуматься: оба в лет- них кепочках! А Тоня с Тимофеем обнялись, будто их морозом сковало. Шепчут, шепчут что-то. Потом целоваться начали. Не будь это Тоня, мы бы с Вит- кой знали, чего делать. А тут терлим, ждем, когда они уйдут. Едва не заколели совсем. И показаться нельзя: стыдно же!

Не знаю, что ты думал о Тоне, когда спрашивал меня, почему она где-то пропадает по вечерам. Но потом я поневоле вспомнил это. Вскоре снова по- явился у нас Остроносый. И раз и другой. О чем вы говорили, мне не доводилось слышать: ты запретил забираться на печь, когда Егорий Палыч приходил к нам. Но только Остроносый стал нынче заговаривать с Тоней, а она терпеть его не могла. Бывало, как ты

за дверь, он шаст из кухни к нам в горницу. Тоня шлет на машинке или читает. Он подсядет к ней этак сбоку, ногу на ногу накинёт. Свитер у него теплей другой, какой-то особенный, цветастый да толстый. В нем Остроносый уже не ложок на горнотасы, даже сильным казался. Под носом у него повисли усики, такие противные, похоже— два червяка ползут по губе.

Вот и сидит он, выпивший, духами от него пахнет, даже мне слышно через всю комнату. И все разго- варивает так:

— Что это вы, Тонечка, за делами все... Посидели бы с нами. Мы с Онисимом Николаичем все ак- куратно, в норму... Я балычка привез. У нас на ком- бинате коптят его очень даже пропорционально. Вин- ца привез марочного специально для вас. Ваш папа ничего против не поимет.

— Я же сказала: не пью!

— Эт-то уж так: девушкам пить незнкетно. Это мы сознаем. Но за компанию-то с отцом! Марочни- го-то! Тонечка...

И под эти слова Остроносый брал Тонию за голый локоть. Она вскакивала, красная, пересаживалась на другое место, ко мне поближе. Я крхтел со злости, брызгал чернилами из-под пера по листу тетради. Остроносый напущался на меня.

— Задачи решаешь? А позволь спросить: даж- ды два—четыре, сколько будет соответственно!— кидал он мне глупые, обидные вопросы.

— Отстанете!

— Ай-я-я, какие все ученые стали! Разговаривать не ходят.

Но, слышав твои шаги в кухне, Остроносый спеш- ил туда.

5

-Вечно тебя сует, куда не положено,— это го- ворил ты мне не раз. И надо же было вновь подтвердиться твоим словам! За тру- бу я больше уже не лазил, зато нашел себе место на полатах, очень там удобно было спать на полушуб- ке. Так случилось и в этот раз. Мы с Галинкой к Вит- кой до упаду накачались на лыжах, и я спал на по- латах «забуитым сном», как говаривала, бывало, про меня мать, когда не могла растолкать к ужину.

В тот день я, конечно, не ждал Остроносого, тем более, что ты уехал в город и не собирался обер- нуться одним днем. Проснулся от громкого разгово- ра. За столом сидели вы с Остроносым, на столе пыхтел самовар, Тоня стояла в сторонке, у горки с посудой.

— Антонина! Подумай сперва, что говоришь,— сердился ты.— Не вечно же тебе на маслоделке спи- ну гнуть! Георгий Павлыч не кто-нибудь: мастер! Це- лый семужий цех на нем. Должность у него инже- нерная...

Тоня перекинула свою косищу на грудь, вцепилась в нее обеими руками, будто напрочь собралась ото- рвать. Она глядела на Остроносого, и мне никогда не забыть, как она глядела: казался, из очин горящих глаз было все ее лицо. Глядела и молчала.

До чего же красивая она, моя сестра! Остро- носый опустил глаза, но улыбался. Так улыбался, словно уверен был, что его возьмет, словно ему надоело уже упрашивать, когда и так давно решено все.

Тоня адруг сорвалась с места, схватила с полки ша- почку, с вешалки пальто. Это, видно, озлило тебя. Ты схватил ее за руку.



— Куда это, на ночь-то глядя?

Со спокойным удивлением она сказала:

— Папа, да он же старый совсем!

И рассмеялась неожиданно и громко, хотя — я видел — в глазах у нее блестели слезы.

Ты выпустил ее руку. Хлопнула дверь. «К Тимоше своему, наверно, понеслась», — подумал я и пораздовался. Но продолжал лежать на полатах и не шевелился, как умер. В кухне долго было тихо, потом ты сказал:

— Видал, что она говорит?

Остроносый не отвечал.

— Как теперь будем, Георгий Палыч, чего молчишь?

— Это тебе надо бы думать соответственно, — злым голосом заговорил Остроносый. — А дочка твоя шутит. Тридцать пять лет! Тут не в старости дело. Я советовал бы тебе подумать над этим.

— Что мне думать? Не в старое время: за подол — да в церковь...

Опять долгое молчание. У меня зачесался нос, я едва сдержался, но не чихнул. Остроносый заговорил снова:

— Ну, вот что, дорогой Онисим Николаич. Связал нас черт одной веревочкой... Я так не отступлюсь, я на все пойду. Ты как хочешь убеждай свою дочку, я еще пожду, только соотносительно не долго. Ежели она не пойдет — грехи наши подем!

— Ты мне погоди грозить, Георгий Палыч. У тебя грехов вроде побольше моего.

— Там видно будет. Я на все пойду, — повторил Остроносый еще раз и ушел в горницу. Ты отправился вслед за ним.

Я — не скрикнул и не стукнул — слез с полатей, накинул фуфайку, бесшумно вышел в сени. Постою там минуту, хотя лихорадка била меня, потом рванул дверь и, перешагнув порог, громко ею хлопнул.

— Кто там? — крикнул ты из горницы.

— Это я-а...

— Болтаетесь, черт вас!.. Уроки-то сделаны? Носит тебя до полуночи.

Помолчал. Немного спустя попросил уже спокойно, зевая (засыпал, видно):

— Лешка! Поди-ко глянь: не у Струевых ли Тонька?

Мне только того и надо было.

Глава шестая

1

Мать мне всегда вспоминалась одинаково: стоит у стола в кухне, на перевернутую столешницу просеивает муку. Раз просеет, два — и все ей мало. «Мама,— скажу,— хватит! Ты третий раз ее просеиваешь». «Помалкивай. Лешка, много ты понимаешь!» И снова за свое. Для чего, думаю, так старается? Пригляделся: после каждого просева сбрасывает с решета кучку отсеивков, а в них нет-нет да и чернеет зернышко пшеры: попадет в хлеб — горчить будет.

Вспомнится мне мать, а за нею пойдет жизнь, сквозь память, как сквозь сито, просеиваться. Сколько в ней было всякого! А представь, отец, все вспоминается с радостью, даже самое тяжелое позади кажется дорогим. Потому, видно, что мое оно, без него и мяча не было бы. Одно сладкое есть будущее — тоже опротивеет.

Никогда не вернется то время, никогда не придет мать, не покатишься на лыжах с Галинкой Некрасовой, с Виткой, с Тоней... Другие ребяташки порхают в снегу на горах за Ягодным бором.

Остаток той зимы, когда Остроносый сватал Тоню, прошел для меня в тревоге за нее. Вся Куряника заговорила о том, что Тоньку Королеву какой-то инженер засватывает. Само собой, начались ахи и охи по поводу того, что, дескать, «Тимоха-то Струев с носом, стал быт, останея». Многие девушки поглядывали на сестру с завистью, Тимофею Струеву из-за угла показывали нос. Были ведь и такие, что заневестились. Тимофей же только «на одну Тоньку зеники плял, вот и долипал до дела! Пусть, дескати, теперь локти кусает, гляди, как милая замуж за городского упорнел. Да и нам поклоняется, опозоренный-то!»

Все эти пересуды нелегко доставались Тоне и Тимофею. Частенько с гулянки сестра стала возвращаться в слезах. «Чего опять не поделили-то!» — спрашивал я по-взрослому. Но Тоня прятала глаза, расстроенно улыбалась:

— Эх, Олеша, ничего ты еще не понимаешь...

Мне было и жалко ее и обидно, что она считает меня маленьким. «Ничего не понимаешь...» Да я мог бы — только захотеть! — мог бы Остроносом всю морду разбить. Я сильный и похрабрей ее Тимофей: не может за Тоню поколотить Остроноского, жених!..

Остроносый не отступал. Как появится — подарок Тоне. То платок цветастый, то бусы из золотистых зернышек. Так они и лежали, подарки его, на комоду. Тоня на них и не смотрела, хотела вынести в чулан, но ты не разрешил, очень рассердился.

2

Новые разговоры поползли по Курянике о нашей семье. И не зря. В это же время зачистила к нам Машка Давыдова, та самая, что торговала в лавке сельпо. Ее круглая фигура бесшумно вкатывалась по вечерам в нашу избу. Лет около тридцати пяти — сорока, полная и румяная, она была действительно круглая: лицо круглое, плечи, груди, бедра, пухлые, с пережимами, руки. Даже глаза, нос и рот казались круглыми.

Я услышал ненароком у Некрасовых, Серафима говорила мужу: «Машка, небось, на место Анны метит. Вот уж парочка-то с Онисимом! Не приведи бог! — и относился к продавщице настороженно. Неужели она будет жить у нас заместо матери? Сказал об этом Тона. Она в ответ:

— Папа сам знает. Что ты все ползешь куда не просит!

«Вот глупая! Умная-умная, а глупая совсем. «Папа знает...» Вот выдест замуж за противного горностая, тогда узнишь! Видно, правильно говорит Димка Димкин: «У баб влодо долог, да ум короток».

Машка приходила к нам при тебе и без тебя. Сразу принималась бесшумно хлопотать около самовара. Ни Тоня, ни я не садились за стол. Это ее не обижало.

— Не хотится — как хотится, так давно уж говорит-ся, — кругло приговаривала она. — Только брюхо не виновато, что губа толста.

Она приносила с собой колбасу, масло, грибочки. Долго пила чай в полной тишине. Мы обычно молча сидели в горенке.

Понемногу привыкли к Машке Давыдовой. А Тоню она склонила и к разговорам. В такой втянет разговор, нескоро отмахнешься! То похвалит ее новую кофточку, заставит надеть «покрасоваться». Или станет Тониня платье рассматривать, примерять, прикидывать к своей фигуре перед зеркалом. Все хвалит, а сама, между прочим, не торопясь, рассказывает, как в девках, бывало, крутила с парнями, как к ней «зсылал сватовцев городской инженер один».

— Не пошла, дура, теперь зубом затылок достаю, а толку-то!

Курянички звали Машку «сводней» и «ночной забегаловкой», но я не понимал еще смысла этих прозвищ.

— Позарилась на красоту своего Пантелюшки, дура, а что в ней, в красоте-то? Шуб из нее не нашьешь. Мытарилась, мытарилась с его красотой... Ни одеть, ни обусть. Только по чужим бабам блудит. Сам коноштит, образованьишка никакого. Живен — ни в сноп, ни в горсть. Один нехватки да недостатки.

Она игриво смеялась, словно сыпалось что-то с нее и, чуть шура, катилось по полу.

— Посмотрю, бывалых, на ту ли бабу в платьях де в кофточках гарусных, не другу ли жену какого служащего в плюшах, в бархатах... Со своим-то и целоваться неохота. Ха-ха-ха! И смех и грех, и красота его на ум не пойдет.

Тоня смеялась вместе с Машкой, а та уже серьезно и сожалевое вздыхала:

— Теперь еще жалко инженера-то. Мало горя, так судьбе-злыдней добавила: Пантелея-то давно в живых нету, а мой-от суженой и сейчас жив-животом. Жена у его сухопарая, совсем как проволока — чтоб ее разорвало натрое! — живет за ним, как за каменной стеной крустется... На уме одни кинь да театры. Так по ним и шьет ежедень.

А раз неожиданно спросила:

— Ты сама, сказывают, за инженера выходишь?

— За инженера? За какого инженера? — удивилась Тоня.

Машка заворковала:

— А ты не гляди на его, что старовато выглядит... Постарше-то оно, знаешь, послаше. Эх, ты, вгада!

Машка совсем рстала от чего-то, как видно, очень милого ее сердцу, и даже прошлась перед Тоней, припопывая, с частушкой:

Мама была голником:

— Не гуляй со стариком!

Истрепала весь годин.
А мне нравится станц!

Вот как, девонька!

Тоня стала бледна и вся натянулась:

— Замолчи!

Но Машка вела дело до конца:

— Полно скрытничать-то! Что в том плохого? Все мы бабы, ими и останемся. Счастье привалило, так нечего креснет. Радоваться, девонька, радоваться надо... Вишь, ты сама-то как ноне выколосилась! До чего наливай да фартовая стала. Пора уж...

Такого Тоня не могла снести.

— Это ты, значит, натрепала поганым языком по деревне!

— Все говорят... При чем тут я, опомнись!

Все, что накопилось у Тони за время одинокого молчания и горя в связи со сватовством Остроносого, прорвалось теперь в досаде на Машку.

— Ты не в свахи ли набиваешься? Может, тебе деньги платят? Убирайся отсюда, дура круглая, каись вместе с женихом своим остроносим!

Так Тоня еще не ругивалась. Но Машка не выразила никакой досады.

— Я ни при чем, Тонечка: народ говорит. А раз говорит, зря не скажет. Видели инженера-то твоего, видели... И понравился всем, нечего хулить. Мы всем красивыми быть, а жить в достатке — это тебе тоже не баран чихнул!

Бес меня сунул на ту пору из кухни в горенку. Машка так и влилась в меня.

— Да вон Лешка не даст соврать.

— Лучше бы мне провалиться сквозь половицы!

— Повтори-ко, Лешенька, чего говорил у Некрасовых.

О сватовстве Остроносого под страшным секретом я рассказал только одной Галинке. Ох, уж и аздую же я ее, белобрысую!

— Ничего я не говорил...

— Вот тебе раз, Лешенька! Неужто Серафима врать станет?

— Не говорил, не говорил, не говорил...

Тоня молча смотрела на меня. Она же не знала, что мне было известно: я не рассказал ей про полата.

— Ну ладно, не говорил — и ладно. Чего психовать-то!

— Сама псих! Зачем ходишь к нам, кто тебя просят!

— Это тебе не касается, Лешенька.

— Вот тебе, вот тебе!

Я показал Машку язык и фигу и убежал из дому.

3

Ночью мне не спалось: укоризненный взгляд сестры, казалось, обжигал меня. Тихонько встал, на цыпочках прокрался к Тониной кровати. Она не спала, плакала. Едва прикоснулся к ее плечу:

— Тоня...

Мы долго лежали, не говоря ни слова. Я прижался к горячему боку сестры, она мохрой щекой терлась о мое лицо, не давала мне говорить. Я и сам было заплакал, но вспомнил нбеду Галинку, озлился себя нарочно и зашептал Тоне в ухо:

— Одной только Галинке говорил, ей-богу... Загряб ей задом. Она попомнит.

— Ты, значит, не спал тогда на полатах-то?

— Угу.

— Ну, ничего, ничего, Олеша... Иди к себе. Ничего,

— Хочешь, я Машке все стекла побью?

— Зачем это?

— Чтоб не ходила к нам, не злыдница.

— Ой, что ты, Олеша! Не надо. Хулиганство это, нельзя. Да она и не виновата, папа ее заставил... Галинку тоже не тронь («Ну, уж ее-то проучи!»), она не со зла пересказала маме твои слова.

— Я знаю: ты за Тимофея женишься.

— Откуда ты знаешь? Разве он тебе говорил?

— Я сам знаю. А папа хочет, чтобы тебя горнистый этот узаз.

— Лешка! Ты большой совсак! Только издо говорить не «за Тимофея женишься», а «за Тимофея замуж выйдешь».

Тоня уже успокоилась, гладила мое плечо и счастливо улыбалась. И я был счастлив. Но она задумалась, потом продолжала:

— Он противный, Егор Павлович. Папа он тоже не по сердцу, я знаю.

— И я знаю. Чего ж он тебя ему отдает?

— Со зла.

— На кого со зла?

— Струевым он элит эсо. Ты иди-ко к себе, Олеша. Не поймешь: мал ты все-таки...

— Не пойду! Расскажи, Тоня, расскажи...

Мне очень хотелось все знать о тебе, отец. Я и боялся тебя и жалел, и обидно мне бывало, когда на деревне про тебя говорили: «Живет — ваньку валляет. Одно браконьерство да пьянство на уме». Я же любил тебя: ты был герой, был на фронте, ранен... А встреча с рыбоохраной! А твоё бесстрашие в давнихких бурнах!

Но мне нравились и Струевы — курдавый Тимоша, его очкастый отец. Как он говорил тогда про мать на ее могиле! Интересно, за что ты не любишь Струевых?

— Тоня, расскажи хоть что-нибудь...

— Только не аздуай опять пересказывать кому!

— Дню честное пионерское!

— Ну, слушай. Все равно не усну теперь.

Вот что рассказала мне Тоня.

4

Когда папа приехал с фронта, мужиков в колхозе было полтора человека: только Данила Власыч с отцом своим, с дедом Некрасовым. Ну, папа молодой, хоть и раненый. Грамотный да офицер еще. А председателем колхоза в ту пору стояла Серафима, Данилова жена. В районе посудили-порядили и дали колхозникам папу в председатели. Тут и вышло все. В тот день, как собранию быть, Дмитрий Сергеевич Струев из госпитала приехал. До войны-то он председателем был. Когда Струев на собрание пришел, за папу уже проголосовали. Ну, колхозники обрадовались: «Давая первыборы!» Папа обидно: чем он хуже, мол, Дмитрия Сергеевича? Да разве сам скажешь об этом! Стыдно же! Выбрали Струева. Папу назначили бригадиром рыбацкой бригады. «Не хочун», — говорит. Да с собранием не много поспорить. «Через мне хочун», — кричат, — поработай!» А папа гордый. Стал работать кое-как. Нехорошо это, конечно! Ну, улывь, большие деньги, рыбы сколько хочешь... Дружки появились. Водка. Мама говорила: человек в один год изменился! Раньше веселый был, теперь, как боляной, ходит. Пил, пил... Сняли! Допился. А рыбак — каких поискать, все говорят. Поставили звеньевым на семгу. Еще хуже стал пить. Обсуждали, и ругали, и штрафовали, и все. Мама говорит: совсем тогда с нами измучилась.

У нее работа почти круглосуточная на скотном дворе, я мала, ты еще того меньше... Беда! Потом папу из рыбаков вовсе прогнали. На разные перевелки. И все это, мол, Струев. А мама говорила: сколько Дмитрий Сергеевич возился с папой! И упрашивал, и стыдил, и лечиться посылал. Только все напрасно.

— Почему же,—спросил я Тоню,—Струев стал председателем, а не папа? Папа сильнее Дмитрия Сергеевича...

— Я и говорила, что ничего не поймашь! Рассказывай тебе!

Мне и в самом деле, отец, было многое непонятно из ее рассказа. Зато ясней ясного стало, что тебя обидели. Из председателей выгнали, из бригадиров выгнали, отовсюду гонят... Тут запыш!

— Нет, я все понимаю,—упрямо сказал я.

— Понимаешь — и давай в свою постель. Ну, марш, марш!

— Нет, ты постой. Что на разных-то заработаешь? А папа — рыбак. Ты сама не понимаешь!

— И ладно, беги к себе. Спать хочешь!

Я уже сидел в постели и готов был доказать сестре ее неправоту, но, видно, наша возня разбудила тебя в другой комнате.

— Что?! Тонька, что там? — закричал ты спросонья.

Мы заморгли.

— Как что? А ничего,—ответила Тоня. Даже зевнула — хитрая! — будто тоже спросонья.

5

Дмитрий Сергеевич пришел к нам на Другой день к вечеру. Ты словно ждал его: тотчас же выслал нас с Тоней в горенку. Тоня, наверное, тоже ждала. Она посмотрела на Струева, покраснела так, что глаза заморки. И — может быть, мне показалось? — кивнула ему боковым, едва заметным.

Мы не слушали, о чем говорили вы со Струевым. Не до того. Тоня как шагнула за порог, так пала поперек кровати и залилась. Плачет, а крику нет: подушку в зубы взяла. Что тут скажешь? Ведь не за Остроносого ее сватать пришел Струев! И снова слезы. Не пойму: о чем?

Бубнили, бубнили в кухне. Наконец ты громко выкрикнул:

— Не бывать ей у вас в снохах! Не бывать!.

Снова забубнил что-то Струев, и снова крик:

— Не бывать, говорю!

— К счастью, в этом ты не волен, Онисим Николаич,—твердо выговорил Струев.

Тоня перестала плавать, прислушалась, приподняла от подушки голову. Я забоялся: ну как ты поднесешь к носу председателя свой кулак?... Заявят на тебя председатель, посадят. Надеяться на Тоню: может, она выбежит в кухню, разъяснит вам толком, за кого она: за тебя или за Струева. Но Тоня опять уронила голову.

А Струев досадливо продолжал:

— Жалко, парень служить будет, срок подошел. Да все равно! Видно, ждать нечего. Родной дочери ты враг, но мы ее не оставим, коли у отца сердца нет.

— Не взм рвать!

— Не изм с тобой, конечно... А у них решено. Что же делать, и без твоего согласия залишутся ребята. И пусть Тоня у нас живет, пока парень отслужится да вернется.

— Тонька-а!

Тихо у нас в горенке.

— Поди сюда, говорю!

Ты распахнул к нам дверь, я задрожал: мне показалось, что в твоей руке — как тогда — замигалась кручинка.

— Не смей! — закричал я и закрыл собой Тоню. — Не дерись,—добавил уже не так храбро (в твоей руке из ничего не было),—все равно она не пойдет за Остроносого!

Ты как оторопел:

— Что, чего? За какого Остроносого?

Я молчал и прижимался к Тоне. Ты постоял-постоял около нас, словно стремился и не мог понять, что происходит, потом взял меня за подбородок, еще раз раздумчиво спросил:

— За Остроносого, говоришь?

На кухне кашлянул Струев. Ты повесил голову, повернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

На другое утро ты никуда не пошел. После чая лег на кушетку, курил и смотрел в потолок. Я пришел из школы — ты все еще лежал. Пришла с работы Тоня — ты лежал и по-прежнему глядел в потолок. И не поднялся обедать. Мы ходили на цыпочках.

Пода вечер пошли на Курьяну за водой. Но уже не проказили, как бывало. Да и луна не купалась в проруби. Прорубь была черна и глядела на нас угрюмым глазом с мертвенно-белой реки.

— Тоня, ты не уйдешь к Струевым!

Она невесело улыбнулась.

— Олешка ты, Олешка... Как же мне оставить тебя, малюсенького?!

Я обиделся: вечно глупости! Как доказать ей, что со мной нельзя все время играть, как с ребенком?

— Сама маленькая! А я курю уже. Вот!

— Олешка, ты с ума сошел! Что ты говоришь?

— Ребят курят, и я... Мне четырнадцать скоро.

— Вот скажу папа, узнаешь, курьлицы!

— Говори. Я его не люблю, отца-то.

— Что?! — Тоня бросила веревку — тащила за нее санки, — подошла и смотрела в глаза так долго, что я отвернулся. Наконец твердо, но грустно сказала: — Нельзя тебе курить, Олеша. Не кури: рано. Не будешь?

Я промолчал. Тоня снова взялась за веревку.

Ты уже сидел за столом. На меня не обращал внимания, будто меня вовсе не существовало. А сразу к Тоне:

— Если уйдешь, мне тоже прикажешь жениться или как?

Она промолчала. Смотрела в синеву окошка, туда, где сквозь оголенные кусты палисадника ярко горело другое окно, соседней избы Струевых. Притихшая, усталая, она спросила непокорно:

— А за этого... своего уйдешь, он что: у нас будет жить? Или все вместе в город переждем?

Довольный, что вы так мирно разговариваете, я шмыгнул на полатки. Тоня подошла к тебе, села рядом.

— Я приходять буду. Постирать там, сготовить... Рядом веди.

— Та-ак... Может быть, отобедать когда позовешь? Стало тихо-тихо.

— Нет уж, спасибо на угощении, Антонина Онисимовна! Или оставься, у нас жди Тимошку своего, или...

Ты сорвался с лавки, торопливо стал одеваться, точно от безделья устал за день. Пошел к двери, но от порога вернулся к столу, положил на него тяжелую руку. Глядел на них, словно им явились:

— Антонина... Добра тебе хочу, только добра. А мне, видно, никто не хочет.

Тоня смотрела в окно, молчала. Не дождавись ответа, ты медленно вышел. Она прозодила тебя блестящими глазами.

Под окном заскрипел снег. Это на тропке в сторону Машки Давыдовой. Мы знали, как часто ты стал бывать у нее.

Глава седьмая

1

Как ни медленно идут годы у мальчишек, но и они проходят. Восемилетку я окончил, когда мне было уже семнадцать: год пропустил из-за болезни, два года просидел лишних — в ятмах и в шестом классе.

Тебе память важна со мной. Вечные жалобы учителей, вызовы в школу. Правда, ты в школе ни разу не бывал, ограничивался — походя — затрещинами мне или крепким словом. Я окончательно «околотился», по определению все того же Димки Димкина, и, кроме как «Мазурик», теперь на деревне мне не было имени. Все, как видно, махнули на меня рукой, как когда-то махнули на тебя в правлении колхоза.

Ты по-прежнему в колхозе работал спустя рукава — лишь бы минимум выработать! Да и его выработывал не всегда. Но нам хватало. Картошку и овощи кое-как выращивали на приусадебном участке. Деньги на хлеб, на табак и на водку у нас были всегда: я стал теперь твоим надежным помощником по браконьерству. Рыбоохрана не очень охотно преследовала нас. При встрече с ней обычно улик незаконной добычи стерляди или семги у нас не оказывалось: работали «чисто». Колхозные рыбаки тоже смотрели на наше занятие сквозь пальцы: «Не ахти что наловят... Двина-матушка не обеднеет оттого. Да и связываться-то с Королевым, а особенно с его Мазуриком, не того... Свяжись — не скоро развяжешься».

Правда, за эти годы тебя три раза все же вызывали в Холмоовск, в суд, за браконьерство. Но, возвращаясь оттуда, ты только посмеивался:

— Опять штраф преподнесли. Ох и головы! Будто кедровке им, откуда у меня деньги на штрафы берутся.

И Димкину с Рыбным тоже все легко сходило с рук. На дальних рыбачьих станах колхозное начальство появлялось нечасто, а если Струев собирался туда съездить, так это сразу становилось известным: мы следили за всем, что могло нам повредить, а катерок нам служил безотказно.

Безнаказанность делала нас начальными, уже казалось: никто нам не указ! Я стал своим человеком при сделках с Остроносным, с постоянными членами общества «Рыба — водка» — как издевательски именовали их Остроносый, — с Димкиным и Рыбным. Звеньевой на Голодаевском выбое старший богатырь дедко Некрасов дрожал за сына, дрожал за вечною

похмелья — он уже не мог дня прожить без водки — и «не замечал» махинаций с уловом: все больше и больше семги уходило «налево».

— Не тот уж мне ход у семужки, — притворно выдыхал Ванька Рыбный и кривил толстые губы, угрюмая «сучком» — древесным спиртом — Данилу Некрасова.

— А у Василья на Кривом полове почему-то хорошо идет, — подозрительно смотрел на него Данила и, зажав нос (он не переносил запаха), пропирондывал в рот вонючую жидкость.

— Скажи на милость! — удивлялся Рыбный. — А наш выбой как заколодило, видать, стороной обходит.

Он явно старается увести Данилу от опасного разговора, балагурит совсем не к месту, непонятно к чему, вроде без смысла, но очень складно.

— Да, рыба хитра стала, хвостом в морду нахвостала. И то сказать, Данила Власич, какая мне жизнь подошла — смеху подобно! Хотя в нашем колхозе. Вот послушай, я тебе переведу соответственно, как Матрена Кривая с Погоста на днях в магазине распилала перед всем народом.

Ванька Рыбный нарочито пригорюнился, подпер круглую щеку рукой и зачестил старушечьим сорочьим строгачником:

— Ой, бабоньки! Что его за жизнь ноне! Семьишша большашша, все дорогашше, а коровенка-то одна: хоть титынь ей оторви — ни лешего не доит. А то нать, друго нать, а день-то не ахти какой, не што и неделашь. Вот ишо беда-то бедущий! Провались ты, лешак, со всей и сметаной: что неделя, то ушат...

Все знают, что столатняя Матрена Кривая давно не выходит из избы, и вся эта скороговорка — плод Ванькиного творчества, но играет он воображаемую старуху с таким мастерством, что даже мрачный Димка Димкин крутит головой, задыхаясь от смеха:

— Холера ты возьми, пересмешинок окаянных! Данила тоже смеется. Но во рту у него все опоганено, отвратительным «сучком» выворачивает внутренности. Видно, что ему не до смеха.

Данила вяло жует соленую семгу, говорит уже с досадой:

— Что вы меня все «сучком» травите? Водки, что ли, нельзя достать? С души воротит, проклятая девчешка!

— Сами употребляем ее и очень даже пропорционально, — ухмыляется Рыбный, — а главное, дешево. Все это Ванька Рыбный говорит явно потому, отец, что я сижу у костра. Передает, мол, пусть Королев разжевывает. Но мне решительно наплевать на все. Жил я приulously. Формально числился разнорабочим в сельпо, возил продукты в магазин к Машке Давыдовой. Времени свободного хоть отбавляй, а если бывал занят с тобой, Машка охотно подменяла — сама подвозила товар. Она же и обстригала нас, хотя ты по-прежнему жил у нее «находом».

Тоня вышла за Тимофея и перебралась к Струевым. «Отрезанный ломоть», — говорил ты после ее ухода.

Я теперь часто бывал на Голодае, и нередко с водкой. Ты почти перестал ездить к рыбакам, а Остроносый совсем уже не показывался и в Курзинке. Видно, вы боялись и ненавидели друг друга. Один раз я слышал такой разговор:

— Есть большой спрос. Что ты можешь предложить? — спросил Остроносый.

— И так хожу по самому лезвию, — ответил ты.

— Соображать надо. Доставай без разговоров!

— Больше, чем сейчас, не могу. Остронос.

— Мазурику поручи, учить тебя...

— Сам ты мазурик! — рассвирепел ты неожиданно для меня. — Связался я со сволочью!

Егорий Павлык, как волк, оскалился из-под своего вислого носа.

— Осторожной сволочис, промахнись!

— Да уж не промахнулся бы...

— Было раз, аль забыл!

Вы долго не глядели друг на дружку и насто-роженно молчали.

— Ладно, я добрый,— криво усмехнулся наконец Остроносый.— Кто старое помянет... А знаешь, как бы с тобой надо! Соответствен-н-о-о!— Он рубанул сухой ручкой, отсекая что-то.— Ну, да черт с тобой! Себе дорожно.

ник примерный и летние кенкикулы на полях с трактористами работает. И работай, а нос начепо задирать: кто я! Непьющий, негулящий... Струва в лекции его как примерного разрисовал. Ну и пусть. А мое дело другое, мне на Голодай поря.

3

Голодай-остров лежит на середине Северной Двины. Доступен всем ветрам. Завает ли северно — бьет по острову волной через отмели на перекатах, нагонит с Белого моря, подымет воду иногда до двух метров, до самых вершинок свай семужье-го выбоа. Тогда не суйся к ним, рыбаки! Нет у него силы спорить одновременно с северком и с рекой.

Или заплачет юго-запад. Рыбаки его шалонником зовут. Вроде и не силан плакса, а тоже бьет по Голодаю волной, пока дождя не нагонит. Кидается волна в берег, рвет его, как собака мясо, с шумом падают в воду куски супеси вместе с новыми кустами, а мелкие волнишки подбегут и залижут раны короткими языками.

Любо рыбацкому сердцу, когда подник повеет. Этот летит с верховьев Двины. Мягкий, ласковый ветерок. Шепчет что-то реке, а она и уши расвесила, шутят рыбаки: слушает, дремлет. В тот час на острове диву даешься, сколько птах появится. Особенно летом, как сейчас вот, в середине июля. Это птенцы на крыло подыались, гнездовые покинули, а живут пока семьями. Ну и щебечут на разные голоса.

Любо, тепло. А северный ветер все же любит рыбаку по другой причине: рыбу с моря к устью жмат, в верховья ее гонят. Потому-то рыбах и сетует, когда и тепло, а рыбы нет как нет, да и снасть и сети пропадают, в теплой воде гниют. Потому и глядит он с надеждой на север.

Я пришел катерком на Голодай на рассвете, водку привез.

Белая ночь, чуть тронутая первой сумеречностью (дни пошли на убыль), только кончалась. Но дедко Некрасов уже наварил ухи из нельмы с семужьей головой. Мы ложиваем у костра и разглагольствуем за чарочкой. Вернее, разглагольствуем один я, дедко больше молчит. С тех пор, как я вытянулся в тонкого, крепкого парня и над губой у меня затемнели еще радкие пока волосики, дедко относится ко мне без прежней суровой ласковости.

Мы льем уже не по первой, голова у меня немного затуманилась. Я благодушно поглядываю на полый, наутренний пар за мной, исчезающий над росными с ночи лугами, и плету что-то про свою удачу: будто поймал огромную стерлядь. Дедко молча подливает себе из поллитровки, кивает, но я знаю, что он не верит мне. И правильно не верит: врать и хвалить у меня вошло в привычку, а выпью — ударжу нет, язык сам собой выговаривает то, чего и не было, но хочется, чтоб было.

— И чего не едут! — который раз спрашивает дедко. Он с трепетной вглядывается за Двину, где в Белом рассвете четко вырисовывалась старинная церковь Курянихи.

— Придут,— небрежно кидано я, подливая в свой стакан. У рыбаков уж такой порядок: пьют только стаканами.

— Ты не видишь, гультай, что на Двина-то! «Приедут...» Возьми глаза-то в зубы: скоро низовой вдарит. Вот тогда и при-а-д-уч-т!

2

Тимофей вернулся из армии и вскоре уехал на учебу, в школу председателя колхоза. Тоня тоже жила в городе, училась на курсах сыровара-ров. Их маленький Димка рос под присмотром бабки Струйки.

Теперь я вполне разделал, отец, твою неприязнь к Струевым. Что они взломали, на самом деле! Поведение наше не нравилось! Подумаешь, законодателя каки!

Как-то Дмитрий Сергеевич читал лекцию в клубе о моральном облике колхозника. Я, конечно, не слушал, но мне передали кое-что. И, между прочим, вот как говорил о нас председатель: «Приходится сожалеть... Проглядели мы, проморгали хорошего человека. Не астряли вовремя. В соседях да и в родстве со мной Королев-то. Пришел с фронта бойцом; теперь хоть исключай из колхозу... В зазубринки к госу-дарству приписался, на легкую жизнь потянул! Онисима Николаича. Туехдям уж народ зовут (сам же тогда впервые и обозвал нас председатель). И парня туда же вложат. Соляк ведь вовсе, а что ни варч — пьян! Другого и прозвища не стало ему, как «Мазуриха».

Ладно, «сопляка» я ему припомню! Это Галинка мне передала да еще от себя добавила:

— Пара человеком быть, Леша.

— А я не человек? Работую, кто же мне выпить запретит!

— То-то водкой и разит. В клубе на тебя все пальцами показывают.

— Помнешь бы смотрала.

Галинка такая стала... Обращается со мной, будто я для нее родня, кто ли! Везде сверлит своими глазами. Не нравится, видишь, ей, как пахнет! И кахтис колесом, танцует от меня с Виткой Паровозым. Он культурный, десять классов кончил, как и ты...

Правда, этого я Галинке не высказал, жалко все-таки, обидится. Хоть и недоождая она, а девка неплохая. Только пусть не думает, будто я расопливался оттого, что она вздыхает да глазами стрелять стала. И Витка нынче совсем задавала сделала: учиться тебе, мол, надо, Алешка. Без него не знают, надо или не надо. А сам около Галинки увязается. Ходит отужоженный, с книжечками... Галка то, Галка это...

Я, конечно, ничего не имею, движется с ней, танцуйте. Но оставьте меня в покое с вашими советами. Хотите учиться — учитесь, а мнд и так хорошо, а и в работагах проживу. На рыбалке да на охоте неважно, восемь ли, десять ли классов у тебя.

После лекции Струева Витка совсем нос поднял: про него не скажут «Мазурику. Как же! Он и уче-

Дедко часто зовет меня «гультаем», но мне это даже приятно. «Мазури» — грубо, а в «гультае» слышится что-то от разгула, гульбы, удали. Всплывает картина в нашей кухне: «Стенька Разин». Вот был гультай так гультай! Носился по Волге, топил персидских княжон (вывозу уже Галинку, полугаю), не было над ним ни отца, ни дедка, ни председателя колхоза.

Дедку лишь бы ворчать, остарел совсем. Стал похож нынче на святого схимника на иконе.

Помнишь, отец, я как-то хотел снять эти закопченные дощечки? «При матери были... Пусть стоят, мешают они тебе?!» — вот как ты ответил мне. Даже радостно стало, что о матери ты вспомнил тепло так. А иконы — чепуха, конечно. Мать на бабушку ссылаясь, говорила: «Пусть стоят, не мешают. При бабушке стояли».

4



А дедко все смотрел в низовья реки. Ветер дул пока с северо-запада, на волнах вскипали гребешки, а дали внизу ослепительно блестя, точно там не было ни мильейшего ветерка.

— Вечером так же Двина играла!

Дедко сокрушено качнул головой:

— То и беда... Вечеру еще высветлило. Быть низовому, а то и торока ждать надо. Рыжи не смотришь. Ну, как затянется сиверко — погибель семге... Сейчас ведь маломорок, ровняк идет. Побьет его, в брос будет только гом, кому он нужен без чешуи-то...

Он помолчал, налил водки, подержал стакан и, не выпив, поставил его. Забывшись, понюхал по привычке корочку хлеба, поднялся:

— Нажрались, видно, вчера до отвороту и дрыхнут. Им что! С них какой спрос? А Данину без ножа зарежут...

Я — пьяненький — засмеялся:

— Схимник ты, дедко... Шептун старый!

Пьяный смех разобрал меня. Дедко рассердился не на шутку:

— Ну чего, чего ржешь, пустоголовый?

— Сам-то что пил сейчас, воду? А рыбаков ружьешь!

— Дурак! Что с тебя взять? Весь в отца-бабушку. От радости, поди-но, пью-то... Я ее, проклятую, в рот не брал до восьмого десятка. А спутался не с людьми-то — хватил горюшка.

Он тяжело вздохнул. Белые, как пух лебедя, пучочки волос за ушами пошевеливал ветер, снова напоминая мне схимника и серебристый венчик вокруг его головы. Наконец дедко встал, отшагнул от костра в сторону, широко, циркулем расставил ноги и, уперевав кулаки в бока, долго смотрел на реку.

О чем он думал? Все, наверно, о том же: надо трасти рыжи, а ветер крепчает, Двина ревет. Громкие бурные волны — цель за целью — идут, словно в атаку, на островок. Песчаный клин косы уже сырится под водой. Волны с шумом катятся по отмели, подбегают к самым ногам старика, обдают его брызгами. Черная, с рваными лиловатыми краями туча опустилась низко, идет на островок, сливаясь с волнами. Вот и берега пропали.

— Ахти мне! — словно вскрикнул старик. Прикрыл ладонью глаза, снова с надеждой посмотрел в сторону Курянкин. — Нет, видно, не жди от них помощи!

— Да брось ты охать! Приедут, никуда твоя рыбка не денется. А побьет ее — в ухе места хватит, — сказал я, засыпая. Водка, горячая еда свалили меня. Я ткнулся головой в куст и захарпел.

Долго ли спал? Помнится, дедко Некрасов будил меня, тряс за плечо, говорил: «Да очнись ты, не погибать же улоу!» — но я не в силах был поднять пьяную голову.

Очнулся от сильного толчка в бок. Раскрыл глаза — ничего не пойму: рядом сидит Димка Димкин, ругает меня «холерой» во всю свою глотку. А Рыбиный, весь мокрый, выливает из резинового сапога воду.

— Встнешь, нет, саганета тебя возьми! Не можешь дождаться: налкался, вот и проспал, холера, старик-то!

Наконец до меня дошло, где я нахожусь, я стал искать глазами дедка Некрасова, но его на берегу не оказалось.

— Вон он, смотри, качается в карбесе у выбоа! Лежит в ем почему-то. Чего-то стряслось с им, — прыгая в одном сапоге около костра и отжимая портянку, выкрикивал Ванька Рыбиный. — Мы хотели было поддохать, да разве мыслимо по такой волне: захлестнуло враз... Едва-едва до берега доскреблись.

Я посмотрел туда, где должен был стоять выбой, но вначале ничего не увидел. Весь полной ходил ходило, в огромных валах пропадали сваи. Одиноко чернел карбас, то взлетая, то ныряя в пучину, посреди ошалевшей реки,

5

Я и сейчас вижу, отец, те последние минуты Власа Некрасова. Через годы, через свою жизнь смотрю назад, и мне не надо рассказывать, как все случилось там, на Голодое. Страшная вина лежит на мне. И знаю: будет мучить меня до смертного часа.

Вот как это было. Пьяный шалопай лежит, храпит в заветерье у костра. А старый рыбак, словно наяву, видит, как семга идет в рюжи. Волна ломает снам, треплет ловушки, рыба бьется о сети, трется одна о другую, терлет серебро — чешую, терлет качество. Старик не может больше видеть этого. Надевает бродни и идет к карбасам, думает: «Надо спасти улов». Упрямо пробивает ветер содой головой, бредет по отмели к карбасам. Они стоят на якорях, чтоб не билась о берег. Подтягивает один к себе длинным багром. Волны бросают на старого, хотят свалить. Хохохнут, не верят в дедову силу. Но старик теперь сам не замечает их. Молодо прыгает в карбас, толкает его багром, выходит в реку против волны. Потом садится в весла. Волны кидают карбас назад, но дед упрямо: все ближе и ближе выбой. Вот и рюжа. Старик изловчился, цепью привязал карбас к свае. Достал багром обруч рюжи, ухватился за него, напружился из последних сил, потянул на себя. Карбас накренился, волна подкинула его, как пустой бочонок; обруч вырвался, старик вскинул руками, упал на спину, ударился головой об уключину. Карбас выровнялся и замотался на цепи, как жеребенок, впервые приезженный к конюези.

Вот и все. Когда мы добрались наконец до выбоя, карбас дедка Некрасова был ровнень с бортами залит водой. Старик плавал в ней. Он остался в карбасе лишь потому, что хлястик плаща нацепился на уключину и удержал тело, волна не смогла выкинуть его. Сразу ли убился рыбак, когда ударился затылком, или захлебнулся без памяти — кто знает. Я только знаю одно, отец: знаю, что виноват во всей этой истории.

Глава восьмая

1

Не помню, как мы добрались до Курянки. Дзинна расходилась воем. Ведь наш катерок, отец, едва поднимает трюх, а тут вынес четверых. Димка Димкин и Ванька Рыбный всю дорогу ведром отливали воду и с тоскливой надеждой поглядывали на меня: сумею ли, мол, справиться, руль-то у меня в руках. Но вот наконец мы в тихой заводи на Куряне. Через полчаса тело старого рыбака уже лежало в курянской больнице.

С похмелья я совсем одурел. Со страхом глядел деду в лицо, и жалость к нему овладевала мной все больше и больше. Вышел на крыльцо больницы, но

заменяя ничего вокруг: ни того, что стою один — рыбаки уже ушли, — ни того, долго ли стою. Время тоже как бы стояло в стороне, предавая меня самому себе. В голове сумятица. Обрывки мысли: «Жил-жил дедко Некрасов — и нет его. Снесут на погосте. Как на погосте? Он и так всю жизнь прожил на Погосте! К чему деревням давать такие названия?»

Как во сне, шел домой, ни разу не вспомнил о тебе. И только на крыльце пришло в голову, что ты тоже один дома. Всю неделю тебе нездоровилось, но ты не казался мне больным, все лежал на кушетке, курил непрерывно и думал о чем-то.

Тихо взошел на крыльцо, открыл дверь в кухню и вздрогнул от неожиданности: навстречу из горницы вышла девушка, до того напоямившая мне Тоню, что я чуть не вскрикнул от радости. Но я знал: Тони сейчас нет и не может быть в Курянке.

— Вы как будто испугались? — спросила девушка весело.

Тут я окончательно понял, что это не сестра. Даже при беглом взгляде теперь было видно, как далека девушка от сродства с Тоней. На меня смотрели большие серые глаза. В них дрожали веселые коричневые искорки. Ресницы — темные, длинные — тоже чуточку дрожали. Казалось, смех вот-вот брызнет в меня из этих глаз, посыплет с этих чуточку припухлых губ. А волосы! — не Тонина, в руку, ланная коса, а легкая, «дымная» — подумалось мне в ту минуту — прическа.

Девушка, видно, удивилась моему молчанию, пожалала плечами и, не дожидаясь ответа, вышла.

— Кто там? — спросил ты из горницы. Но уже по тону голоса было понятно, что ты знаешь, кто пришел. В свою очередь, я спросил, кивнув на двери: — Это кто?

— Это? Сестра с эпидстанции, что ли... Не практик, новенькая. Ходит по дворам с осмотром. Веселая-аа. Нельзя, говорит, помон у крыльца леть. Штраф, говорит, возму.

Ты посмотрел мне в лицо и поразился: — Что с тобой, Лешка?

Словно чужой кто-то, а не я ответил тебе:

— Дедко Некрасов утонул.

— Что?! Когда?

— Сегодня утром. Буря была, повехал рюжи тряс-ти, упал, голову ушнб, что ли... В карбасе и захлебнулся.

— А рыбаки где были?

— Я и говорю: буря была... Не попали на выбой с утра-то.

— А ты?

— Что я?! Спал я, вот что!

— Чего на отца-то орешь?

— Не ору, аа... Не буду я больше водку возить!

— Пьяный он был, дедко?

— Маленько вроде был.

— Где он сейчас?

— В больницу привезли. Там лежит теперь.

Ты тяжело задыхался, торопливо оделся. Мне не надо было спрашивать, куда ты спешить: водка, семга, Остроносый — вот вся твоя жизнь, вот что волновало тебя, а не смерть дедка Некрасова. Как я и подумал, ты побжал к Ваньке Рыбному. На ходу спросил: — Водку-то хоть сумели спрятать?

— У рыбаков спрашивай. Мне что...

С тем мы и расстались. И разве думал я, что расстанемся не на час, не на день и даже не на один год!



2

Краска постепенно исчезала с Галинкиных щек. Она словно просыпалась. Наконец сказала:

— Дедушка-то, Леша... Как он! Рассказал бы ты...

Понятно: умица, все повернула на дедушку. Я вздохнул свободнее. Стал рассказывать сначала неохотно, увлекся и подробно описал, как погиб ее дед. Старался всячески приукрашивать его героизм. Обрисовал и себя в наилучшем виде: мол, я уговаривал деда, не пускал его к реке, но лишь отвернулся на время — он бросился в карбас да и помчался к выбою. Про мой пьяный сон не было сказано ни слова.

Глаза Галинки так и сияли: она была горда, она верила мне. И вдруг с тревогой спросила:

— Леша, тебя не вызывали в милицию?

— Это еще зачем?

— Рыбаков-то уже вызвали. Прямо в Холмовск.

Мне передалась ее тревога. Но вот что странно: возможность вызова в милицию, допросы, обвинения — все это как-то связалось в моей голове в одно неразрывное с недавней встречей. «Вы как будто испугались?» — звучал в моих ушах веселый голос, а передо мной сияли серые глаза, и в них дрожали коричневые искорки. Галинкин же голос звучал где-то далеко-далеко.

— Ты не бойся... Тебе нечего бояться, Лешенька. Вызовут, ты так и расскажешь, как мне сейчас рассказывал, — ворковала

она, опять прижимаясь ко мне.

Я снова снял ее руки со своих плеч.

— Не надо больше, Галинка...

Она вдруг сникла, опустила руки, отошла и, захлебываясь, зачистила, не поднимая на меня глаз:

— Ты... ты злой! Нехороший. Ты мне... меня не...

Она не договорила, выбежала вон, и слышно было, как ударила дверь на крыльце, стгремели ступеньки. «Вот плакса! Прибежала, нарвелась, выпендилась в меня как сумасшедшая и убижала. «Нехороший... злой». Сама-то хорошая».

Долго и бездумно сидел я у окна. Надоело. Вышел на крыльцо и здесь лицом к лицу столкнулся с председателем колхоза.

3

Сухонкий, усатый, в больших роговых очках, Струев для всех в колхозе был «Сергеичем». Да и не только в колхозе: я слышал не раз, как приезжие из района руководители спрашивали колхозников: «Сергеич-то дома?» — и тепло улыбались. Тоня тоже говорила о нем: «Справедливый человек». И мне вспомнились при этом похороны матери. Но приходили раздумья: был бы справедливым, не занял бы твое место, отец, не стал бы обзывать меня сопляком при всем народе. Какое ему дело до моей

жизни? Вот на днях только встретился мне и, как ничего не знает, спрашивает:

— Почему не заходишь, Алексей?

Было бы он сопливом меня обзвал. Я промолчал на его приглашение. Так он и тогда не отвязался:

— И Тоня просила в письме сказать тебе, чтоб не чурался нас.

Вот нашел чем поддразнить! Тоня ушла от нас, а теперь чтобы и я за ней же... Спасибо!

Я все еще мечтал отплатить председателю за обидное прозвище. Пусть бы назвал дураком или хулиганом — и то лучше.

— Куда это, Алексей? Здравствуй! — сказал Струев, загоразживая дорогу.

— Здравствуй, Никуда.

Он смотрел на меня как-то странно, словно на больного.

— Присядем хоть на крыльцо, коли в избу не приглашаешь. — И сел на нижнюю ступеньку. Я все стоял.

— Да садись, садись. Дело у меня к тебе.

У председателя колхоза до меня дело! Что ж, садом. Если начнет про дедкину гибель расспрашивать, арг будет только душу мотать. Гигиризовать начнет в колхоз на работу? Пустой номер...

Струев для чего-то снял очки, старательно протер стекла бархаткой (он всегда носил эту бархатку в футляре от очков же), спросил:

— Отец-то давно ушел из дому?

— Давно уже.

— Ничего не сказал тебе?

— Может, и сказал... Не упоминай всего.

И опять молчим минуту, другую. Долго молчим. Наверное, председатель сейчас заговорит о том, как бесполезно мы с тобой транжирим время, отец, и не пора ли нам... Ну, и прочее. Не впервой. Скажу зеленая! Тут и так тошно, без дурацких молебнов. И дело:

— Арестовали отца-то, Алексей.

Если бы он внезапно ударил меня, удивил бы не меньше.

— Ка... Как, почему арестовали?!

— Тебе, думаю, больше известно. У тебя узнать пришел.

«Рыбаков вызвали в милицию... Дедко Некрасов погиб. Отца посадили. Все резом!»

— Я... ничего не знаю, совсем ничего...

— Да ты не расстраивайся очень. Все выяснят. Сиди, сиди...

Но я вскочил, хотел бежать. Куда? Все равно надо что-то делать.

Струев неожиданно сильной рукой удержал меня, снова усадил рядом с собой. Достал папиросы.

— Кури.

Я машинально взял папироску, закурил, но тут же бросил. Струев сочувственно покачал головой.

— За что арестовали, не знаешь, Алексей?

Я молча пожал плечами.

— Прошляпили человека, Лешка. Натворили делов. Всегда так: гром не загремит — мужик не пережестится. Вот как у нас еще частенько бывает. Обидно!

Он говорил так, точно я должен хорошо знать, каких делов и кто именно натворил. Я подумал, что Струев все знает. Помню волю вырвалось:

— И водку нашли?

— Какую водку? А... водку. Да, нашли, Алексей. Все нашли. Но ты очень-то не того, не весь головы.

Я понял, что Струев не знал, зачем я ездил сегодня на Голодай, что зря сболтал, выдал себя и тебя.

— Так ты знал, Алексей, про водку? — Он пылливо уставился на меня глазами, я почувствовал, как кровь

прилила к щекам. «Болтун, болтун...» — пронеслось в голове.

— Ничего я не знал.

— Ну, хорошо. На знал и не знал. Я тебе на следователя. Я про другое хочу тебя спросить: что ты теперь думаешь делать? Без отца-то, говорю!

Уверенность председателя в моем одиночестве, в том, что тебя уже не скоро отпустит, поразила меня: в самом деле, куда мне теперь? Но, стиснув зубы, ответил изпримириво:

— Не ваша забота, но пропаду, — и с отчаянной бесшашбишностью добавил: — Водку буду пить, пока блятку в тюрьме держат. Выйдет — браконьерить будем. Не беспокойся, товарищ председатель: сопляки да мазурики проживут не хуже других.

Струев спокойно встал, снова закурил и мне предложил папиросу, будто и не было моих последних слов. Я глядел под ноги и не заметил угощения.

Ничего не удивляло этого человека.

— Вряд ли, Алексей, не осудят отца. Далеко зашли у них проказы, — заговорил он. — Ты вот что. Ты переходи пока и нам жить-то. Места хватит. Пока молодые учатся (молодыми он называл Тоню с Тимофеем), живи, а там видно будет. Мы тебе не чужие...

Я молчал, не поднимал головы. Не получив ответа, он пожал плечом, медленно сказал:

— Ну, как знаешь... Не маленький. Надумаешь евели, так приходи, право. Места хватит, говорю, — повторил он и пошел от крыльца.

Я посмотрел ему вслед: шел он устало и чуть горбился, словно на сухоньких своих плечах нес какую-то ношу.

4

Сколько времени пролежал я в кухне на лавке! Не заметил, как пришла ночь. Ох, уж эта белая ночь на Двине! Особенно когда глядишь в нее один-одинешенек из окна избы. Как заколдованные, стоят дома, ивы около них, тополевая роща у клуба, полуразвалившиеся цернушка в соседней деревне Погосте. Бледно-серебристый свет льется из-под матового купола небес. Светло, но ничто не дает тени. Так покойно и мягко глазам. Так тревожно и странно на сердце. Полно! Да ночь ли это? Не сон ли наяву, когда душа мечется в смятении и все это, может быть, грезнится; а недвижная светлота и эти прозрачные, недвижные дель...

Я распахнул окно, напруг ухо, вслушивался в чуткую тишу. Ничто не шелухнет. Но мне жутко. Мне послышались звуки, точно крался кто-то невидимый. Но, казалось, нельзя было уже предотвратить то страшное, что должно случиться неизбежно.

Сидеть дальше не могу. Как скваный, выхожу на крыльцо. Куда идти? Кто может подсказать, что мне делать? Отпустили или нет рыбаков? Скоро придет пароход из Холмовска. Может, они приедут?

Протяжно и чисто загудел пароход на подходе к пристани. А вдруг и отец едет?! Скорей, скорей туда...

Рыбаков я встретил за околицей. Они шли изрядно выпивши, но невеселыми казались их помятые прихмельем лица. Увидев меня, Димка Димкин развел руками, точно сказал: «Не обессудь, чем богаты, тем и рады», — и горько потряс плечистой своей головой.

— Достукались, Лексей...

— Отец где?!

Димкин только выразительно перекрестил пальцы рук, изображая решетку.

— А вас за какие заслуги отпустили?

Ванька Рыбный близко присунулся ко мне круглым, как мяч, лицом.

— Чего орешь на улицах-то? — зашипел он, хотя спросил я негромко и находились мы не в деревне, а за добрых полкилометра от нее.— Елки думаешь, что и мы соответственно, то ошибаешься... Мы за твоего папашу не сиделцы.

Как противны мне стали вдруг пьяные физиономии твоих «друзей», отец!

— Эх вы, собаки! — Я бросился к изгороди, стал выламывать кол.

— Ты что это? — окаменели рыбаки на дороге; они, как видно, не столько растерялись, сколько увиделись.— Брось дуреть, пока цел!

— Уходите! — в бессильной ярости, оттого что не могу выломать кола, заорал я.— Уходите, сволочи!

— А что,—опасливо отшагнул в сторону Димкин.— Может, ножи у едо? Очень даже просто: мазурки! Что с его? — И вдруг пьяно закричал: — Чего врешься-то, холера?! Мы, что ли, пихали его в кутузку? Из-за его, дурака, уже и нас на отсидку пригласят...

— Чего тут с тобой,—не заговорил, а опять как-то зашипел Рыбный, точно из боязни быть услышанным.— Завелся, идиот, забегал... Мало ишо славы, так чтобы совсем непропорционально! Хочешь выпить, пойдем с нами, а нет—хоть пропадай здесь, кому ты нужен, дермо собачье!

И я пошел за ними, отец. Мне хотелось больше узнать о тебе.

Димка Димкин жил бобылем. Давно, еще во время войны, умерла его жена. Детей у них не было. Второй раз жениться не удосужился. Так и копил он небо, по его собственному определению. Был не жаден. Сколько рыбы и денег прошло через его огромные, сильные руки, но, кроме лишней бутылки водки, он никогда ничего не приобрел!

Изба Димкина. В пропахшей рыбой пустоте кухни, за поллитровкой, которую приятели после допроса захватили с собой из Холмовска, я узнал о тебе более подробно и связно.

Я узнал, что не смерть дедка Некрасова послужила причиной ареста. Оказалось, дело на вас с Остроносковым завелось не сегодня. Компаньон твой попался с поличным на крупной афере: «макнул налево» уже не десятки килограммов, а несколько десятков центнеров семги. Ты попал в соучастники.

— Пусти к нему!

Я решил поутру податься в Холмовск. Зачем? Не знаю. Ведь я вдруг остался совсем один. Раньше как-то не замечал этого.

— Хватилась! Уже плв... плпроводили Онисима Николаича,— пояснил Димкин, едва ворочая языком.

— Куда?

— На Подлесную. Этим же пароходиком и направляли, на каком мы ехали.

Подлесная улица находилась в городе. На Подлесной располагалась тюрьма.

5

Вчера это особенно ярко вспомнилось мне, отец. Вчера я был в Холмовске, встретил известного тебе Семена Владимировича Максимова. Ты не знаешь, что мы с ним давно большие друзья. Разговорились, вспомнили прошлое. Жаль, говорит, не

вернулся Онисим Николаевич в колхоз после отбытия наказания, но понять это по-человечески можно. И показал мне твое письмо:

«Как думаешь, что ему ответить?»

Прочитал я. И посоветовал... совсем не отвечать. Если тебе стыдно, как ты пишешь, соседям в глаза смотреть, не езди, не смотри, дело твое. А мне вот стало стыдно: соседи наши лучше, чем ты. О них думаешь. Но не это обидно. Есть в твоём письме вопросы: «Как получилось, что сына моего, Лешку, не привлекли тогда, ведь парно шел восемнадцатый? Помог кто, или сам он выкрутился?»

Если бы знать мне, что поймешь ты, почему мне это обидно! Восемь лет прошло, как мы расстались. Восемь лет я не знаю, почему меня не осудили тогда. После той, первой, со мной случилась другая беда, и снова меня не привлекли. Впрочем, неверно сказать — не знаю. Догадываюсь.

— На что тебе это знать? — говорит Семен Владимирович.

— Как на что? По закону требовалось судить меня вместе с отцом!

— По закону? А разве он только в параграфах кодекса живет? Сердце ты в него не включаешь?

Что ему на это отвечать?

— Был, Алеша, у вас в колхозе один такой... Он не только, как говорится, меня, дурака, но и начальство повыше, неплохих юристов у меня оставил. Доказал, что сделать из парня человека можно и без тюрьмы.

— Что же он мог? Закон одинаков для всех!

Семен Владимирович только улыбнулся:

— Конечно, для всех. Но взял кое-кто грех на свою душу: вычеркнули тогда тебя из дела. Нарушили параграф кодекса блюстители закона. Страшно им было! Да, страшно. Но до сего времени мутит их вопрос: нарушение ли это? Разве человека спасти от гибели значит закон нарушить? То-то и оно, Алеша. Всегда это сложно — за живое сердце да прямо рукой.

Обидно мне, отец, что не похож ты на этих «нарушителей закона». Теперь обидно. Раньше такое и в голову не шло.

Но я далеко забегал вперед. Ведь до вчерашней встречи с Семеном Владимировичем еще немало было всякого в моей жизни.

Глава девятая

1

Опять непогодит. Слышно — бьется в берега Курьяна. Студен и зол октябрьский сверчок. Темно. С крыльца избы не видно реки, но я знаю, что на ней делается: ветер ломает труе струи, лохматятся серые горбы волн. Кипит река на перекатах.

Но по мне и это не буря. Я страшно тоскую по Журавельскому отmeldям, где еще недавно стояли наши самолеты, по Голодую, где сейчас лозит семгу другое звено рыбаков. Меня тянет туда, где реза воды да свист ветра. Врезаться бы катерком в эту черноту... Хорошо! Пересекать бы волны наискось до другого берега Двины, под мрачный — в падах и кручах — лесистый берег, послушать там, как гу-

дят сосны. Или пустить катерок по течению, навстречу сиверку, и лететь по бурунам. Пусть они явятся, пугают. «Пугнут, да не согнут», — говаривал, бывало, дедко Некрасов.

Хороший был старик, мне просто не хватает его теперь.

Я не рыбану и не охочусь: нет желания. Теперь только работаю в магазине Машки Давыдовой, Машку ее называют лишь по-за глаза. А в лицю именуют Марией Филимоновной; это та еще бабава, говорит про нее народ. Ласкова и уважительна со всеми, но не дай бог, если на кого «понаесоти! Не оскорбит и не нагурбит, а почувствуешь: не слетней, так другим чем сумеет донять. В магазине истощиться у прилавка — не заметит; нужный товар изпод носа другому продаст так, что и обидеться не на что.

После того, как тебя посадили, она недолго была одинокой. Нашелся для нее не только вдовый, как ты, — она и женатого к рукам прибрала. А белье мне — спасибо — стирает по старой памяти.

...Хватит мерзнуть на крыльце, слушать песни ветра. Еще ранний вечер, но идти никуда не хочется. Я валюсь на любимое теперь место — на широкую лавку у окна, лежу без сна, вялый, бездумный. Огня не вздуваю. Зачем? Хватит мне и того, что падает из окна Струевых. Он свозь стекла окон нашей избы сумеречно освещает в кухне знакомые с детства предметы: позеленевший, давно не чищенный медный самовар («Когда это было, что за ним собиралась вся наша семья?»); сети, все так же свисающие с полаты, как свисали при тебе; «Стенька Разин» в простенке, святой скимник с медведем в углу под потолком в сиянии фольговой позолоты.

Скучно мне жить! И податься некуда. Резинки нынче нет и не предвидится, Святых скимников — тоже. Можно, конечно, пробраться в глушь за Великие озера, к истокам Куряны, и жить там. Построить себе избушку, ловить рыбу, охотничать. Но, наверное, я не смогу без людей, а главное — без нее... Мы почти незнакомы, только здороваемся при встречах, и то без имени. А уже нет нынче такой минуты, когда мне не слышался бы ее голос: «Вы как будто испугались?»

Сквозь закрытые веки смеется мне во лицо, дрожат золотистые искорки в серых глазах. Она наклоняется ко мне... Нет, это не она, это Полина Платонова улыбается. Откуда взялась? Я хочу сплести ее, вглядываюсь, но ее тоже нет... В неверном свете чужого огня проступает столбик, на нем висит рыбацкая снасть. Я вижу, как к столбику тянется чья-то рука. Да это твоя рука, отец! И глаза твои. Они приближаются, они все ближе и ближе... Страшные глаза! Вот твоя рука взметнулась, крученка взялась надо мной!

— Папа! Не надо, не буду больше... Папа!

то и она, сумасшедшая, заливается. Полчасе, наверное, плакали обнявшись.

Потом моя сестра стала хозяйничать. Затопила печку, слезила в подпол за картошкой. Порхаёт около меня птицы, глаза как звезды, смеется. Мне очень хорошо стало.

Тоня раскрывала свою сумочку. Там колбаса, треска копченая. Уселась за стол — она бутылку вина выставляла.

— Зачем это? Или тоже меня за пьяницу считаешь?

Улыбается своими ямочками. Умеют у нее щеки ямочками взяться! И тут и там, будто малюсенькие вороночки на динской глуби, когда быстерь крутит на солнце.

— Мама разве пьяницей была?

— При чем тут мама!

— При том... С дорогим человеком рюмочку, бывало, всегда выдержит. Забыл!

Расказала Тоня о том, как они учатся с мужем, как живут, и про кино, и про театр. Долго рассказывала.

— Все бы хорошо, да о Димке скучаю очень. Привык он здесь, к бабе и к деду, мать-то ничем ему. Ну ладно. Недолго уж учиться осталось.

Вспомнили о Струевых и замолчали. Тоня знает, наверно, как ее свекор меня обижает, все зовёт к себе жить, знает, а не спрашивает. Но раз уж попали на разговор, никуда от него не уйдешь.

— Я, Олеша, у папы в тюрьме была, как привезли его в город из Холмовска.

— Ну?!

— Не вышел, хотя свидание и разрешили. Записку вот передали от него.

Подает записку. Вот они, отец, твои строчки, передо мной: «Плохой я, дочка. Не надо, не ходите ко мне. Потому, может, а сейчас не могу. Лешке привет. Королев».

Не отец, не папа, а Королев. Чудно так было читать, будто незнакома фамилия.

Долго мы молчали над твоей запиской. Что будешь говорить? О моей жизни Тоня не спрашивала, а мне о ней и не хотелось рассказывать.

— А все-таки папа был хороший человек, — сказала, наконец, Тоня, точно я молча спорил. И почему «был»? Что ты, помер!

— Все мы хорошие... — сказал я с обидой.

— Забрал его у нас «горноста» этот, а мы с тобой... — продолжала она, не обращая внимания на мои слова.

Но я перебил:

— Почему мы с тобой?! Кто же из нас старше? — Тот и старше, Олеша, кто сумеет человека от зла устоять.

— А я вот... Я совсем один остался, это как! — вызывающе спросил я.

— Это ты зря, кругом же люди! Не видишь, что ли? Ты работаешь, с людьми ежедневно. Как же один? От тебя зависит. Учиться в вечернюю школу поступай. Нечего тебе унывать, Олеша. Или пьешь все? Ни себя, ни... кого не жалко!

Она помолчала немного, точно собиралась с мыслями, и продолжала горячо:

— А какие люди есть, Олеша! Вон Дмитрий Сергич. Ты не думай, что по родне я... Такие люди, Олеша, сами по себе хороши, их нечего расхваливать.

— Сама расхваливаешь, кто тебя просит.

Тоня помолчала на это. Она гоаорилла о своем: — Как он о папе сокрушается! Очень верный человек Дмитрий Сергич. Зная, как он сказал!

2

Олеша, Олеша! Проснись же... Что ты весь дрожишь?

Открывало глаза: Тоня!

— Ты?!

— Прямо с парохода.

— Тоня!

И вот бывает же... Зарезел я, пятилетним мальчишкой себя почувствовал, Пускай бы уж я один, а

«Расстрелять,— говорит,— меня надо за равнодушие мое к человеку!» На себя наше горе берет. И я ему верю, Олеша.— Она вздохнула.— Ну, надо идти.

Вот уж и уходит собралась моя Тоня. Сразу стала суетливой, не знала, что бы ей еще сделать. Взглянула на пол, по углам глазами повила, схвати-лась за веник.

— Соручи! Дай-ка я подмету маленько.

Подмела пол, в печке золу и загниет пригребла кочергой. Стала одеваться и только тогда уже:

— Мы ведь с Тимофеем здесь. Не зайдешь к нам? Ну-ну... Я понимаю. Мы завтра уедем. Год ещеостанусь учиться, а там рядом будем. Ты станешь думать обо мне, Олеша? — И словно знала, что у меня язык присох, не пошевелило им, сама ответи-ла: — Станешь.

Подсела ко мне перед уходом.

— Ты подумай все-таки, Олеша. Сказывай мне Дмитрий Сергеевич: не согласиен ли переходить к нам. Дело, конечно, твое. Только в нашей с тобой беде он не виноват. Ты об этом подумай.

— Мне в армию скоро, чего думать?

— А до армии? Обед, бельешко?

— Давыдова стирает пока что по старой памяти.

Стала закрывать сумочку, достала книжку, подала.

— До свидания, Олеша! Возьми вот на память,

интересная книжка. Помнишь, как, бывало, читали?

Ну, не скучай.

Ушла.

Долго я стоял с книжкой в руке, потом положил ее на окно и названия не прочитал. Не то в голове было.

ботать и учиться дальше буду. Звончу, в институте. Буду механиком.

— Хоть директором, мне не жалко.

— За что ты сердешься на меня, может, из-за Галки?

— Нужна она мне, твоя Галка.

— Как, вы же с первого класса с ней дружили!

— Дружили, да отдружили... Все у тебя! Меня вон народ в магазине ждет. Треску везу. Вы нынче все учение, а мое дело—ломая хребет, и вся недога.

— Зря ты так со мной... Если из-за Галки, то оши-баешься.

Витка говорил вроде искренне, и я хотел уже по-хорошему руку ему протянуть. Что, в самом деле: уезжай, работай, учись—каждому свое. Взглянул я на Витку, даже в глазах у меня потеплело.

И вдруг:

— Витя!

Этот голос! Я узнал бы его, наверное, среди сот-ни голосов...

Она подходила к нам, ко мне, как неотвратимая радость и беда. И волосы по-прежнему словно ды-мились из-под шапочки, и глаза искрились в за-тенье ресниц.

— Здравствуйте!

Я был в старом брезентовом плаще, засаленная ушанка на затылке, кирзовые сапоги до колен за-леплены грязью. Рядом с Витькой—а на нем костюмные брюки из-под темно-синего пальто,— что я представлял для нее рядом с Витькой! От-чаянность меня азала.

— У меня имя есть...— пробурчал я с досадой.

Она улыбнулась, и у меня невольно рот растя-нулся до ушей.

— Я знаю, вас зовут Алешей. Но и у меня тоже есть имя!

— Вас Аней зовут,— засияла я, забыв про Витку.

— Все меня Аннушкой зовут, договорились?

— Ага...

Витка панобратски потянул ее за руку:

— Оплаздиваем!

Она подхватила его под ручку. Отошли. Шепнула что-то в самое ухо, засмеялись. У меня сердце за-шло, как от бега.

Так вот почему тебе не до Галинки! Но ты же уезжаешь, а она будет жить здесь, рядом. «Меня Аннушкой зовут, договорились?» Аннушка! «А те-бя,—говорит,—Алешей». Вот хорошо... Оба на бук-ву «А».

До самого магазина погонял я лошадей, правил по дороге, здоровался с кем-то, но ничего не видел, кроме ее глаз, ничего не слышал, кроме ее голоса: «Меня Аннушкой зовут...»

Надо будет сегодня на танцы пойти. Пусть она и меня в костюме увидит. Еще не обязательно Вит-ка. Может быть...

Все может быть.

Весь день я был сам не свой. Машка Давыдова и то подметила:

— Уже хватить успел. В буфете, что ль, на при-стани?

— Сама, видно, хватила! Трезвого от пьяного не отличишь.

Покупателям смешно. Мазурик, мол, от па-льняницы недалеко ушел. Всегда меня тобою попре-кали.

В тот вечер я в клуб пойти хотел, а вышло по-другому. Пришел домой—дома гость.

По вечерам иногда заходил ко мне Димка Дин-кин. Обычно с пол-литром. И он, Димкин, и Рыб-ный отделился «легким испугом», как говорили колхозники: получили по году принудрабат с вы-

3

Странно я жил тогда, отец. Будто плутал в тумане на взморье. Гребу, гребу—просвета нет.

Вот уже выгреб вроде на перекат, где туман поредел и тусклый свет сквозь него просочился.

И ветер прошелся. Как снег метлой, размел-раски-дал туман над устьем Двины. Солнышко обозначило берега. Над рыбацкой деревенькой уже струит ут-ренний, пахнувший варевом дымок.

Скорее к дому. И снова гребу, тороплюсь, а кар-бас ни с места. Присмотрелся: отлив начался. Прочь поплыло меня от устья, снова в туман, снова плутаю и не могу найти берегов. А знаю—рядом они.

По путавке комсомола Витка Паромов уезжал на строительство нового бумажного комбината. Галин-ку Некрасову колхоз послал в Холмовск учиться на зоостаника. Тоня и Тимофей в городе учатся. А я знай себе на лошадей покрикиваю: «Ну, бери, черт!» Ладно, кому-нибудь и в разнорабочих надо ходить.

Как-то везу в магазин к Машке Давыдовой бочки с соленой треской от речной пристани, слышу:

— Леша!

Витка Паромов.

— Здорово!

— Здравствуйте!

— Поедем вместе на стройку!

— Чего я там оставил?

— Нет, я не шумю. Можно и на тебя в райкоме путевку получить. В одной бригаде стали бы рабо-тать.

— Десять лет проучился, теперь будешь глинку ножками топтать? Счастливого пути!

— Ну, это напрасно! Там механизмы. Я там ра-

четом из заработка двадцати пяти процентов. Но из рыболовецкой бригады их выгнали.

— Вот как обернулись наши художества! — плакался Димкин. — А ить я кто? Если рассмотреть? Рыбак сызмалства! Я, может, без рыбачьего рукомета жить не смыслоу воесе... Тогда как со мной? И группы не даюу, холери!

А Рыбный совсем изменился на людях, буд-то другую шкуру надел. Работает до упаду. И сено возит и навоз на поля. Пить вроде совсем бросил.

Как-то встретились, в магазине дело было — полно людей. Он смотрел, смотрел на меня и сокрушено качнул головой:

— Гляжу я на тебя, Лешка, и диву даюсь... Да и все в колхозе соответственно: тебе бы, Мазурику, с отцом на отсидку, а ты и свидетели попать не удосужился. Не пропорционально!

Едва-едва сдержался я, не плюнул в круглую рожу.

Данила Некрасов тоже чудом остался в рыбаках. Если бы не его Серафима, может быть, понал бы из свидетелей в ответчик. Мне Галинка рассказывала. Когда у нас раскрылось все, пришла Серафима в правление. Пришла и говорит: «Отдайте меня под суд, я во всем виновата. Собирай, Дмитрий Сергеевич, заседание, осуждайте меня». «Ты ни при чем», — говорит ей Струев. А Серафима свое: «Партийная я, а коммунист всегда при чем!».

Настояла. А на правлении так говорила, что не только ей самой, — и Даниле и Струеву — всем досталось. Под конец заявила: «Давай слово, Данила, перед народом!» «Какое?» «Что больше рюмки в рот не возьмешь — это раз. Что, если своего ума не хватит, у жены займешь» — два. Что дикости свои и позорища бросишь навоесе!»

Поямась Данила: очень уж стыда много принимать перед народом, — а слово дал. Так его от уголовного дела и отстояли благодаря жене. По ее выходило, что никто не должен спать спокойно, если рядом человек сбился с панталюку. Как она кляла свою бабью жалость! Если, говорит, вывела бы своего Данилу на народ раньше («Ведь видела — пьет он! А на что, на какие такие доходы? Что у него за дивиденды, окромя колхозной семги?», вывела бы, — и его и себя спасла бы от позорища.

Так было с нашими собутыльниками, отец. Со мной, думаю, хуже.

На танцы в тот вечер я не понал из-за Димкина, а лучше сказать, из-за себя. Назавтра только меленком повидал Аннушку, и показалось мне — она едва кивнула в ответ на мое «Здравствуй, Аннушка!». Теперь-то понимаю: как же ей со мной было иначе? За какие подвиги внимание мне оказывать?

Вечером, после работы, пошел к ларьку «Голубая ночь» выпить кружку пива: голова болела после вчерашнего. Ты хорошо, отец, поминишь это место выпивок и опохмелок? «Голубой ночью» ларек прозвали за голубую окраску да за его ночную жизнь — работу. А на деревне его окрестили справедливо, хотя и мрачно: «Слезы матери». Сколько там у пьяных стоек разыгралось семейных драм! Нынче уже нет «Голубой ночи». Струев настоял в райкоме партии — прикрыли.

Так вот, вечером у «Голубой ночи» после нескольких стаканов «ерша» — пива в смеси с водкой — я ударил по голове бутылкой бывшего своего друга Витьку Паромова.

Мимо ларька с чемоданчиком на пароход шел Витька Паромов. Я окликнул его с самыми добрыми намерениями, упросил выпить на прощание, даже, кажется, покаялся в вечной дружбе. А спустя полчаса хлопнул его по затылку и по луте еще кого-то. За что же? Может быть, за то, что Витька лучше меня, или за то, что к ларьку привернула девушка и снова осветила меня серыми глазами!

Она стояла рядом, будто бы и не глядела на меня вовсе, но все равно ее глаза били мне в лицо и поздно было отворачиваться и прятать его.

— Вить, пойдём отсюда... Тебе не место здесь. Вите не место! Значит, тут мое место. Законно! Подождите же, мне надо вам сказать кое-что... Вот что пришло мне в голову.

— Аннушка, выпей со мной! Никогда не пила? А... а ты попр... попробуй! Брось ломаться! Никада твой Витенька не денется... Пей! Я угощю!

— Лешка, ты очумел! — Это Витька, кажется, сказал.

— Заткнись! Не твоё собачье дело мне указывать!

— Пойдем, Вить!

— Не-е-т, погоди... Витька. Ты думаешь, кто ты такое есть? Ишь ты фр! Фасон держишь...

— Пойдем, ребята: Мазурику места мало! Скучно ему с небитой мордой ходить, у Витьки выпрешивает...

Что это крикнул! Не все ли равно! А-а-а!... Все хорошо, один Лешка-Мазурику хулиган! Пусть будет так. Бутылка полетела в Витькину голову, а зади хватили меня по голове чем-то тяжелым.

Показалось мне, будто к ларьку бежит Дмитрий Сергеевич. Что было дальше, ничего не помню.

Нынешней весной мы с Дмитрием Сергеевичем охотились на глухаря. Километров десять брели до тока болотиной, продирались сквозь буреломы, мостили переходы через вазбухшие лесные речки. Шел я за сухоньким спутником, думал: «Не вынесу, пропаду...»

За плечами потяжелело много мешков у Струева. Сам он в три раза меня постарше, а идет вроде легонько да еще истории разные рассказывает.

На глухариний ток я понал впервые. И только тут понял: не зря охотники тяжелые дороги ломают. Кажется, ничего прекраснее в моей жизни не было!

Наслышались мы глухаря перед рассветом. Один только и пел в то утро. Стали под него вдвоем «подкашивать». Дело почти безнадежное — вдвоем. Но что это было! Где-то в дремучей глуши, в полной тишине леса, когда и капель с сонных деревьев бьет по уху, как выстрел, в такой вот тишине раздалась первая часть глухаринной песни: «Тэк, тэк... И сразу: — Тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк-тэк...» Больше никаких звуков в мире нет. Не шевелится, охотник! Чутка в эти секунды загадочная птица. В какой бы позе ни застигло тебя «тэкание» — не двигайся, пережди. Но вот раздалась непередаваемые звуки, что-то вроде: «Чикиря-с-с-с-ш, чикиря-с-с-с-ш...» — быстро-быстро, будто в первобытном лесу еще безязыкий наш предок, охваченный стра-

стью, пытается объяснить свои чувства подружке. Это и есть вторая часть песни глухаря. Слешки к нему! Он ничего не слышит и не видит сейчас.

Мы подсккали к нему под эту песню вплотную. Замерли под сосной. Глухарь распустил крылья, как на молитве, задрал в темное небо бородастую голову и, задыхаясь от восторга, расхаживал по суку. Певец был едва виден в сумраке ветвей.

Настоящее счастье жило в нас в те секунды! Нет, мы не могли стрелять. Мы стояли до изнеможения, пока в ближайшем болотце не закохталась глухарка, не позвала к себе певца.

Ты и сейчас, наверно, не понимаешь, отец, через какие болота и топи продирался я к счастью жить, по-настоящему жить!

Глава десятая

1

Что это со мной? Голова — сплошная боль, правая рука ноет в предплечье, точно его прожгли раскаленным железом. Гляжу в потолок, соображаю.левой рукой пощупал голову: в бинтах. Где же я все-таки? Хотел посмотреть, пошевелил голову и снова потерял сознание.

Когда никогда вернулось оно. Опять открыл глаза. Поразились: надо мной, над моим лицом, словно бы в воздухе, висело лицо Аннушки. Я хотел сказать «Здравствуй!», но только промочил чито.

— Тсс-сс... — сказала Аннушкино лицо, и над моим носом повис в воздухе маленький пальчик. И снова забыться.

Больница.
Месяц. Другой.

От Витьки пришло десять писем. Их сразу мне все принесли. Пока голова болела, читать не давали. Теперь вместе с Аннушкой читаем. И Витька с каждым новым письмом будто все лучше становится. Он работает и учится, мне желает скорого выздоровления. А голова у него и не болела почти. И еще пишет в последнем письме: познакомился с хорошей девушкой. Вместе работают, вместе ходят в вечерний техникум, а в какой — забыл написать. Но это неважно, еще напишет. Важно, что девушки у него замечательная! И зовут красноречиво: Ольгой. Хорошо! Аннушка то же говорит.

Дмитрий Сергеевич с женой приходили в больницу. Я не знал, куда глаза спрятать. А он предлагает: «Выйдешь из больницы — заходи в правление. Ты же рыбак! У нас вся природа — рыбаки. Надумаше — звеньевым поставим на Голодай».

Даже дух сперло от неожиданности. Посмотрел: не смеется ли председатель? Нет, говорит со мной, как с настоящим человеком. Как же так: мне, Мазурику, предлагают в звеньевые!

Стала мне Аннушка книги носить. Сам попросил. Ей, видно, очень это приглянулось. Придет, сядет, смотрит, как я читаю. А какое там чтение, когда она смотрит!

Как-то спросил:

— Поправисься — опять за водку возьмешься? Вот. Как за горло взяла! Сказать, что возьмусь, — язык не поворачивается. Сказать, что никогда больше не задену (хотелось такое сказать, очень!), — чувствую, что совру. А врать Аннушке мне даже совсем невозможным кажется. И она, уминица, поняла все.

— Лучше молчи, если солгать боишься.

Эх, была не была!

— Никогда не стал бы... Вот ни капли, если бы только...

Аннушка отодвинулась от кровати: меня словно толкнул кто к ней.

— Что, если бы?

Язык у меня чужой стал. И все кое-как перевел на шутку:

— Если бы... водку продавать перестали.

Как хотелось другое сказать: «Если бы ты, Аннушка, никогда не отходила от меня». Вот что было на языке! И она даже побледнела, ответа ждала, что-то думала, наверно, другое услышать. Даже обиделась:

— Навесело шутишь, Алексей!

Она ни разу не назвала меня Алешей. По ее глазам хорошо вижу: «Алеша», — а на губах у нее строгае: «Алексей».

Как-то я попросил Аннушку зайти к нам в избу, посмотреть, протопить, если сырость заметит. Вернулась она, показавшись мне, сердитая:

— Там и без меня заботятся: и топят и даже полы моют.

— Кто?

— Не догадываешься?

— В ум не приходит!

Лгал, лгал, догадывался... Кроме Тони, одна только Галина знала, куда я прячу ключ от замка.

Галина Некрасова, моя знакомая — как откровенно довала мне Галинку Аннушка, — в самом деле зайничала у меня по воскресеньям, когда приезжала из Холмовска домой. Вот просят ее соваться!

2

Перед самой выпиской из больницы Галинка пришла ко мне. Принесла книжку, ту, что Тоня подарил на память.

— Леша, дай подружке моей почитать. Давно ищет, а в библиотеке у нас нету.

— Сам еще не читал. Да ладно уж, возьми!

Галинка страшно удивилась:

— Такую-то книжку не читал! Неужели ты не слышал про «Оводан» Войнич?

— Говорю, нет... Слышать слышал, а читать не приходилось.

Вот девка! С чем-нибудь да привяжется.

Посидела она. Оба видим, что говорить нам решительно не о чем.

— Кто тебя лолы мыть просил?

Покраснела, чуть не плачет. Опять я, пожалуй, виноват!

Так и ушла. И книжку забыла, оставила.

Э-э, полистать, что ли, от скуки, пока Аннушка не пришла. Она, как идет с работы из элпидстанции своей, так и ко мне. Все интересуется моим здоровьем.

Стал листать «Овода». Джемма какая-то, Монтанелли... А вот «падре». Что за падре такая?

Раскрыл наугад и прочитал целую страницу. Так, «падре» — это же поп! Зачем-то пришел он в тюрьму и чуть с ума не сошел, когда заключенный, «Овод» по прозвищу, назвал этого попа «падре». Ничего не понятно!

Аннушка пришла через два часа, а я и не слышал ее шагов. Обычно она еще в коридоре, но обязательно ее услышишь, как ни легка на ногу. А сегодня даже совестно стало, когда над ухом раздалось:

— Не ждешь?

— Аннушка!

— Вообще-то, конечно... Посетители утомляют больного. Особенно девушки.

Аннушка любит насмешничать, но всегда от ее насмешек хорошо. Сегодня что-то не так и улыбается с прищурочкой.

— Мне сказали: у тебя уже была сегодня гостья.

— Некрасова была... Галинка. Книгу вот принесла.

— Интересная? А-а, «Овод»! Ну, тогда ясно, почему не слышал, как я вошла.

— Ты читала?

— В детстве.

Опять смеется.

Еще посидела немного Аннушка и, недовольная чем-то, ушла. Я снова напал на «Овода», как голодный на еду. И уснул на груди с ним.

Назавтра к вечеру прочитанную и просмотренную много раз книгу надежно упрятал под подушку. Было горько, что все закончено. Овод, с которым я пошел бы сию же минуту на любое дело, и даже умирать к тюремной стене, — Овод убит. Прочитаны стихи на последней странице:

Живу ли я,
Умру ли я,
Я мошка все ж
Счастливая.

Особенно страшно предательство Монтанелли, этого падре, отца Артура-Овода. Родного сына послал под расстрел! Что из того, что сам потом сошел с ума? Так ему и надо! А Овод-то, Овод... Вот это человек!

«Падре, падре... Отец мой!» Что-то перевернулось в моей груди. Уткнулся носом в подушку, повил тихонько, пока отошло. «Отец предал сына...» А меня отец не предал! Пусть наоборот у нас все: моя сидит в тюрьме, а я на воле. Пусть причины другие. Но ведь он взрослый человек! Зачем связался с Остроносим? А потом: оставаясь, сыночек, живя, как знаешь. Вот тебе и записка на память: «Плохой я, не ходите ко мне... Королев».

Королев... А я не Королев! Забрал бы и меня с собой. Чего же оставил! Полная воля тебе, Мазурин: хочешь — работай, не хочешь — воруй, пей, дерись. Останова не будет.

В окно серым потоком текли сумерки. Я не включал огня, а все смотрел и смотрел на это сумеречное окно, как на экран. И так ясно я видел, отец, твою тюремную камеру, тебя на грязных нарах, что хотелось крикнуть тебе: «Папа! Ты слышишь меня?»

Я сунул руку под постель, вытащил свой старый, самым сшитый кошелек, вынул из него твою тюремную записку. Долго лежал, жвакал ее в руке, не читая. Я знал ее на память, наизусть.

В этот вечер я твердо решил на одно дело. Ночь почти не спал: прощался с Аннушкой. О Тоне подумал только мельком, а о Галинке так ни разу и не вспомнил.

Уже неделю я живу у Струевых. Хотел не хотел, кто скажет? Так уж получилось.

Из больницы пришел домой, стал готовиться к задуманному. Прибрался в избе, в погреб полез, остатки картошки перебрал, гнилую повыкидал. Мало ли: вздумает Тоня весной взять нашу картошку и а гряды высидит, так и похвалит: позаботился, мол, молодец!

Из подполья вылез, голова кружится; видно, и впрямь рано выплылся, предупредила врач, а я неостаял. Очень хотелось довести поскорей все задуманное до конца.

Только бы снова не заболел. И аппетита нету, есть не хочется. Лучше выплысь. Улежись на скамейку прямо в одежде: утром пораньше выйду в Холмовск.

Но уснуть не пришлось. Только задремал — наступали. Кого-то уже несет не ко времени! Маньша всего я хотел видеть Галинку, но это была она.

— Откуда ты?

— Из Холмовска, домой иду. Привернула... Проводить тебя. Машка Давыдова поустрачалась, сказала, что ты уже вышел из больницы.

— Машке до всего забота... А ты ничего себе приворот сделала: Погост-то от Холмовска на три километра ближе Курянки!

— Не смеяйся, Леша...

— На воскресенье, что ль?

— На выходной.

— Чего ж ко мне, соскучилась по мытью полов? — Почему ты злишься, Леша? Разве я тебя обидела чем?

Уж лучше бы она обидела, чем так вот ходить ко мне. Ну, неужели не понимает ничего? Ну, учились вместе, ну, провозжал ее, и даже до Погоста. Ну и что с того!

— Не злюсь я, чего мне злиться...

Так вот сидели с полчасца, перебивали из пустого в порожнее. А дальше что? Наконец, Галинка поднялась:

— Проводишь, Леша? До околицы хоть... А может, до Погоста? Проводишь, как бывало, по угорышку? Не забыл дорогу-то?

Она говорит, а во мне будто камень встал, от ее слова: голосок у нее какой-то пискливый стал, воспоминания эти... Кому они нужны?

Не дождалась Галинка ответа.

— Значит, все, Леша? На... навсегда?

И опять ничего не могу сказать. В ухах-то у меня звенит другой голосок: «Не ждешь! Вообще-то, конечно, посетители утомляют больного. Особенно девушки».

Что же ей надо, Галинке! Какие провознения, зачем?

Галинка опустила глаза:

— Прощай тогда, Леша... Не так думалось мне.

Ушла. Все мне было понятно, но вот ни на столичко не жалко Галинку, и горе ее меня не тронуло. Как каменный стал. Да, будешь каменный. «Почему Аннушка не пришла проводить? Ведь она и в больнице не была у меня три последних дня перед выпиской, что с ней? Перед этим забежала на минутку, молчаливая была, будто и хочет что сказать, а не может. Неужели я обидел ее тем, что, расставаясь, ее ладонь к своей щеке прижал?»

Утром ровно в десять я сидел в кабинете следователя в Холмовские. Так впервые, отец, я познакомился с Семеновым Владимиромвичем Максимовым. На вид он был сухарь сухарем.

— Что у вас ко мне, молодой человек?

И я заговорил с ходу о том, что самый большой преступник — это я; рассказывал о браконьерстве: как мы ловили стерлядь на самолеты, как продавали семгу командам и пассажирам пароходов, как возили рыбакам водку и спирт «сучоки».

Он очень вредный для глаз, «сучоки»-то. Данила недавно жаловался: плохо стало видеть. Врачи прямо сказали, будто от «сучок» это.

Я, как только мог, очернил себя, особенно когда рассказывал о гибели дедки Некрасова. Говорил и говорил, даже прибавлял и выдумывал, чего и не было.

Следователь ни разу не перебил, только кивал, будто во всем со мной соглашался. И долго молчал после моего рассказа.

— Что же ты пришел ко мне, Королев? — спросил он наконец.

Это было неожиданно и совсем странно. Надо было хватать меня, может быть, вязать, как Овода, тащить в одиночку... «Что пришел?» Даже обидно!

— Посадите меня!

Опять разглядывал меня Максимов и снова молчал. Может быть, он играет со мной? Это, слышал я, прием есть такой у следователей — разом огорчить. Нет как будто: лицо спокойное, даже грустное стало немного.

— Нельзя тебя посадить, Королев. Улик, как говорится, нет в деле против тебя.

— Как нет? Я же вам полчася рассказывал!

— И суд давно был, и дело следствием закончено, как говорится, — продолжал он, будто не обращая внимания на мои слова. — Да и вообще... зря все это ты придумал. Сознайся: скучно в больнице лежать, вот и выдумывал.

— Откуда вы про больницу знаете? — поразился я.

— Должность у меня такая, Алексей, — все знает. Так вот... Нечего тебе делать в тюрьме. Ты, я вижу, парень умный, сам все протряпочишь, как говорится, понимаешь.

Все задуманное пошло прахом. В тюрьму бы мне... Так хотелось, чтобы ты узнал именно об этом! Пусть бы стал рвать на себе волосы, проклинать себя, мучиться, как мучился Монтанелли, когда предал своего сына. Да и Аннушка пожалела бы, может быть, что не пришла после моей болезни. Интересно, пришла бы она ко мне в тюрьму?

— Поезжай себе домой, Алексей. Струев, кажется, звеньевым хочет тебе поставить на Голоде? Работай да выкинь из головы все. Особенно чепуху с тюрьмами. И отца жди. Как говорится, время-то идет. И о звеньевом ему известно! Я не знал, что и думать. Но у меня в запасе был еще один козырь.

— Тогда за хулиганство садите... раз все знаете. Он вдруг почему-то строго посмотрел мне в глаза:

— Ни о каком хулиганстве мне неизвестно. И вот что, Королев. Обо всем мы с тобой, кажется, побеседовали, пора и честь знать, как говорится.

Я встал. Не мог же я сидеть дальше, если следователь вышел из-за стола и двери мне сам открыл!

Коротки дни в Придвинье в начале января: в девять рассветает, а в три наступают сумерки. Домой, в свою Курянку, я шел, когда совсем уже стемнело. Мороз пал на завьюженные луга, через которые пролегла моя дорога. Звездное небо отразилось в

мириадах снежинок, весело искрилось, но мне было не до веселья. Нездоровилось, в голове шумело, ноги дрожали.

«Рано, выдать, ушел из больницы, рано...»

Сегодня и в самом деле полное небо набилось звезд, снег не сохнет: их словно бы и не было столько никогда. А северное-то сияние как играет! Колеблется и переливается разноцветно, как большая люстра из стекляшек в нашем клубе. Огромная люстра! А то вдруг схватится все небо розоватым пламенем да рассыплется на стрелы, и они молнией ударят ввысь, заблещут около Полярной звезды! Наверное, холодное пламя у сияния. Недаром так морозно на земле. Эх е! Дрожь пробирает.

«Рано вышел из больницы... До Погоста бы хоть добрался».

Сначала меня все знобило. Потом стало жарко так, что хоть сбрасывай фуфайку.

Еще через силу подошел немного. Нет, надо отдохнуть. Присяду-ка я вот тут, за сугроб. Вот так. И не дует и спиной есть к чему прислониться.

Потом уже, когда совсем пришел в себя и мы сидели за чаем с Дмитрием Сергеевичем, он рассказывал жене:

— Хорошо, мать, еще совещание рано кончилось в райисполкоме. Выехать бы мне на час попозже, не к чему было бы Алексею уши оттирать: так и уснул бы навсегда. И до Погоста-то метров триста не дошел всего. Сидит, нос в колени спрятал. «Эй!» — кричу. А он, как пень, молчит.

Вот так и остался я у Струевых. А совсем поправился — уйти уже не мог: совестно. Люди ко мне всей душой, а я волком на них! Или я в самом деле стал на волка похож!

4

Мы с Сергеем на работу теперь уходим вместе. Я — в рыболовецкую бригаду, он — в правление. Улицей Курянки идем степенно: как-никак председатель колхоза со звеньевым рыбаков-семужников. Вон как Струев разговаривает со мной на людях:

— Данила передай: пусть сван для выбоев в дельнке у Черного болота рубит. И сам-то ты неужели не понимаешь, что в заказнике нельзя заготовки делать?

Хотя и стыдно мне: люди кругом, — но что делать.

Это хозяйский разговор. Послал Данила наше звено сван заготовлять, а я по неопытности в колхозный заказник забрался, чуть весь подрост не загубил.

— Да надо тебе, Алексей, найти время, на Голода-то еще по зимнику попать. Избушку бы поднять на матура, а то снесет ее по весне.

Вот как! «Надо найти время...» Не Лешка-Мазурик, гультай и браконьер, а звеньевой, у которого и времени в обрез: занят.

— Хорошо, сделано, — говорю я как могу солиднее, а сам все поглядываю искоса на односельчан. Они уважительно прислушиваются к словам председателя, но меня вроде вовсе не замечают. Тут же стоят мои старые знакомцы — Димкин и Рыбный. Я озабоченно говорю Струеву:

— Димкина-то дайте в мое звено, Дмитрий Сергеевич. Пусть ловит, я за него поручусь. А рыбак — поискать таких — немного найдешь.

Вот так! Смотрю, как теперь мои слова принимают люди. Особенно Ванька Рыбный. Я знаю, что оба рыбака обивали пороги в превлени: просили разрешить им снова встать на семужий выбой.

Колхозники одобрително кивают, когда Струев согласен машет рукой:

— Забирай Димкина, Алексей! Только если на поплатню, то не выдет! Сумел взять, сумей и распорядиться. Ты теперь за него ответчик.

Я даю в обиду:
— Сказал, ручаюсь!

В сарай, где рыбаки ремонтируют старые рюжи и делают насадку новых сетей, мы идем рядом с Димкиным. Мне понятны его чувства, и я несколько не обижаясь на такие речи Димкина:

— Взля, стало быть... А я думал, ты, холера, для себя только. Но, видать, тебе дело дороже. Ну-с, что... Рыбак ты ишо никакой. Приглядывайся, обучу в высшее качество. На меня положись!

Под вечер в сарай заходит Ванька Рыбный. Он почтительно кивает, будто мы не виделись сегодня. Заговаривает с рыбаками, привычно балагурит, но мне понятно: все это игра, ему непереносимо, что Димкин снова будет на вывое, а он, Рыбный, нет.

Напрасно старается.

Все как будто стало налаживаться, не будь одной заваквы. Ни на минуту не забывалось, что есть на свете Аннушка. И после выхода из больницы я не мог представить себя без нее.

Мы по-прежнему допоздна бродим с ней по лунной улице Куряники, как бродили прежде Тимофей с Тоней. Говорим и молчим, бегаем по заснеженным тропинкам в «догонялки», даже порхаемся в снегу, как куропатки. С ней все одинаково хорошо. Но, разбалававшись, я как-то забылся до того, что руки мои проскользнули к ней под растегнувшуюся шубку, и Аннушка забилась в их кольцо, как большая сильная рыба.

— Остави! Слышишь? Мне больно!

Эти слова произнесла уже около самых моих губ, но я не успел ее поцеловать. Я лишь прижался всем ртом к холодному упрямому подбородку Аннушки, а руками сжимал ее, горячую, гибкую, все сильнее и сильнее.

— Алексей!

Растерянный и разобиденный, я отпустил ее.

— Что Алексей? Что, уж и задеть нельзя!

— Ничего,— она застегнула крючки, сердито пошла вперед.

— Что ты, Аннушка? — я встревожился не на шутку.

— Сказала: ничего. Но если ты еще раз позволишь себе...

С того и пошло. Мы с ней часто бываем вместе, но я уже не смею обнять ее. И живет Аннушка одна в комнате, но я ни разу не переступил ее порога.

Я и сам боюсь ее комнаты: что буду делать, если останусь там с Аннушкой один на один? Такого со мной еще никогда не бывало. Но я упрямо стремлюсь к какой-то мне самому неведомой цели. Мне кажется, что и сама Аннушка считает меня рохлей и молокосом. Это было хуже всего.

Как-то выпил изрядно — или я уже в самом деле выпить не смею! — и пришло мне в голову нарушить этот запрет: проводил ее после танца до дому и стал настаивать:

— Ну, хочь комнату покажи, где живешь.
— Комната как комната. Что ее смотреть?
— Ты замерз совсем, как ты не поймешь!
— Иди домой, согревайся на печке.
— Аннушка! Ты когда-нибудь выведешь меня...

— В комнату ты не войдешь, значит, и выводить не надо будет.

— Не шути!

Тогда Аннушка внезапно прижалась, обвила мою шею руками, стала целовать меня прямо в губы. Оглушенный счастьем, я не помнил себя от изумления. Аннушка отскочила так же внезапно.

— Я не шучу, Алеша...

— Аннушка!

— Не подходи, от тебя вином пахнет! Спокойной ночи.

Скрипнула дверь, щелкнул замок.

Такая заваквы продолжалась: Аннушка не позволяет мне поцеловать себя, но я не могу, совсем не могу без нее. Мы по-прежнему «дролсимся», как говорят на Двине про влюбленных девушку и парня, вечера пролетают минутами, я никогда не выспись, она, наверно, тоже. Чем это кончится?

Нет, если бы вечно так продолжалось, если бы вечно мы ждали и искали друг друга!

5

Как бежит время! Как летит!.. Как ты дома, отец, ты увидел бы, как я вырос. Колокольня настоящая! На дедка Некрасова стал похож, только бороду приклеить. Да... подрост твой Лешка.

Я не отвечаю на твои письма, но почему ты не едешь? Я рассказал бы тебе, как прошла моя первая зрелая осень: путина на Голодае, как подошла новая осень. Той осенью я уходил в армию. И тогда же пережил горе. Даже при самом страшно для меня — отъезде из Куряники Аннушки, — у меня не было такого горя. Если бы мог ты понять это, отец!

Помер Дмитрий Сергеевич Струев. Старое фронтное ранение в позвоночник расправилось с ним неожиданно и зло: вдруг сделал его недвижимым, жили только глаза да слабый голос. Так пожегал три дня и помер.

Перед его кончиной приехал к нему Семен Владимирович Максимов. Я уже знал, что они были большие друзья. Теперь они сидели (Дмитрий Сергеевич велел посадить его) — Струев в подушках на кровати, Максимов около нее в кресле — и говорили почти без слов.

— Приехал? — чуть слышно прошептал Струев.
— В гости приехал, Сергееч. Новостях, как говорится.

Струев, кажется, улыбнулся глазами.

— Спасибо.

— Ты приляг, Сергееч.

Глаза Струева протестующе потемнели.

— Ну надо, сиди... Ничего, скоро встанешь и пойдешь олять. Врачи, они живо на ноги поставят.

Олять протест в живых блестящих глазах. Едва слышно прошелестело с губ Струева:

— Чудес и они не делают, Дмитрий. — Он глазами же велел Максиму приблизиться и зашептал ему в ухо: — Сын у меня... школу прошел, выучился, парень неплохой будто. Подмогите ему в случае чего... — Потом едва различимо, по губам я понял: — И Алексею... Молодой он, горячий...

— Будь спокоен, Сергееч. Это уж, как говорится, закон.

Тимофей оончил школу председателей колхозов, с весны работал заместителем и партгором.

С приездом Тимофея и Тони, отец, я снова перебрался в нашу избу. Но когда случилось такое с Дмитрием Сергеевичем, был около него до последней минуты. Не мог уйти.

Струев так и помер сидел. За несколько минут до смерти попросил:

— Не ложите меня. Хочу на вас смотреть, а не в потолок.

Я провожал Максимова до пристани. И впервые после детских раздумий над судьбой одинокой елки, проходя сейчас мимо, заметил рядом с нею с десяток крошечных елочек. Они прогнулись упругими верхинками сквозь многогодовую прель хвою, и маленькая полянка ожила. Ни зимний северко, ни лютые морозы, ни твое, отец, разгулье с топором — ничто не смогло противостоять их жизни!

На пристани Семен Владимирович крепко сжал мне руку и памятно сказал:

— Жил, Алеша, на свете человек, много сделал он доброго. Когда уходит такой человек, он добро людям передает. Из того добра снова много родится доброго. Ты понял меня, Алексей?

Я только головой кивнул. Слова тут, по-моему, ни при чем. А Максимос еще добавил:

— Для своей koristi он и пальцем не шевельнул. Человек был, как говорится...

За неделю до моего отъезда в армию я решился наконец сказать Аннушке то, ради чего, мне казалось, и жил все последнее время.

Ранний вечер спустился в Курянирку. Первый снег, еще не тронутой ни сапогом, ни копытом, выстал перед нами улицу. Радостно и тревожно пахло свежестью. Мы шли с Аннушкой домой, это вошло у нас в привычку — ждать друг дружку после работы на углу школы.

— Ну вот... Через неделю в часть, — вздохнул я. — Да, я знаю, — подтвердила Аннушка грустно. Я схватил ее руки. Озноб бил меня, даже волосы под шапкой шевельнулись, когда выговорил наконец впервые в своей жизни:

— Аннушка... Люблю... Я люблю тебя, Аннушка!

— Да, я знаю, — снова подтвердила она. И этот голос потряс меня. Но мне все было мало.

— Аннушка! А ты?

— Не надо говорить об этом, Алеша, не надо... Прощу.

Мы стояли посреди улицы. Народ шел с работы, в магазинах, но мы были совсем одни. Я продолжал жать ее руки, и она не отнимала их.

И вдруг как молотом по голове:

— Завтра я уезжаю, Алеша.

— Куда? Почему?!

— Год моей практики прошел. Теперь поступила в медицинский. Я ведь после фельдшерской школы.

На врача буду учиться!

— Я опоздала, экстерном сдала, вне конкурса приняла. Вот смотри.

Она показала вызов в институт. Да, черным по белому: «Явиться к двадцать пятому октября».

— Как же теперь?

— Но и ты уезжаешь, Алеша!

— Это невозможно, Аннушка: ты не вернешься обратно в нашу Курянирку... Я вернусь, а ты... Ты не вернешься!

В тот вечер я впервые увидел ее комнату. Все в ней было похоже на Аннушку. Все белое, строгое, страшно и прикоснуться. И мы ни к чему не прикоснулись и ничего не тронули. Мы даже не поцеловались в комнате. Только в сенях жаркие Аннушкины губы ожгли мое лицо.

Как долго мы не могли разойтись! Я совсем было заморозил ее.

— Иди, милый, Пора.
— До завтра, Аннушка.
— До завтра, милый.

Еще в больнице я снова стал писать стихи, отец. Бывало, уйдет Аннушка — тут стихи и одолелот меня, только успевай записывать.

Вот и теперь. Шел я от Аннушки, окруженный стихами, как падающими, сверкающими, казалось мне, снежинками. И, как снежинки, возникали и исчезали строчки. А домой пришел — остаток ночи просидел над тетрадкой, и вот что написалося к утру:

Сердце, что ты дашь перебор?
Все тоскуешь по нежности рук?
Сердце, сердце, да что с тобой?
Что с тобой случилось вдруг?

В омут больше — шалишь — не втянешь!
Думка нынче уже не та...
Неужели ты, сердце, останешь?
Неужели уйдешь с поста?

Звезды мимо, все мимо окон...
А одна и ко мне в окно.
Только очень до ней далеко...
Но схвачу ее все равно!

А утром мне принесли письмо. Она писала: «Я уеду ночью в город с полутным катером. Не сердись, Алеша, так лучше: я боюсь и себя и тебя, милый. Потому что я люблю, очень тебя люблю!»

Что еще было со мной, отец? Служба в армии тебе известна лучше, чем мне теперь, после трех лет, которые я провел на границе. Вспоминать ли о том, как вернулся я в Курянирку, или о том, как новый председатель колхоза, Тимофей Дмитрич Струев, в ту же осень направил меня на двухгодичные курсы техников добычи рыбы? Два года моей учебы — это последние годы институтской жизни Аннушки в том же городе. Надо ли говорить, на что я надеюсь? Она получила направление в нашу курянирскую больницу. Скоро приедет.

Может быть, напрасно я не отвечал на твои письма? Наверное, это несправедливо. Ведь вокруг тебя тоже живые люди. Разве мог ты остаться прежним, отец? Выходит, если не верить в тебя, значит, не верить в людей! Для меня это уже невозможно, кажется.

Сейчас опять весна. Наш катерок носит меня по Двине по-прежнему. Только при низовом ветре боюсь Голодаевского переката: корпус не тот. Пора заводить катер посылнее. Новая работа уже не по силам старому катеру — помощнику браконьеров: колхозники мне всю добычу рыбы доверили.

Вчера проезжал гусял Загладельса. Сколько там, отец, скопилось гусял! Загладельса, и вспомнилось все. И хотя Шарик уже не привиделся так ярко, с такой болью, как прежде, когда, годов пять назад, я охотился здесь без тебя, но словно тень от него еще возникла в памяти. И обожгла...

Архангельск.





Булат Окуджава

В городском саду

Круглы у радости глаза, и велики—
у страха,
и пять морщинок на челе
от праздности и обид...
Но вышел тихий дирижер,
но заиграли Баха,
и все затихло, улеглось и обрело
свой вид.

Все встало на свои места,
едва сыграли Баха...
Когда бы не было надежд —
на черта белый свет?
К чему вино, кино, пшено,
квитанции Госстраха
и вам — ботинки первый сорт,
которым сносу нет?

«Не все ль равно: какой земли
касаются подошвы?
Не все ль равно: какой улов
из воды несет рыбак?»

Не все ль равно: вернешься цел
или в бою падешь ты,
и руку кто подаст в беде —
товарищ или враг?..»

О, чтобы было все не так,
чтоб все иначе было,
наверно, именно затем,
наверно, потому
играет будничным оркестр
привычно и вполсилы,
а мы так трудно и легко
все тнемся к нему.

Ах музыкант, мой музыкант!
Играешь, да не знаешь,
что нет печальных, и больных,
и виноватых нет,
когда в прокуренных руках
так просто ты сжимаешь,
ах музыкант, мой музыкант,
черешневый кларнет!

Дорога

Дорога,
слишком дорого берешь,
Не забывая про долг.
Когда вернешь?

...Молчит дорога, лишь июль печет,
да пыль седая по ногам течет,
да черный грач на стоге золотом
сидит, как царь, с полуоткрытым
ртом.
Грачинный царь — корона на башке
да пятнышко седое на брюшке.

Знать, и ему дорога дорога...
А может, и не царь он, а слуга?
Почем дорога?..
Разве хватит ног,
чтоб уплатить?
А сколько их, дорог!
Бегут дороги, да цена красна.
Пуста-пуста грачинная казна.
Бегут дороги. Пыль по ним метет,
и всяк по ним задумчиво идет:
и царь, и раб, и плотник, и поэт...
Идут-идут.
Назад возврата нет.

Храмұли

Храмұли — серая рыбка с белым
брюшком.
А хвост у нее, как у кильки,
а нос — пирожком.
И чудится мне, словно
брови ее взметены,
и к сердцу ее
все на свете крючки сведены.
Но если взглядеться в извилины
жесткого дна,—
счастливой подковою там
шевелится она.
Но если всмотреться в движение
чистой струи,—

она как обрывок еще не умолкшей
струны.
И если внимательно вслушаться,
оторопев,—
у песни бегущей воды
эта рыбка — припев.
Потоньше, потоньше колите на
кухне дрова,
такие же тонкие, словно признаний
слова.
На блюде простом пересыпана
приной травой,
лежит и кивает она голубой
головой.

И нужно достойно и тонко ее
оценить,
как будто бы первой любовью себя
осенить.
Представьте, она понимает
призвание свое:
веселые, шумные пиршества —
не для нее,

ей клятвы смешны,
с позолотой вилки смешны,
ей теплые пальцы и тихие губы
нужны,
ее не едят, а смакуют в вечерней
тиши,
как будто беседуют с ней
о спасенье души.

Черный мессер

Вот уже который месяц
и уже который год
прилетает Черный мессер,
спать спокойно не дает.
Он в окно мое влетает,
он по комнате кружит,
он, как старый шмель, рыдает,
мухой пойманной жужжит.
Грустный летчик, как курортник,
его темные очки
прикрывают, как намордник,
его томные зрачки.
Каждый вечер, каждый вечер
у меня штурвал в руке —
я лечу ему навстречу

в довоенном «ястребке».
Каждый вечер в лунном свете
торжествует мощь моя:
я, наверное, бессмертен:
он сдается, а не я,
он пробоннами мечен,
он сгорает, подожжен...
Но приходит новый вечер,
и опять кружится он,
и опять я вылетаю,
побеждаю,
и опять
вылетаю,
побеждаю...
Сколько ж можно побеждать?!



Вот я, убитый, падаю у бережка,
вот в небе зорька майская сгорает,
трубач трубу подкидывает
бережно
и вдохновенно так
играет.

Орудия остыли, рты отгикали,
до тех, что живы, полтора квартала...

Неужто лишь одной моей погибели
войне,
чтоб стихнуть,
не хватало?!
Так что ж я не погиб тогда,
вначале,
когда и пули не были слышны?
Ах, скольких мы б сейчас
перевенчали,
а может, вовсе не было б войны!



То падая, то снова нарастая,
как маленький кораблик на волне,
густую грусть шарманка городская
из глубины двора дарила мне.
И вот, уже от слез на волосок,
я слышала вдруг,
как раздавался четкий,
свихнувшейся какой-то
потки
веселый и счастливый голосок.
Пускай охватывает нас смятением

несоответствие
мехов тугих,
но перед наводнением смертельным
все хочет жить.
И нету правд других.
Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
..Сто раз я нажимал курок
винтовки,
а вылетали только соловьи.

Песенка о художнике Пиросмани

Николаю Грицкову

Что происходит с нами,
когда мы смотрим сны?
Художник Пиросмани
выходит из стены,

из рамок примитивных,
из всякой суеты
и продает картины
за порцию еды.

Худы его колени
и насторожен взгляд,
но сытые олени
с картин его глядят,

красотка Маргарита
в траве густой лежит,
а грудь ее открыта —
там родинка дрожит.

И вся земля ликует,
пирует и поет,
и он ее рисует
и Маргариту ждет.

Он жизнь любил не скупо,
как видно по всему...
Но не хватало супа
на всей земле
ему.

✱

Ю. Домбровскому

Срываю красные цветы,
они стоят на слабых ножках.
Они звенят, как сабли в ножнах,
и пропадают, как следы...
О эти красные цветы!
Я от земли их отрываю.
Они, как красные трамваи
среди полдневной суеты.
Тесны их задние площадки —
там — две пчелы, как две пилы,
жужжат, добры и беспощадны,
забившись в темные углы.
Две женщины на тонких лапках.
У них кошечки в новых латках,
но взгляды слишком старомодны,
и помыслы их так чисты!..
О эти красные цветы!
Их стебель почему-то колет.
Они как тот глоток воды,
который почему-то пролит.
Они как шапочки жокеев,
приникших к конским головам.
Они как тапочки лакеев,
подносы подносящих нам.

Они как красные быки
идут толпою к водопою,
у каждого над головою
рога сомкнулись, как венки...
Они прекрасны, как полки,
остры их красные штucky,
мундиры выстираны к бою,
у командира в кулаке —
цветок на тонком стебельке,
он машет им перед собою...
Качается цветок в руке,
как память о живом быке,
как память о самом цветке,
как памятник поре походной,
как монумент пчеле безродной,
той
благородной,
старомодной,
летать привыкшей налегке...
Срываю красные цветы.
Они еще покуда живы.
Движения мои учтивы,
решения неторопливы,
и помыслы мои
чисты.

Франсуа Вийон

Пока земля еще вертится, пока еще
ярок свет,
господи, дай же ты каждому,
чего у него нет:
мудрому дай голову, трусливому дай
коня,
дай счастливому денег...
И не забудь про меня.

Пока земля еще вертится, — господи,
твоя власть! —
дай рвущемуся к власти
навластвовать влады,
дай передышку щедрому,
хоть до исхода дня,
Кайну дай раскаяние...
И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь,
я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он
проживаает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам
твоим,
как веруем и мы сами, не ведая,
что творим!

Господи мой боже, зеленоглазый
мой!
Пока земля еще вертится, и это ей
странно самой,
пока еще ей хватает времени и огня,
дай же ты всем понемногу...
И не забудь про меня.



Феликс КУЗНЕЦОВ

ГРАЖДАНИН или МЕЩАНИН?

ЗА «ДЫМКОЙ...»

«**К**арктический роман» Владлена Авчишкина («Нева», №№ 4—6 за 1964 год) начинается элегически: «Прошлое всегда подернуто дымкой грусти, прошлое всегда похоже на песню». Роман делится на главы и подглавки: «Страшнее смерти», «Медный дьявол», «Можно — я вас поцелую?», «Спасибо тебе... друг!», «За что ты убила его?»...

Есть глава «Когда бьют в спину, это всегда неожиданно» — о культе личности: «Жизнь ударила его в спину. Романов не упал, но в душе сделалось черно».

Есть главы о столь же черной ревности: «Теперь Дудник сорвал с нее все, что она успела надеть. Он держал ее голову между ногами, бил ладонью наотмашь ниже спины. Одной рукой закрывал рот... Другой бил. Бил долго, старательно. Бил до тех пор, пока место, по которому бил, не опухло, ладонь заболела».

Есть философия любви: «Все мы немножко скоты перед супружеской верностью — дети Земли... Но ты ведь была не только женщина, а и мать моих детей».

Есть и сама любовь: «С ней что-то происходило. Она старалась делать Романову только приятное. — Романов, я хочу на руки».

Намечавшиеся морщинки вокруг ее глаз исчезли. Рая смотрела глазами Алютки и Юрки, молодой, зовущей женщины — и присела и требовала... Она обняла Романова за шею и губами прижалась к губам. Романов осторожно подбросил ее. В ней было семьдесят пять килограммов».

Есть, наконец, страстное желание автора заставить нас поверить, будто герои его «Арктического романа» — новые люди.

В действительности же роман В. Авчишкина являет собой очередную, но первую в литературе попытку выдать дюжинного мещанина за положительного героя наших дней. Не надо думать, что делается это намеренно. Истоки такого вот «обратного эффекта» — в низком уровне нравственных критериев, в недостатке вкуса, культуры и писательского мастерства. По этим причинам и возникает порой столь острый конфликт между авторским пониманием героя и читательским отношением к нему.

Владлену Авчишкину представляется, будто он поэтизирует своих героев: «Человек, который умеет решительно оттолкнуться от звезды и уйти в голубую даль, не страшась ничего, который может не щадить себя для единственной песни, никогда ничего не потеряет. Сокола и поэта любят люди; сокола и поэта не оставляет женщина...» Автор не ощущает, насколько пародийна подобная «поэзия».

Мы привыкли сопрягать пошлость в литературе только с «амурными» ситуациями. В действительности же безвкусицей и спекуляцией можно опошанить все: не только любовь, но и труд, высокие идеи. Чего стоит описание Авчишкиным жизни своего героя после ареста его отца в 1937 году! Чтобы прокормить семью, подросток рисует для продажи ковры. Самое важное здесь, что это за ковры: «Голая черноволосая красавица с куском белого шелка, облегавшего ее поперек талии, полулежит в чаше с ковром, сладострастно закатив большие, как у коровы, голубые глаза». Сладострастные рисованные красавицы, утверждает автор, вполне кормили бы мальчугана, если бы не пристыдил его (дежурный для таких произведений) дед Сурмак, голова которого, «прикрытая замусоленной буденовкой, вздрагивала, толстые жилы на красной шее были натянуты, как струны».

Драматические обстоятельства культа личности дают автору материал для самых неожиданных построений. Даже отпетого пошляка Дудника — того самого, который бил изменившую ему жену, — В. Авчишкин представляет нам как «жертву культа личности». Дудник пошел по дурной стезе, потому что когда-то его не приняли в комсомол (а в комсомол его не приняли потому, что был в оккупации). «Михаил Дудник перестал сопротивляться обстоятельствам. Потерял веру в себя, в людей — записал».

Возмутительным кощунством звучит низкоробное ёрничество, когда речь идет о горе народном, ибо только мелкие конъюнктурщики, мещане до мозга костей могут превращать трагедию культа в модную тему.

Автор, конечно же, не собирался писать бульварный роман с поправками на «современность». По схеме своего поведения, по поступкам, которые называет автор героям, они — Авчишкин верит в

это — хорошие, правдивые люди. Но ведь, помимо того, что герои совершают необходимые по сюжету поступки, они еще что-то чувствуют, как-то мыслят и говорят. Как?

«Я женщина — бабий век короток... В моей капле мольбы еще не угасла... Будешь кусать локти — будет поздно... Дети отвернутся от тебя, когда ты возвратишься на материк, — я постараюсь все сделать для этого... Выбери!» — угрожает Романову жена, требуя, чтобы он вернулся в Москву.

И как бы после этого ни убеждал нас автор, что «Раецкая... Рая... Ранса Ефимовна» (название одной из глав) — хороший и интересный, незаурядный человек, трудно отделаться от ощущения, что перед нами обыкновенная, а точнее, воинствующая мешанка.

Собственно, всякая пошлость — проявление психологии обывателя. Вот почему вопрос о качестве художественных произведений, о высоте и точности нравственно-эстетических критериев приобретает в наш век особенно острый идеологический характер. Общеизвестно, что этика и эстетика неразрывны в искусстве. Беспомощное, слабое в художественном отношении произведение отнюдь не безобидно. Оно всегда приносит опутанный идеологический вред: снижает нравственные критерии, утверждает пошлость и примитивность чувств, духовную бедность и убожество как норму жизни советского человека. Иными словами, оно способствует воспитанию мешанки.

Мешанство имеет не только свои нормы быта и поведения, оно имеет свою «эстетику». Оно вызвало к жизни в свое время поток бульварной литературы. И в наше время, к сожалению, на страницах иных журналов, как в данном случае, в журнале «Нева», печатаются откровенно мешанские произведения. Разумеется, речь не о том, будто автор каждого неудачного произведения исповедует мешанскую мораль. Речь о другом: всякая примитивизация, упрощенность, оплошность человеческих чувств — от недостатка ли таланта, творческой неопытности, незрелости или обыкновенной неумелости объективно утверждает в жизни мешанскую эстетику и мораль.

ЧИТАТЕЛЬ СПОРТ С ПИСАТЕЛЕМ

«**«**братный эффект» как результат бесталанности или безвкусицы — очевидный для всех пример искажения нравственно-эстетических критериев. Но такие произведения, как правило, уже за пределами литературы.»

Роман Николая Деметьева «Замужество Татьяны Беловой» («Роман-газета» № 5 за 1964 год) принадлежит перу прозаика достаточно известного, одаренного, которого не упрекнешь в отсутствии вкуса и литературной неумелости. Роман написан от лица молодой женщины Татьяны Беловой, которая казнит себя за то, что уступила по внутренней слабости мешанским представлениям о жизни.

В своем предисловии к роману писатель С. Баруздин оценивает его как «одно из примечательнейших явлений нашей современной советской литературы», утверждает, что роман «станет для многих хорошим советчиком и другом при выборе жизненного пути».

«Полоте, так ли это? — задает С. Баруздину вопрос в своем письме в редакцию читательница А. Барчугова из г. Горького. — К своей героине автор относится с явной симпатией: она такая красивая, молодая, здоровая, и всякое дело не отбивается у нее

от рук. С. Баруздин говорит о ней: «незаурядный человек». В чем же ее незаурядность? Татьяна Белова любит все легкое и праздничное, то, что дается без труда. И встала перед ней «сложнейшая» проблема: как выбрать мужа? Один красивый, талантлив, обаятельный, любви, но у него нет квартиры, и ходит он в потертом плаще. Другой — обстоятельный, в дорогом пальто, с просторной, хорошо обставленной квартирой. «Сложная, противоречивая» Татьяна выбирает обстоятельного Анатолия, а потом оказывается, что она жестоко просчиталась: Олег стал и кандидатом наук, и докторскую пишет, и квартиру получил, да еще, того и гляди, академиком станет. И вот поглядывает на него издали Татьяна и горько сожалеет о своем промахе (не о том, что она предала любимого в трудный для него период напряженных исканий! Эти чувства ей недоступны). Так что же поучительного и даже современного в этом образе? Не мелок ли и не примитивен ли он?»

В этом споре с писателем правда, мне думается, на стороне читателя.

Не потому, что в истории замужества Татьяны Беловой нет ничего поучительного или современного — к сожалению, она еще достаточно современна. Несовременна авторская позиция, тот нравственный идеал, который в итоге — хочет автор или не хочет — утверждается в книге. Нет-нет, в романе сказаны все нужные слова: о любви, о долге, о честности, о революционных традициях. И ошибка Татьяны Беловой получила в романе решительное осуждение. Сурово судит себя прежде всего Татьяна. Но с каких позиций? Читательница А. Барчугова права — с позиций эгоистических и обывательских: «Татьяне горько и обидно, что она «просчиталась». Перечислив для себя все успехи Олега, Татьяна с болью восклицает: «Какую жизнь, какую по-настоящему интересную, полную, яркую жизнь я потеряла!»

Неудача романа «Замужество Татьяны Беловой» — в низком уровне требовательности автора к своим героям... Писатель облачает обывательщину через саморазоблачение Татьяны и не замечает, что героиня судит себя исходя из тех же мешанских представлений о жизни, только более уточненных.

«ВСЕ-ТАКИ ВОЗВЫШАЕТ...»

Облачение мешанки с обывательских позиций — явление в литературе нередкое. Истоки его — в неясности положительного нравственного идеала, в нечеткости писательских представлений о тех духовных водоразделах, которые идут в современной действительности.

Борьба новой морали с мизосозерцанием мешанки — главная, ведущая коллизия нашей эпохи, если понимать мешанство не упрощенно, но так, как понимаем это социальное явление Горький и Ленин. Они называли мешанством психологию и нравственность стяжателя, собственника, мелкого буржуа. Преодоление мешанской психологии сегодня — одно из главных направлений идеологической борьбы.

Литература последних лет сказала нам многое о современном облаче мешанца, о его искусной и тонкой маскировке, изощреннейшей мимикрии, с помощью которой он с упорством обреченного пытается приспособиться к социалистическим устоям жизни. Много, но не все. И, в частности, литература пока еще поверхностно осмыслила то качество мешанской

психологии, о котором К. Симонов сказал однажды так: «Свином мещанства — бездействием». В этих словах обозначен тот главный водораздел, который отделяет мещанина от гражданина, — общественные убеждения. Не спекулятивная подделка под них (чего у мещанина вполне достаточно), но выстраданные, вымощенные, через сердце и ум пропущенные принципы и убеждения.

Идейность, подлинная, ленинская идейность — вот главный нравственный критерий современного человека и вместе с тем единственно возможная позиция для действительной борьбы с философией мещанства.

В одной из своих статей критик В. Бушин с чувством солидарности (бышает и так!) процитировал Юрия Казакова: «...я верю в воспитательную силу литературы. И думаю, что писатель, всю жизнь свою проповедующий добро, правду и красоту в человеке, все-таки вызывает нравственные качества своих современников». В. Бушин, по-видимому, не заметил у Ю. Казакова этой красноречивой оговорки: «все-таки вызывает...» А она выразительна. Ю. Казаков спорит здесь с теми устаревшими ныне, упрощенно-утилитарными, прямолинейными представлениями об искусстве, по логике которых Пришвина оказывался за пределами социалистического реализма, а нитимная лирика, поэзия любви и красоты третировалась как бездейная. Так вот, литература, проповедующая добро и красоту, все-таки помогает воспитанию человека, вталкивает Казаков своим возможным оппонентам. И в этом он прав. Но в его мысли — только часть правды. Конечно же, писатель, всю жизнь свою проповедующий добро, правду и красоту, все-таки вызывает нравственные качества своих современников. Но в полном смысле, без оговорок «все-таки», нравственные качества людей вызывает лишь тот писатель, который не только проповедует правду, добро и красоту, но и помогает современникам искать реальные пути борьбы за их торжество. Кстати, именно этого — позитивной и активной гражданственности — лично мне и не хватает во многих рассказах Казакова, одного из наиболее талантливых и гуманных наших прозаиков.

На мой взгляд, нет явной положительной программы действий пока что и у главного героя нового романа В. Аксенова «Пора, мой друг, пора...», хотя по своей ведущей тенденции это произведение остро гражданское. Речь в нем идет о реальной опасности, угрожающей тем молодым, которые живут бездумно, — об опасности обывательщины. Эта опасность олицетворяется в характере «супермена» Олега, «сильной личности», который вышел в жизнь, чтобы «добиться своего» — «бита передал мне кое-что, свою силу и хватку». Его бездумность обволакивает мягкого и доброго Князюку и даже героиню романа Танию. Характеристики «супермена» Олега и в особенности Князюку вполне достоверные и типические. В них удача Аксенова, главный успех романа. А вот Валентин Марнич — характер расплывчатый, неопределенный. Он пасует, по сути дела, перед агрессивностью Олега. Почему? Марнич замыслен добрым, порядочным, честным, устремленным к высокому человеком. Но его устремления к высокому чрезвычайно общи. Пока что он пришел лишь «к каким-то элементарным понятиям, к самым первым ценностям — к верности, жалости, долгу, честности...» Это хорошо, но этого мало для борьбы с таким противником, как Олег. Да этой борьбы практически и нет в романе: Марнич устранился, бежит от нее. Честность, порядочность, благородство несовместимы с психологией обывателя. Это необходимые качества нового человека. Необходимые, во, к

сожалению, недостаточные, чтобы противостоять напору бездумной, эгоистической агрессивности мещанства, чтобы стать прочной основой целустремленной и цельной человеческой личности. Для этого нужно нечто большее: цемент собственных гражданских, общественных убеждений. Добра и порядочности, не проникнутые цельными гражданскими убеждениями, — еще не тот материал, на котором может быть замешан характер подлинного героя наших дней.

Вот почему мне представляется ограниченной проповедь добра, правды и красоты, если высокие идеалы эти не наполнены революционной идейностью; мне кажутся узкими позиции тех, кто пытается противопоставить обывателю не более чем личную порядочность.

Строго говоря, вести бой с мещанской моралью с позиций абстрактных представлений о добре и зле — значит оставаться в пределах того ветхого, прекрасного миросозерцания, которое давно уже распалось в своей полной беспомощности изменить и переделать мир.

ПРОСТЫЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Наш гуманизм, и в этом его принципиальное отличие от прекраснотворных схем домарковской абстрактной общечеловечности, — гуманизм борьбы, революционного действия. «Если характер человека создается обстоятельствами», — писал К. Маркс и Ф. Энгельс, — то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеческими». Вот почему человечность в нашем понимании включает в себя и неважность — «неугасаемую неважность к мещанству, к власти капиталистов... ко всему, что заставляет страдать, кто живет на страданиях сотен миллионов людей» (М. Горький). В условиях напряженнейшей борьбы идеологий нельзя об этом забывать.

Но мы не имеем права и догматически обуживать, упрощать, примитивизировать ленинское понимание гуманизма, ленинского понимание нравственности.

Наш гуманизм и наша нравственность — ответ тем, кто обвиняет социализм в бездумности, кто клеймит человечество и самыми высокими нормами общественной морали, а в действительности протестует их. «Простые нормы нравственности и справедливости, которые при господстве эксплуататоров уродовались или бесстыдно попирались, коммунизм делает нерушимыми жизненными правилами как в отношениях между отдельными лицами, так и в отношениях между народами. Коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальными гнетом и нравственными пороками», — записано в новой Программе КПСС.

Программа партии восстановила в правах непустую диалектику истинно ленинского понимания коммунистической нравственности.

Идеология культа личности пыталась ревизовать основы ленинского гуманизма, ленинского понимания революционной морали. Эти искажения основ ленинского гуманизма не могли приостановить формирование нового человека, но тем не менее нанесли духовной жизни нашего общества беспорядный ущерб.

В своей повести «На Иртыше», представляющей одно из самых значительных явлений литературы последних лет, С. Залыгин раскрыл нам истоки тех

правственных бед, которые привнес в нашу жизнь культ личности. Быть может, самым печальным здесь являются характеры и психология тех, кто вершил несправедливость, тех, кто раскулачивал крестьянина-середняка, настоящего русского мужика Степана Чаузова.

Несправедливость с Чаузовым творили убежденные, честные люди, взявшие на веру то, что говорилось в ту пору, свято убежденные, что делают несправедливость ради «чистоты» идеологии: «И ничто-то ее не замутит, ни сориночки в ней нету! Будто слеза ребячья... Вот какую мы пышце создаем идеологию!»

Люди эти не понимали, что чистота подобной «идеологии» искусственно дистиллирована, что, будучи очищена от человечности, справедливости, правды, революционной доброты, она перестает быть ленинской идеологией.

Митя-упокоенный знает, что Чаузов — «кулак ненастоящий». Но искренне верит, что, нарушая справедливость в отношении него, он ведет борьбу «за светлое будущее». «Ваши слезы — последние слезы. Может быть, еще пройдет лет пять — потом классовой борьбы у нас не будет, установится полная справедливость. И слез не будет уже. Никогда!»

Революция и классовая борьба, по убеждению субъективно честного и чистого человека Мити, оправдывают несправедливость, творимую с Чаузовым. «Лес рубят — щепки летят», — произносит он сакраментальную фразу. Повесть С. Залмыгина свидетельствует, как уже в самом начале 30-х годов зарождалось свойственное идеологии культа личности противопоставление революционности и нравственности, начавшее отчуждение справедливости, человечности, доброты от революционной идеологии. Культ личности пытался утвердить в нашей действительности несвойственное ей догматическое, мимо революционное, ингибиторское отношение к морали.

Вспомним, как третируются в те недоброй памяти времена общечеловеческие моральные нормы, о которых с таким уважением говорится в Программе КПСС. Это в ту пору слова: совесть, человечность, доброта — начали писать в кавычках. Привычка эта у некоторых литераторов сохраняется и до сих пор. Совсем недавно, рецензируя «Эхо войны» А. Калинин, В. Кочетов говорил: «Представляю, что бы на таком жизненном материале могли навостривать проповедники «общечеловечности» в литературе и искусстве... Наговорили бы о «гуманизме», о «человеческой «доброте»... А мы, пока мир разделен на двое, не просто люди и человеки, мы все принадлежим к тому или иному классу...»

Классовость морали — бесспорная истина, хотя на разных этапах развития общества и это качество проявляется по-разному, наполняясь новым жизненным содержанием. Надо спорить и с проповедниками абстрактной «общечеловечности». Но зачем при этом такие великие слова, как гуманизм и доброта, заключать в уничтожающие кавычки?

Преобразование к общечеловеческим моральным нормам приводило к тому, что мы отдавали их на предмет спекуляции нашим противникам. Мы обediaли самих себя, искажали ленинские гуманистические критерии. В жизнь (а следовательно, и в литературу) входил известный принцип отношения к человеку по его деловым и политическим качествам. Ну, а его нравственные качества? Его доброта, справедливость, чуткость, сердечность, порядочность? О, как необходимы были людям в то неадекватное время и как трудно давались кое-кому эти, казалось бы, такие простые человеческие добродетели!

...Когда-то, лет двенадцать назад, в должности фельдтолиста «Крокодила» я приехал в отдаленный колхоз Вологодской области. Он располагался чуть не в сотне километров от районного центра и был настолько глухим, что последние километры по просеку, пробивающему путь в таежном густом, мне пришлось идти пешком. — Даже бездорожье-газники» не пробивались по этой вязкой грязи. Колхоз этот был маленьким государством в государстве: районное начальство почти никогда не заглядывало сюда. Я ехал по письму, написанному неузнаваемым детским почерком на листке бумаги, вырванном из тетрадки в костюмную лямку, — это была моя первая журналистская командировка, моя первая студенческая практика. В письме девочки-школьницы рассказывалась вещь страшная. И все, что говорилось в нем, оказалось правдой: председатель этого колхоза Улитин систематически избивал своих колхозников. А так как в колхозе в ту пору работали в основном женщины и дети, он избивал женщин и детей. Улитин установил в своей вилке абсолютный произвол и руководил колхозом буквально с помощью кулака. За день до моего приезда он избил в кровь четырнадцатилетнего мальчонку за то, что тот после ночной борьбы отказался утром пасти телят.

С удивлением и ужасом я рассматривал Улитина — испитого мужчину в валенках с галошами, которые он носил в жаркую летнюю пору, слушал его жалобы на здоровье, его злобное бормотание: «расписывать людей нельзя», «народ надо держать в узде». Пытался объяснить ему всю чудовищность его поведения, навню полагая, что слово двадцатилетнего студента дойдет до сердца этого убежденного-бессердечного человека. А потом пешком отправился в районспокоем, чтобы рассказать там обо всем, что узнал и увидел. И вот тут-то меня ждало самое серьезное испытание. Терпеливо выслаушал мою торопливую, горестную исповедь, председатель райисполкома — он был наголо обрит и одет в зеленый френч с отложным воротничком и зеленые галфе — покачал головой и сказал:

— Это, конечно, беспорядок — руки в ход пускать, — мы ему сделаем замечание. Но прошу учесть, — тут голос его приобрел металлический оттенок, — товарищ Улитин — лучший председатель в моем районе, его портрет на доске передовиков. Вот и этой весной он первым отсыесял и, я уверен, первым вывезет хлеб государство.

И я понял, что мои волнения, мое возмущение поведением «товарища» Улитина от него очень далеки. Он живет в другом мире, у него совсем иные представления о жизни, о своих обязательствах перед ней. Главным и исчерпывающим в его отношении к Улитину было вот это: колхоз, руководимый товарищем Улитиним, первым вывезет государство хлеб. А следовательно, и Улитин и он — Улитин в районе, он в области — по праву будут на доске передовиков.

Я вспоминаю Улитина и этого председателя райисполкома, когда читал рассказ А. Солженицына «Два ползых Дела». Рассказ о том, как обещечеловечивала людей идеология и практика культа личности. Секретарь обкома Кириллов в рассказе Солженицына — характер, отштампованный тем временем.

Вы помните суть рассказа. Студенты техникума, который ютятся в тесноте, своими руками построили себе новое здание. Для них это было деяние не узкопрактическое, не чисто хозяйственное, но нравственное. Вот почему столько студентов, таежым грузом легло на их души неожиданное решение местных властей: отнять новое здание техникума, построенное

руками студентов, и разместить в нем научно-исследовательский институт. Ни руководителю техникума, ни студентам, ни секретарю горкома партии Грачковым, настоящему коммунист-ленинцу, не видят действительной необходимости в таком решении. Они считают, что решение это — удар не только по интересам техникума, но прежде всего по душам ребят. Они перят, что секретарь обкома Кириозов поймет это. И вот они в кабинете руководителя области.

«Кириозов, дайте сюда за столом, выказывая свою старость. Долгая голова еще увышала его. Хотя бы он далеко не молод, отсутствие волос не старило его, но даже молодило. Он не делал ни одного лишнего движения, и кожа лица его тоже без надобности не двигалась, отчето лицо казалось олитым навсегда и не выражало мелких минутных переживаний. Размазанная улыбка расстроила бы это лицо, нарушила бы его законченность».

— Виктор Вавилович! — выговаривая все звуки полновысотой, сказал Грачков. Полулежачим голосом своим он как бы вперед склонил к мягкости и собеседника. — Я венадогю. Мы тут с директором — насчет здания электронного техникума. Приезжала московская комиссия, заявила, что здание передается НИИ. Это с вашего ведома?

Все так же глядя на Грачкова, а перед собой вперед, в те дали, которые видны были ему одному, он расставил губы лишь настолько, насколько это было нужно, и отрубисто ответил:

— Да.

И, собственно, разговор был окончен.

Да?

Да.

Кириозов гордился тем, что он никогда не отступал от сказанного. Как прежде в Москве слово Сталина, так в этой области еще и теперь слово Кириозова никогда не менялось и не отменялось. И хотя Сталина давно уже не было, Кириозов — был. Он был один из выдающихся представителей «волевой стали руководств» и усматривал в этом самую большую свою заслугу. Он не представляла себе, чтобы можно было руководить как-нибудь иначе».

Гротескная фигура Кириозова как бы впечатает собой в литературу последних лет галерею характеров, представляющих собой вот этот утвердившийся в недоброе старое времена «волевой стали руководства». В этой галерее руководителей подобного типа и председатель райисполкома Орлов в романе В. Фоминко «Память земли», и секретарь райкома Коробин в романе Е. Малышева «Войдя в каждый дом», и начальник энергосистемы Соковин в повести В. Тендрякова «Короткое замыкание». Общим для всех них является одно — бесчеловечность, бездушие. Таковы психологические последствия культа личности.

ОБАЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Маленькая повесть молодого читинского писателя В. Аппатова «Стрежень». Всего один характер, быть может, и не самый значительный в этой повести, но являющийся открытием писателя, характер, сквозь который просвечивает многое. Еще юная, почти девочка, только что окончившая десять классов и теперь работающая в рыболовецкой бригаде Виктория Перельгина. Совсем недавно она могла бы в ином, не очень вдумчивом произведении сыграть за «положительную» героиню времени. Иной, менее чуткий и тонкий писатель, не задумываясь, поставил бы Викторю в пример. Сильная, волевая, четкая, хорошо

знающая, чего она хочет, Виктория — решительный и, главное, принципиальный человек. У нее высокие цели, большие мечты.

«— Я думаю о жизни, Степан! Ты, конечно, поминишь слова Николая Островского о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

— Знаю, — говорит Степка, охваченный ее воодушевлением. — От этих слов мороз пробрает!

— Прекрасные слова! — восхищается Виктория. — Я была совсем маленькой, когда мама прочитала мне их. И я сразу запомнила. Ты знаешь, что она вымывает у меня? Желание идти по жизни гордо, решительно, добиться многого, стать большим человеком... Все пути открыты перед нами! Дело чести каждого — идти по жизни прямо!»

Вот она какая, Виктория! Она смеется над теми модами людьми, которые боятся жизни, теряются в ней, со страхом идут на производство. Виктория другая. Она добьется всего, чего захочет: будет хорошим врачом, может быть, защитит диссертацию и станет ученым. Упорства и воли у нее хватит.

Она пошла в рыболовецкую бригаду, чтобы отработать положенные два года и, получив необходимый документ, поступить в медицинский институт.

Чем же «положительная» героиня? Такой и представляется Виктория себе. Тем неюждавшей для нее приговор старого рыбака Истингя:

«— Не знаю, не знаю — врачом, пожалуй, не станешь. Нет, не станешь! Не дадим пока документа. Нет, не дадим! С первого класса тебе, Перельгина, придется начинать!»

Сейчас Викторин по-настоящему страшно, она бледнеет, замирает, ватными, непослушными губами шепчет:

— В какой первый класс...

— В первый класс жизни пойдешь... Жизнь тебя учить станет!»

Викторю Перельгину надо учить элементарному: доброте, чуткости, человечности. Именно эти качества человеческой природы, так необходимые в жизни сегодня, оказались у нее в абсолютно неразвитом, инфантильном состоянии.

Характер Викторин Перельгиной насколько поленичен. Он спорит с некоторыми книгами минувших лет.

«Мне кажется, большой недостаток изображения современного героя в литературе заключается в том, — говорил на XXII съезде КПСС А. Твардовский, — что показывают этого героя обычно более или менее правильными в поступках и суждениях, но он, носитель всех полагающихся ему добродетелей, нередко бывает лишен одного простого, но незаменимого качества — человеческого обаяния, обаяния щедрого сердца, доброты, благородства, любви к людям — всего того, что нас привлекает к любимым героям книг».

В практике художественного творчества искажение ленинских гуманистических критериев оборачивалось именно этим, — упрощенной однолинейностью характеров, крайней, обратной той, которую характер Марвича продемонстрировал В. Аксенов. (Кстати, то гипертрофированное внимание к общечеловеческим моральным нормам, о котором шла речь выше, — в известном смысле поленическая реакция молодых на подобную однолинейную догматическую упрощенность.) Казалось, будто человечность, доброта, чуткость, обаяние вовсе не обязательны для «положительного героя». Отзвук подобного пренебрежения к эмоциональной, нравственной характеристике героя все еще слышны порой в нашей литературе.

Собственно, говорить всерьез о таком произведении, как, к примеру, «Арктический роман», и приходится лишь потому, что оно закономерный, я бы сказал, концентрированный результат воинствующего пренебрежения к нравственно-эстетическим нормам в литературе. Автор обращается с ними предельно вольно. Один из ведущих героев романа, начальник Грузантского рудника Батурина, стареющий честолюбец «с умным лбом» и «властными, покоряющими глазами», — личность, если верить эмоциональному восприятию, просто отталкивающая. Он ведет себя на руднике, как настоящий самодур, коварный, жестокий, беспощадный ко всем, кто не держит перед ним «голову ниже пояса». Любим путем — обманом, подостью — он пытается сломить самостоятельность нового работника, инженера Романова, буквально издевается над молодым специалистом Афанасьевым. — За что вы выкручиваете руки Афанасьеву — выламываете у него все человеческое из души?.. Чтобы он... рабствовал перед нами? — спрашивает Батурина Романов.

Итак, разоблачение жестокого, бездушного, завладевшего самодура, пытающегося восстановить в своей епархии осужденные нравы культуры личности! Ничуть не бывало.

Оказывается, бездушное отношение Батурина к молодому инженеру Афанасьеву, которого он едва не довел до самоубийства, продиктовано... заботой о нем. Это отец Афанасьева, замминистра, просил друга революционной юности Батурина сделать из его сына человека: «Парень он неплохой, да ему не хватает твердости — уступчив, мягок и чувствителен». Беспощадность Батурина к Романову — такого же «воспитательного» характера: «Мы уходим по-прежнему, Костя, — пишет Батурина Афанасьеву старший, — Романовы приходят, дети становятся вродень, — надобно исподволь подтягивать их за уши для больших дел». Вот так философия! Да еще кощунственно вложенная в уста представителя ленинского, революционного поколения. Жестокостью, несправедливостью, оскорблениями и обидами искусственно вырабатывать в молодежи некую «твердость», вытравлять «мягкость» и «чувствительность», дабы «подтягивать их за уши для больших дел». И хотя автор на словах осуждает «перегибы» Батурина в реализации этой нелепой надуманной программы, сама она не вызывает у Аничкина и тени сомнения. Его Батурина лишен и следов «мягкости» и «чувствительности» — это бездушный, жестокий человек. И автор делает все, чтобы в конечном счете эмоционально оправдать его. Эта снисходительность к безданию, жестокости, к забвению элементарных нравственных норм противоречит духу нашего времени.

Литература последнего десятилетия в лучших своих произведениях — и это одно из важнейших современных ее качеств — последовательно спорит с любыми искажениями ленинской человечности. Она восстанавливает в правах духовные, нравственные человеческие ценности.

Ниланская «Жестокость» была одной из первых книг, воюющих с антиленинскими противопоставлениями революционного и нравственного.

Виктория Перемыгина из повести «Стрежень»

В. Липатова, начальник энергосистемы Соковиц из «Короткого замыкания» В. Тендрюкова, предрайонполкома Орлов из романа «Память земли» В. Фоменко, секретарь обкома Кнорозов, представляющий «волевым» стилем руководство в рассказе А. Солженицына «Для полных дел», — все эти характеры олицетворяют пренебрежение к доброте, человечности, чуткости, душевности, к высоким нравственным качествам человека. Кстати, именно здесь, в пренебрежении к нравственности, идеологии культа личности смыкалась с мелкобуржуазной, обывательской философией жизни. Игнорирование нравственного начала, свойственное идеологии культа личности, и давало возможность таким ответным людям, как Уваров или Быков (роман Ю. Бондарева «Тишина»), чувствовать себя в те времена уютно и уверенно.

Что такое Орлов в романе «Память земли» В. Фоменко или Коробин в романе «Войди в каждый дом» Е. Мамыцева? Руководители старого, «культового» типа? Или мешане, обыватели, думающие не об интересах дела, но о собственном кресле? И то и другое одновременно.

Дело в том, что идеология и практика культа личности находились в вопиющем противоречии с ленинскими основами нашей жизни. Эти основы жизни, основы нашего строя воспитывали в людях идейность, убежденность, человечность — подлинно гражданскую нравственность. Это и было гарантией, что общество наше не сойдет с ленинского пути. Идеология и практика культа личности с его противопоставлением слова и дела, с его игнорированием норм нравственности, с его недоверием к людям и подозрительностью убивали в слабых душах идейность, гражданственность, принципиальность, воспитывали в слабых людях общественный индифферентизм, двоедушие, карьеристские стремления и приспосабливаемость. Идеология и практика культа личности способствовали воспитанию мешанки. Об этом говорят нам сегодня характеры, подобные Орлову и Кнорозову... А ведь было время, когда подобные люди выдавались в иных произведениях советской литературы за положительных героев времени.

Одна из примечательных особенностей литературы последних лет — качественный рост ее нравственных, эстетических критериев. Атмосфера XX съезда партии побуждала нас многое пересмотреть в привычных представлениях о нравственном идеале человеческой личности. Собственно, сам факт столь резкого и глубокого поворота нашей литературы к проблемам нравственного, духовного мира человека — знамение нового времени.

Современный нравственно-эстетический идеал нашей литературы — революционный, коммунистический, ленинский идеал. Коммунистическая мораль формируется в борьбе с мелкобуржуазными концепциями нравственности, как мешанскими или абстрактно гуманистическими, так и догматическими, мнимо революционными. Она формируется в полемике с тем антигуманным отношением к человеку, которое утверждалось в жизни в пору культа личности. Это самая справедливая и самая разумная мораль, выражающая интересы и идеалы всего трудящегося человечества.



ИЗ ЛИРИКИ

Чтоб молодые помнили всегда

Чтоб молодые помнили всегда,
На камне б эту истину я высек:
Поэт (как математик или физик)
Себя находит в ранние года.

Потом он может на своем пути
И умирать и возрождаться снова,
Но первое сияющее слово
Он должен молодым произнести.

Всегда так было. Будет только так.
Талант в своей немислимой отваге

Идет вперед по белизне бумаги
В одну из многочисленных атак,

Строку выводит дерзкая рука,
Казалось, неумелого поэта,
А позже выясняется, что это
И есть его заветная строка.

Но если четверть века позади,
А ты еще не звонок и не ярок,
Еще не приготовил свой подарок,
То от тебя подарка и не жди.

✧

Опять, опять сидишь со мною рядом,
Опять рука в руке,
Но смотришь ты отсутствующим
взглядом,—
Вся где-то вдалеке.

«Где ты сейчас?» — А ты не
отвечаешь
На это ничего.

«Кто там с тобой?» — А ты не
замечаешь
Вопроса моего.

Вложу я в крик всю боль и всю
заботу,
Но мой напрасен зов.
Так, заблудившись, тщетно самолету
Кричат со дна лесов.

✧

От затемненного вокзала,
Рыдаешь сердце леденя,
Меня ты в бой не провожала,—
Ты и не знала про меня.

Там юность с юностью рассталась,
На плечи взяв тяжелый груз,—
Их связь недолгая распалась,
Как всякий временный союз.

В ту пору не было в помине
У нас ни жен и ни детей.
Мы, молодые, по равнине
Пошли сквозь тысячу смертей.

А жизнь текла... Срежь зимней дали,
Где скрип колодцев и дверей,
В мужья не нас девчонки ждали —
Тех, кто воротится скорей.

Еще в ночи владели нами
Воспоминания одни,
Но за встающими холмами
Иные виделись огни.

..Щекочет губы чье-то имя,
Лицо колышется сквозь дым...
Так расставались мы с одними,
А возвращались мы к другим.

✧

Как изнашивается платье,
Так с годами от суеты
Притупляется восприятие
Окружающей красоты.

На ветру, на холме высоком,
Ощущаю при блеске дня:
То, что раньше пронзало током,
Умиляет сейчас меня.

Западает сомненье в душу,
Что неправильно мы живем:

Там, где нужно смотреть и слушать,
Больше думаем о своем.

Я растерян, и я не знаю:
Неужели возможен час,
Где сама красота земная
Вообще не заденет нас?

Мне б дорогой пройти такою,
Чтоб в конце, погружаясь в сон,
Был, как в юности, потрясен
Далью, женщиною, строкою...



АГРЕССИВНОЕ НЕВЕЖЕСТВО

...Художник Владимир Машков увлечен искусствоведом Люсей Лебедевой. Когда она говорит с ним, глаза ее «туманятся», а голос звучит «мягко, нежно, даже тоскующе». Стоит ей взглянуть на него «обжигающим, лучистым взглядом» — он сам не свой.

Чтобы лучше узнать жизнь, Владимир едет в деревню. Там он знакомится с Валей — у нее «тихая, застенчивая улыбка», лицо залито «нежным румянцем». И вся она «быстрая, легкая, прозрачная». А как она поет!

«Валя стояла на широком свежем сосновом шве, обхватив руками гибкую жимолость, будто хотела прижать ее к своей груди, и пела. Голос ее, чистый и выразительный, вливался в душу Владимира волнующей свежестью». Все это не могло не задеть в душе Владимира «какие-то сокровенные струны, их несвеселый звон рождал воспоминания, в которых было нечто и приятное и грустное, что звало к уединению, к спокойным и неторопливым раздумьям».

Но раздумывает он не о Вале, а о Люсе, рвет цветы — «и цветы эти и всю прелесть природы ему хотелось отдать ей».

Что касается самой Люси, ей «грелась» то цветущее, соловьино-шаловное дачное Подмосковье, шумная теплыня московских вечеров, то маяющая лазурная даль еще нераскрытого южного моря».

Люся встречается с Владимиром, говорит «милым, щебечущим» голоском, но между ними стал другой художник — Борис Юлии. Владимир страшно переживает, играет на пианино «Аппассионату». «Это была именно та музыка, которая соответствовала его душевному состоянию. Она то успокаивала и сосредоточивала, то вдруг вспыхивала ураганом неистовых чувств».

Откуда все это? Из литературной пародии на старый меццанский, сердцешательный роман, из тех, что выпускались до революции для горничных? Нет, это пересказ романа-памфлета Ивана Шенцова «Тая»¹, произведения, как утверждает автор предисловия, «острого, актуального, глубоко партийного».

Любимое слово автора, одно из самых обиходных

его средств художественной выразительности, — «трепеть», «трепетание».

Владимир с Валей чувствует, «как в душе шевельнулось желание откликнуться на ее робкий трепет», она жмет ему руку «молчаливо-трепетным пожатием». От дыхания тучи «трепещут» деревья. Владимир, объяснившись с Люсей, «с трепетом опустил прикосновение ее рук».

Другая героиня романа даже не трепещет сама — она «кокетливо затрепетала ресницами».

Итак, обжигающие, лучистые взгляды, тоскующий голос, волнующая свежесть, сокровенные струны, маяющая лазурная даль, ураган неистовых чувств и сплошной трепет.

Владимир — художник, и, как настойчиво подчеркивает автор, хороший, талантливый художник. Стараюсь убедить читателя в художественной одаренности героя, автор то и дело описывает его картины, пересказывая их содержание своими словами. Вот как он изображает одну из картин:

«На холсте небольшого размера выписана светлая комната, похожая на мастерскую художника. И окно с баляеком и голубые плетевые гардины. Даже обои те же — светло-оранжевые, мягкие, без крика. Обстановка только другая. В одном углу — пыльная ветвистая пальма, в другом — письменный стол с красным сукном, за ним — пожелтая седоволосая женщина с лицом не столько строгим, сколько озлобленным. Напротив нее в глубоких кожаных креслах сидят юноша и девушка. Они, видно, волнуются, на лице юноши пылает румянец. Он сидит в профиль к зрителю, выражение его глаз можно читать по дрожанию длинных ресниц, беспокойные губы выдают волнение. В руках девушки живые цветы... Пухлый снег легким валиком лежит на перилах балкона. Он не тает на солнце, а лишь сверкает веселыми блестками. На столе перед пожилой женщиной — незапаванный блин, в ее руке застыло перо. Еще минута — и в жизни двух молодых людей свершится нечто очень важное, быть может, самое важное, и кажется, что женщина с седой в волосах спрашивает: «А вы хорошо подумали?»

Картина называлась «В згесе».

Друг Владимира внимательно всматривался в нее: «он хотел понять, что задело сокровенные струны

¹ Издательство «Советская Россия», Москва, 1964. Редактор — Д. А. Смирнов. Тираж — 100 000 экз.

его души» — те самые, уже знакомые нам «сокровенные струны».

Но будем вступать с Другом Владимира в спор, не ставем удивляться тому, как эта, судя по описанию, открыто дидактическая, агрессивно-мещанская картина могла его так разволновать. Продолжим «осмотр» картин Владимира.

Он уже задумал новое полотно — «Хозяйка земли». «На весенней пахоте солнечным утром, когда над землей струится тонкий пар, стоит парень-тракторист и девушка-агроном. Она, должно быть, делает ему внушение за какую-нибудь оплошность, так как в лице его и во всей фигуре виноватость. А вокруг — волнующий пейзаж, ядреное утро...»

Не ставем приводить описания других картин Владимира. Довольно и этих двух. Не будем судить о картинах по пересказам. Отметим одно — явственную перекачку между стилем автора («волнующая свежесть») и манерой художника Владимира: «волнующий пейзаж», «пылающий румянец», «дрожжащие ресницы», «преты и пышная пальма на зимнем фоне. Все та же литературщина, примозглость и самая немудреная иллюстративность: «сеять и хранить» протягивает руки навстречу будущему.

Однако, сказав о личной жизни Владимира и его картинах, мы все еще не дошли до самой сути. Главное, чем живет, чем дышит Владимир, — борьба со своими противниками. Она-то и составляет главную пружину действия. Ей подчинено все остальное. И счастливый исход в романе Владимира и Люси наступает только тогда, когда она на собрании высказывается в пользу его группы и порывает с «лагерем вражеским».

Действующие лица романа-памфлета легко и просто делятся на две диаметрально противоположные группы. В одной — Владимир, его друзья-художники — пейзажист Окунев, баталист Еременко, их общий духовный наставник академик Камышев. В другой группе — самодовольный, не знающий жизни, отсиживавшийся во время войны в Ташкенте сын спекулянта Борис Юани. Его отрицательная сущность непосредственно проступает во всем, даже в «недобром, бесстыжем взгляде». Еще одна характерная деталь — его картины раскупаются иностранцами. Один из главнейших этой компании — художник Барселовский. «Заграничная» фамилия не случайна: он долго жил за рубежом. Это еще большее ничтожество, чем Борис. Единственную удачную реалистическую картину написал даже не он сам, а его помощник; Барселовский выдал ее за свою. К чему трудиться?

Его Друг, критик Осип Давыдович Иванов-Петренко, маленький, узкоплечий, лысый — интриган, клеветник и склочник.

И еще одна «соучастник» — художник Пшекаки, который сначала мечется между двумя лагерями, а потом примыкает к Юлианым и Барселовским.

Как уверяет автор, первая группа состоит из прекрасных, близких к жизни и народу художников, вторая — из отпетых негодяев. Распределение света и тени здесь самое прямое и решительное: справа — свет, слева — мрак, справа — правда, слева — фальшь, подлость, грязь.

Владимир и К^о — все очень начитанные, говорят цитатами. К слову сказать, роман так переполнен цитатами, что порой кажется, они выпадают из кристалликами, как в перенасыщенном растворе. Главы уснащены высказываниями В. Дая, И. Крамского, П. Чайковского, С. Есенина, М. Салтыкова-Щедрина, А. Толстого, Э. Золя, В. Пелеханова, М. Глинки, Н. Корсакина, И. Репина, В. Гюго, И. Тургенева, Ф. Фроста, В. И. Ленина. Но, кроме этих цитат-эпиграфов, герои непрерывно натакаиваются на обще-

известные высказывания, которые, однако, потрясут, как откровения: «Владимир подошел к книжной полке, взял томик Горького, раскрыл заложное место:

«Любовь! Я смотрю на нее серьезно... Когда я люблю женщину, я хочу поднять ее выше над землей... Я хочу украсить ее жизнь всеми цветами чувства и мыслить о ней». Как это верно!..»

«Петр (Еременко) открыл книгу за заложницей линейкой странице, прочитал вслух кем-то подчеркнутую фразу: «...без веры, без глубокой и сильной веры не стоит жить — гадко жить». Еременко поднял удивленные глаза сначала на Владимира, затем на Люсю и сказал, точно чему-то обрадовавшись:

— Ух, как здорово сказано!»

Автор не падает сил, чтобы показать глубину образованности положительных героев и глубину невежества отрицательных.

Ефим Яковлев, например, написал сценарий о Чайковском, а сам музыкой не знает.

Некая «Дяна испоркуила с дивана, села за рояль и заиграла «Пятый концерт» Бетховена. Кончив, лихо повернулась на вращающемся стуле в сторону Яковлева:

— Ну как, Фима?

— Чайковский есть Чайковский.

Девушки переглянулись, ухмылялись, по смолчали».

Вместе с ними, очевидно, переглянулись и усмехнулись читатели: как же это испоркуила с дивана Дяна ухитрилась исполнить на одном рояле концерт для фортепиано с оркестром?

Добродетели, ходячей премудрости Владимира и его друзей противопоставлены цинизм и аморальность их врагов. Такова расстановка сил.

Владимир и его товарищи называют себя «наследниками передвижников». Они горой стоят за традиции. Передвижники — великое искусство — это всегда поиск нового, на основе освоения лучшего, что есть в традициях предшествующих поколений. Но всякое упоминание о поисках нового в искусстве приводит положительных героев романа в ярость. Так скажут, «передвижники-неподвижники».

Этот шепельный спор, где один за традицию, как бег на месте, а другие, наоборот, за новаторство, как отрыв от прошлого, начинается с первых же страниц.

Борис Юани, олицетворяющий декадентство и эстетство, провозглашает: «Сегодня нельзя писать так, как писали, скажем, Иванов и Брюллов... Сто с лишним лет отделяют нас. За этот срок можно же было научиться чему-нибудь новому... За сто лет успели родиться и умереть Серов и Врубель, Нестеров и Короуи... Фальк и Штернберг (он, очевидно, хотел сказать — Штеренберг. — З. П.)...»

— «Футуристы, кубисты, импрессионисты, конструктивисты, — продолжал ему в тон Владимир. — И не веде они умерли. Кое-где еще здравствуют».

В представлении Владимира все это — одно и то же, равно непригодное: Серов, Врубель, импрессионисты, конструктивисты, как их еще там? Он и его друзья считают себя представителями «старой манеры», которая кончается Репиным и Айвазовским. Все остальное — от лукавого.

Идеолог эстетов Иванов-Петренко говорит:

«— Традиции, традиции, а искусство, как и все в мире, не стоит на месте. Наша бурная эпоха требует новаторского языка в искусстве. Новое содержание мы не можем выразить старыми формами. Мы должны быть новаторами».

Элементарная мысль, что «искусство не стоит на

месте», приводится в романе как образец ереси и «смутливоста».

И уже совсем перешлошлось и взбудоражило группу Владимира, когда тот же Иванов-Петренко высказывается против натурализма, против серятины и говорит: «Пришло время открыть музей нового западного искусства». Для Владимира, Окуева, Еременко это все равно что выпустить хищников из клеток, куда они надежно упрятаны. «Внш, чего захотел», — скрежещет зубами Окуев.

Все это для них — презренное и растленное.

«Надо помнить и о том», — поучает Владимир, — что вперед нельзя двигаться, не основа того, что оставили нам в наследство классики. И дальше так понасле свою мысль, обращаясь к противникам: «я имею в виду не ваших классиков, ...не Сезанна и Гогена, а тех русских художников-реалистов прошлого, которых вы называете натуралистами: Репина и Шишкина, Ярошенко и Айвазовского».

Все, что сверх этого, заслуживает бранных слов, из которых даже «тая» далеко не самое энергичное.

Учитель Владимира академик Камышев не называет иначе, как «всякой словочуждой», «кубистов, модернистов, футуристов, экспрессионистов». «Требуют открыть в Москве музей так называемого нового западного искусства», — говорит он так, как будто бы ему лично тем самым плюнула в душу. И расшифровывает: «то есть музей эстетско-формалистического крикательства».

«В свое время в Москве был такой», — поясняет Камышев. — «Собствующий купчишка Щукин открыл. А зачем вам такой музей?»

Зачем? На этот вопрос был дан ответ еще в 1918 году в одном из первых декретов Советской власти за подписью В. И. Ленина:

«Принимая во внимание, что Государственная Галерея Щукина представляет собою исключительное собрание великих европейских мастеров, по преимуществу французских, конца XIX и начала XX века и по своей высокой художественной ценности имеет общегосударственное значение в деле народного просвещения, Совет Народных комиссаров постановил:

1. Художественную Галерею Сергея Ивановича Щукина объявить государственной собственностью Российской Социалистической Федеративной Советской Республики...»

А вот Камышев рассуждает далее: ну, допустим, «откроем музей Синякина и Сезанна, а ты думаешь, они успокоятся? Палец дашь — руку откусят. Третьякову, может, и не рискнут закрыть, зато Шишкина и многих других народных художников из залов выворуют».

Итак, либо Шишкин, либо Сезанн. Слово искусство — одностопная машина, где двум не поместиться. За Шишкина — все настоящее, реалистическое, а вот всякое там «западное» — предмет обожания «лощечных хлящей и раскрашенных нервических девиц», «банды эстетов», «дикарей», «клякуш» и даже «тараканов».

Чтобы окончательно добить своих врагов, академик Камышев, которому благоговейно внимают Владимир, многозначительно сообщает, что и Барселонский и «Осыка» (Иванов-Петренко) «якшались» с эсерами и с трюкстами.

Теперь действительно все становится ясным. Те, кто за Сезанна, — «враги народа». Мы уже не удив-

ляемся, что Борис, обнаружив полное разногласие с Люсей, восклицает: «Ты, может быть, назовешь меня врагом народа!»

А Еременко прямо называет статью своего противника «диверсией». Сторонники Сезанна вполне способны на диверсии. Автор довольно прозрачно намекает на это. Когда молодой художник Яша заявил, что с гордостью произносит имена Александра Герасимова и Томского, на него сразу обрушивается муть противников: в тот же вечер на него наезжает машина, убивает его насмерть и скрывается...

Но, может быть, это лишь сатирический прием? Может быть, заданная целью разоблачить агрессивное невежество и духовную ничтожность таких людей, как академик Камышев или Еременко, автор лишь притворяется, что он им сочувствует, и рисует их такими мострами, тушцами и нитригами? Да нет, все симпатии романиста явно на стороне этих людей, и автор предисловия с удовлетворением подтверждает это.

«Тая», как явствует из титульной страницы, задумана как роман-памфлет. Но художественность тут не идет дальше эзевженных штампов, а памфлетность изнедедена до ругательства и всякого рода «ударов пониже спины». Какая-то удивительная мешанина «лазоревых далей» и грубой уголовщины! Памфлет обнуляется самоубийственной пародией. Задуманный «нокаут» вдруг оказался «харакри».

В основе книги лежит саморедремнее представление о новаторстве как — обязательно! — о декадентстве, о «западном», как — уже заранее известно! — тагтворном, о творческих поисках как о злобных проксихах.

А ведь именно передвигники, именами которых Камышевы глумят своих противников, были могучими новаторами своего времени: они не копировали, а развивали лучшие традиции русского искусства, смело опровергивали ложные авторитеты натуралистов и акриковников своего времени. Сила их была в том, что и сами они в своем творчестве не стояли на месте, а двигались вперед, росли, изменялись, воевали с устаревшим, обветшалым и в широтою, свойственной им, поощряли все истинно новое.

Могут задать вопрос: к чему такой разговор о книге, которая никак не может заинтересовать хоть сколько-нибудь образованного читателя? Надо ли палить из пушки по воробью?

Надо, потому что воробей этот оказался слишком уж горластым, такие криканыя вносят фальшивые нотки в нашу творческую атмосферу, мешают нашему искусству расти, идти вперед.

Книге этой предпослала статья действительного члена Академии художеств А. Лактинова, восторженные строки которой о романе мы уже частично цитировали. Выходит, тем самым академик Лактинов высказался за войну против «всякого там новаторства», за нанивую и сусальную дидактику в искусстве, за примитивное деление художественной интеллигенции на ходуально-добродетельных и «врагов народа», за запрещение новой живописи, импрессионистов и прочей «сволочи».

Право же, если б вдруг оказалось, что автор восторженного предисловия написал его, не прочтя этого невежественного труда, — мы были бы искренне рады за него.



А ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ...

Моя командировка подходила к концу. Я нашла передовую доярку, и передовую звеньевую, и еще много хороших, передовых людей, что сопалодало с пожеланиями редакции и моими личными впечатлениями.

Я радовалась, что все так удачно складывалось, потому что мне очень хотелось поскорей в Москву. В тот день я вернулась в гостиницу к вечеру. В коридоре пахло карболокой, цветочным мылом и еще чем-то гниенческим, к чему после частых командировок привыкаешь и перестаешь замечать.

Я думала: вот, наконец, почитаю, помолачу. А ночью заказу Москву.

Однако помолчать не пришлось. В дверь постучали, и вошла дежурная Ниша, спокойная, рассудительная такая женщина.

— Извините, что побеспокоила, — сказала она. — Но раз вы корреспондент, поезжайте в Чапаевку.

Еще через минуту я узнала, что месяц назад в Чапаевском сельском клубе трое парней изнасиловали девочку. Ребят тех, конечно, арестовали, но клуб остана.

— ...А посмотрели бы вы, товарищ корреспондент, что это за клуб!

В тот же вечер я отправилась в Чапаевку. Нашла клуб, хотя в этойкой темени даже мой слабый фона-

рик казался прожектором. Было всего девять часов, но ни в клубе, ни рядом никого не было. Я заметила, что во фанеле светится окошко, пошла на огонек и попала прямо в кабинет заведующего. Глянув на мое удостоверение, он покраслся бурными пятнами и плаксиво сказа:

— А я что? Я здесь новенький. А бывшего зава Фесенко сняли — за пьянку и аморааку. А меня вот уговорили. Выручай, говорят, больше некому. Если бы я знал, что это за работа такая, ни за что бы не пошел.

Но, поняв, что я не буду интересоваться т е м делом, он приободрился и даже смерил меня саркастическим взглядом: нашла, мол, куда сдаться; не иначе, как делать нечего. По всему было видно, что он здесь не только новенький, иб и временный и задерживаться надолго не собирался, в чем тут же с гордостью признался.

— В институт я не попал. Мать ругалась: дармоед! Вот я и пошел на культуру. Плата небольшая — 36 рублей, но пересидеть можно.

Я спросила, почему у него в кабинете так неуютно: рваная скатерть, разорванные обои, пятнистый пол. Неуято нельзя почистить, подкленить, подкрасить? Он возмутился.

— Это что вы предлагаете, чтобы я за 36 рублей еще и ремонтом занимался? У нас денег на веняк

не хватает, а вы говорите — кленть. Странно вы как-то рассуждаете...

Спорить было бесполезно. Я видела, что парень пренсволен сознания своего великодушия и щедрости. Никто не хотел идти «на культуру», а он пошел. Пусть ему еще спасибо скажут, что согласился.

Я спросила, что было в клубе раньше. Усмехнулся: — Пьянки.

— Что вы думаете делать теперь?

Достал кожаную тетрадку, послонявил палец, открыл первую страничку. Читаю: «Лекция о: мор, облик, труд, слава, др и тов...». «Мор, облик» был подчеркнут, что означало — состоялось.

— После того дела, — важно сообщил он, — мы провели вечер вопросов и ответов: о любви, семье и браке. Ну, чтобы любил, а не безобразничал. Я так думаю: насилан в нашем клубе больше не будет.

Над входом в клуб висел плакат: «Здесь каждый может культурно отдохнуть». Заля прония. Обстановка в клубе располагала к чему угодно, только не к культурному отдыху. В этом сырмо, плохо проветренном, мрачном помещении нарядное платье, веселое слово, хорошая музыка могли показаться дурным тоном. Зато дляalebков, грязи и ругательства самое что ни на есть подходящее место.

Фойе клуба напоминало коридор старой коммунальной квартиры, где жильцы экономят на электричестве и не соблюдают графика уборки. Под потолком — тусклая, без абажура лампочка. Пол земляной, стены в зеленых подтеках — следы давнего плохого ремонта. Для украшения — картина, репродукция с репникских «Запорожцев». На запорожцев, может быть, и похоже, но на Ренина — мало. Кстати, эту картину я видела в каждом клубе Пологского района, — очевидно, местный отдел культуры выполняла разнарядку по эстетическому воспитанию. В некото-

рых клубах эстетическое воспитание пытались углубить и расширить. Рядом с запорожскими казаками вешали «Трех богатырей» или «Васю Теркина». Не забыли в Чапаевском клубе и про наглядную агитацию: «Хлебоборьбы, закончим все вовремя!» И сев кончился и уборка, а плакат никто не снимает и не снимет, наверное. А зачем? Ведь на будущий год опять сев — глядишь, и плакатик пригодится.

Я пробыла в клубе десять минут и поняла: единственное, что здесь по-настоящему может захотеться, так это уйти, и поскорее.

...Помню, один председатель колхоза говорил мне, что клуб на селе — это все равно что храм, только не божий, а Духовный. Раньше люди по воскресеньям в церковь ходили. Прохоривались, наряжались. А теперь куда? В клуб.

— Раньше за Душу церковь «отвечала». А теперь кто? Кто эту Душу обогащать, развивать должен? По-моему, клуб. А кому же еще?

К сожалению, я его клуба не видела, мы с ним в Киеве познакомились, и в колхозе у него я не была. Что касается клуба в Чапаевке, то его можно назвать хлебом, сараем, по храмом... Нет, увольте, с таким «храмом» атеистической пропагандой лучше не заниматься.

Кстати, не случайно в Чапаевке баптисты открыли районный модельный дом. Они очень неплохо отромонтировали хату бабки Галмы, платят ей за уборку, а по воскресеньям славят Христа в чистой комнате, на скамеечках с цинковыми, под треск полences в поленковой печке. Очень уютно, сюда и молодежь зимой заглядывает: погреться, божественное венце послушать, на красавца пресвитера поглядеть... А кто придет холодным зимним вечером в чапаевский клуб?

— Что? — насмешливо спросил заведующий. — Не нравится вам у нас? Да, это вам не Большой театр. Сельский клуб, он и есть сельский клуб.

Вот когда я поняла, что снова буду писать о клубах.

✱

А долгое время мне казалось, что молодежь уходит из деревень только потому, что скучно, некогда детства, а юность проходит, а жить хочется... Теперь я поняла, что ошиблась. Время идет, жить хочется, пойти по-прежнему куда-то, но молодежь из деревень (во всяком случае, на Украине) почти не уходит, потому что ей дают работу и хорошо за нее платят.

Но ведь не хлебом единым жив человек. Давайте подумаем, что за молодежь сейчас остается в селе. Это ребята с восьми-, а то и с десятиклассным образованием. Их духовные потребности от местожительства не снимаются, не должны снижаться. Они вполне хотят того же, чего хотят их сверстники в городе. Пойти в театр, на концерт, на стадион, или поесть мороженого в кафе, или потанцевать, и не в шубах, чтобы не замерзнуть, а в нарядном платье и в туфлях на каблуках.

Мы, горожане, с детства привыкли выбирать, куда бы пойти. А на селе могут пойти только в клуб. И сегодня — в клуб. И 1 Мая — в клуб. И за премией — в клуб. И за книгой — тоже в клуб. И собрание, и товарищеский суд, и новый фильм, и гастроли областного театра — все это клуб и только клуб. Клуб на селе — как сельский врач, он должен уметь все: и показывать, и лечить, и заставлять думать, и воспитывать вкус.

Мы много пишем и говорим, что сегодняшней рабочий должен быть культурным и образованным. Мы радуем за его кругозор и требуем его развития, предоставляя для этого достаточные условия. Но сельский

работник? Почему бы и ему не предъявить сегодня те же требования? Что, разве время не настало?

Я не собираюсь обобщать и утверждать, что все сельские клубы нигде не годятся. Я говорю лишь о том, что видела своими глазами, притом в одном районе. Может, где и получше. Но есть общие беды, и нетрудно понять почему.

Есть клубы починке, понаряднее. Есть спортивно-оформленные, с уголками любителей кино, спорта и техники. Не всегда наглядная агитация так ненаглядна, как в Чапаевке (хотя можно встретить где-нибудь в животноводческом колхозе призывы добывать уголь и плавить сталь; будем считать, что это — глупое недоразумение). Не везде в клубах сыро и холодно. Не везде годами не делают ремонта. Но почти везде скучно. Однообразно и уныло. Без выдумки. Без мысли. Без культуры — и это самое грустное!

Читаю планы: те же «мор. облаки и труд славы», те же фильмы и те же обязательные мероприятия по юбилейным датам. Общай штампованный стандарт. Автоматическое его выполнение. Я искала не «духовные храмы» (хотя неплохо было бы их найти), но просто дом, откуда идет культура, где ее утверждают, хранят и проповедают.

Не может быть храма без проповедника, хорошего дома — без добросовестного хозяина, клуба — без духовного наставника, который бы возглавлял клуб, руководил им, а не синхронистично принимал как тинное мстечко, как вынужденную посылку, которая рано или поздно кончится. Не случайно в народе заведующих клубами называют к л ю ч и к а м и — хранителями замков. В одном селе мне так рассказали о местном заведующем:

— Он парень ничего, вот только образования ему не хватает — шесть классов кончил. Он и сам говорит: ну какой я культурный работник, если за всю жизнь и двадцати книг не прочел? А ему сказали: надо, Паша, больше некому. Работай над собой, а брошюры и инструкции мы тебе подождем.

В другом селе заведующим был бывшим сторож, которого ни на какую работу уже не брали: не справлялся. В третьем — мать тринх детей, которую бросил муж. Очень жалко: хорошая женщина. Но при чем тут клуб? Оказывается, это была единственная возможность оказать ей материальную помощь, другой не нашал.

— Деньги, деньги, все дело в деньгах. Маленькая зарплата. За 36 рублей охотников возить на себе культурный воз илетько найти, — так говорили мне в районном отделе культуры.

— Ладио, — говорю, — Деньги — фактор немаловажный. Но вот скоро повысят зарплату, что тогда изменится?

Пауза, долгая пауза. И, наконец, ответ, который я записываю:

— Нет кадров.

✱

Есть какие-то извечные истины, которые не хочется повторять. Доказано, разработано, научно подтверждено, что человек лучше работает, если он хорошо отдыхает. Если с расцета ты в поле, или в коровнике, или свиной кормишь, естественно желание вечером поспать не в хлев, а в красивый дом и почувствовать, что в жизни, кроме работы, есть еще и праздники. К счастью, многие председатели колхозов это поняли. У них средств больше, чем у сельсоветов. И они могут на диво всем «оттрохать» (как сами говорят) такой клуб, какого и в Киеве нет. В Киеве, может, и есть, а вот в Пологах или в Гуляйполе определено нет.

В такие клубы корреспондентов возят. Ими гордятся, их показывают. В один из таких клубов повелели и меня. Узнали-таки в райкоме комсомола, что брожу я по окрестным клубам и выразительно вздыхаю. Прибежали возмущенные.

— Не на те клубы вы, товарищ, дивитесь! Вы поживаете на клуб в колхозе имени Свердлова. Это же дворец! Это же такая красота — душа радуется!

Я не уверена, что смотрела не те клубы. По-моему, как раз те. Потому что не выбирала, не искала образцово-показательных, а ездила, куда придется. И что видела, вам рассказала. Но раз есть дворец, я вовсе не прочь его посмотреть.

Едем. Не то час, не то полтора. Колхоз имени Свердлова — самый дальний в Пологском районе. Спрашиваю шофера, нет ли по дороге еще каких-нибудь клубов, чтобы заехать посмотреть.

— А что их смотреть? Они все одинаковые...

Разговорчивою шофер не отличался. Остановиться тоже нигде не остановился. Так что в колхоз имени Свердлова мы доехали без слов и приключений.

Почему я ахнула. И было от чего. Я не преувеличу, если скажу, что такого клуба я, пожалуй, никогда не видела. Легкое белое здание, напоминающее геометрический куб. Зеркальные стекла, изогнутые стеллы фонарей у входа. Распахнутые настезь лакированные двери. Длинная, обсаженная цветами подъездная аллея.

Меня встретил заведующий — паренек в сером быльмажон костюме, в серой, на лоб надвинутой кепочке. Рядом с ним стояла уверенная в себе женщина — библиотечка. Говорила в основном она, заведующий больше молчал или поддакивал: «Это точно, это у нас было, это она правильно говорит».

А она говорила: вот какое у нас красивое фойе, вот какой у нас замечательный зрительный зал, на 500 мест, самый большой в районе. А вот какой у нас танцевальный зал. Видите, сколько места, и сколько света, и какие занавески, и какие стекла...

Видела, и мне все это нравилось. Наконец, думаю, добралась я до храма. Сколько можно сделать в таком помещении и делается, наверное!

Заведующий приносит тетрадку. Читаю план: моральный облик, трудовая слава, дружба и товарищество...

— Нет, — почти кричу я. — Я это уже знаю. А еще что? Беседы, встречи, вечера?

Я еще что-то говорю о молодежных балах и детском кукольном театре, о любительском кино и литературной газете... Заведующий смотрит на меня вежливо и покорно отвечает:

— Я вас понимаю, тут нужен художественный руководитель, а я хозяйственный. Достать новую картину, привезти актеров, выставку оформить — это я могу. А придумать... Нет, такого не умею.

✱

— А что делать, где достать этого художественного руководителя? Пока вы мне не скажете, я вас не отпущу. Потому что мы горим. Мы построили мертвый дом. Я вложил в него жизнь, а он мертв.

Так начался наш разговор с председателем колхоза имени Свердлова Василием Александровичем Павленко.

Когда-то Василий Александрович работал заместителем директора завода в Запорожье. Когда призвали ехать в колхозы, он собрался и поехал. Когда некоторые подались обратно, он остался.

Говорят, лет восемь назад колхоз имени Свердлова был самым бедным в районе. Ну, а теперь там есть Дворец культуры. Это — детище Василия Александровича, его мечта. Он вынашивал ее годами. Просмотрел десятки типовых проектов, нашел талантливого архитектора. Добился разрешения строить, когда строительство клубов было приостановлено. Доставал строительные материалы (увы, это не так легко), ездил в Ригу за стеклом, в Киев — за обоями, в Харьков — за радиоборудованием. Он замучил строителей требованиями качества, сам следил за кладкой... И вот клуб готов. Стоит, сверкает, победно поблескивает зеркальными рижскими стеклами. И ждет, когда вдохнут в него жизнь. И снова едет Павленко по всевозможным отделам культуры и снова требует.

Но на сей раз не кирпичей, а человека — умного, образованного, талантливого, которому бы он мог со спокойной душой отдать в управление свое детище.

И не может найти. Приезжали артисты из Кривого Рога. Он узнал, что один актер собирается уйти на пенсию. Он предложил ему хороший оклад, дом, участок, тот согласился и... не приехал. Тогда Павленко обратился в областную школу культпросветработы. Он спрашивал, куда деваются ее выпускники. Ему ответили, что они разъезжаются по городам, но большинство меняет профессию. Ехать в деревню не хотят.

Почему-то повелось, что работа в сельском клубе перестала считаться серьезным делом, достойным серьезного человека. На работу эту идут люди исключительно потому, что к чему не приспособленные, а к культуре — тем лаче. И никто не хочет нарушать этот порядок.

Когда выпускнику школы предлагают стать заведующим сельским клубом, он обижается: «Что я, инвалид или пенсионер?»

Когда то же предложение делают учителю, он напоминает, что у него высшее образование.

Когда, наконец, просит секретарей комсомольских райкомов почтнее бывать в клубах, они отмахиваются: «У меня сея, у меня коровы. С клубом сами справитесь».

Но как раз колхознику легче справиться с коровами, чем с клубом. И может быть, здесь, в клубе, секретарь нужнее, чем в поле или в коровнике.

— Где же выход? — спросит читатель. — Наговорил, навозмущалась, а выход?

Для того, дорогой читатель, я и написала эту статью, чтобы мы вместе с вами подумали: где же выход?

ОТ РЕДАКЦИИ:

А что думаешь ты, читатель, о тех вопросах, которые подняты в статье Аллы Гербер?
Идем твоих откликов.



запомнить: и улыбающуюся прохожим калитку Окаяна Карабуша, умоляющие рассказать долгиими зимиными вечерами прекрасные неконечные сказки, и вкусные, прыгие так искусно выпекает Тинкуца, и пылающую красными маками стель, перерезанную телеграфными столбами; по проходам проносятся откуда-то вести о войнах, смертях и пободах. А еще помнят Чутура о своих детях, об их трудной любви, об их страстях и ошибках, о пышной привязанности к родной земле.

Двести страниц удивительной прозы подарил нам молодой молдавский писатель Нон Друцэ. Его книжка «Степные баллады» выпущена недавно издательством «Молодая гвардия».

Друцэ не новичок в литературе. Он известен как переводчик восточной драматургии. Его пьеса «Каса Марэ» с успехом обошла многие театры страны.

Встреча с Ионом Друцэ — прозаиком взволнует вас. Вы найдете в этой книге прекрасную поэзию молдавской степи, неиссякаемую, до боли в сердце любовь к людям. И, закрывая последнюю страницу «Степных баллад», вы почувствуете, что открыли для себя новый мир человеческих радостей и слободств, грусти и тонкого ислыряющегося юмора. И если Чутура — десяти белых вани, то вас непременно потанет туда.

Илья СУСЛОВ



На обложке книги четыре имени: Павел Котган, Михаил Кузьмичак, Оронто Котган, Павел Котган. Это молодые поэты, ушедшие на фронт из студенческих общин и не вернувшиеся с войны. Они отдали жизнь за Родину. Но их творчество не вышло только узкий круг друзей — это была слава настоящего поэта. Признание читателей пришло через двадцать лет, в самых далеких местах своих не помнили они о нынешней популярности — шутка сказать, создавали молодежные кружки, клубы, читательские клубы, только никто не читал, только у Николая Отвады вышла маленькая книжечка стихов. Павел Котган, наконец, не потерял надежды, он долго стискивал зубы, но в конце концов выплеснул их в стихах. Павел Котган, начинающий поэт, считал, что большая жизнь, считал, написанная еще несовершенными руками, редакторами затеяны подосаждать. Он был си в этом мнении — не печатал...

А время рисовало по-иному. Вышло несколько сборников стихов, несколько вышло из печати, но и так расширили круг читателей этих поэтов, что трудно бы удержать всех в памяти. Их приобщали всех юнкера «Своя жизнь — это время» (составитель В. Швейцер, Издано «Советский писатель», М. 1964). Во всяком

случае. Мысливший, тридцатилетний тираж — это капля в море. Чем же привлекают современного читателя эти юношеские угловатые, написанные не пером, а пишущей машинкой поэмы, в них заключены правдивый исповедь поколения, шагавшего огнем войны и не страшавшего ни смерти, ни воечных поражений. Тем, что это была поэзия, не разомытая вышедшая на пустыни, не знавшая расхождения между словом и мыслью, а стремившаяся от широкого к узкому.

Это было первое поколение, воспитанное уже советским обществом, — эпохой Ленинской называли они себя. Двадцать лет они не отстали от нас, их написано в соружь первого десятилетия. Вот почему мужество стало главной темой их поэзии, им хотелось наступить в ногу с торжеством революционной правды.

Сборник «Своя жизнь — это время» не только тем, что многие стихи здесь публикуются впервые, но и тем, что в нем всего Павла Котгана и Милана Кузьмичака. Но менее важно и другое. В книгу вошли воспоминания друзей, стихи, посвященные И. Эрэнбург и И. Сельвинский делают своим раздумьями о судьбе этого поэтического поколения. Короче говоря, это не ряд нами книги, рассказывающей и о том, какими они были, эти юности соружь первого года, чья короткая жизнь стала подвигом. А личностью стихов определяется личность поэта.

«Молодые поэты начала шестидесятых годов», — пишет И. Эрэнбург — стоят задушаться поколением, которое вышло легко отворачиваются от нас. А их огнем стояли на смерть под Москвой или в Волге. Это справедливые слова.

Л. ЛАЗАРЕВ

раж ее — три тысячи экземпляров.

Жаль. Завалюнок действительно интересный и обаятельный собеседник, у которого к тому же — что бывает не так уж часто — есть повод для разговора, есть что сказать, есть самостоятельное и целостное представление о жизни. Опытный по сути, владеющий естественным манером, то грубиян, то ироничеким, уверенный — как и положено поэту — искать дорогу к свету, боляе того, добывает свет даже из собственной горечи (хоть это и «елюшок матери-

Леонида Завалюнока негромкий голос.

Обычно это говорят о поэте тогда, когда хотят избежать возможности. Зосье — дело другое.

Есть поэты, которые кричат, срывая голосомые связки, но никто их не слышит, и есть те, что говорят негромко, но их способны услышать и понять многие. Таков и Завалюнок: он шепочком крикает, но от нехватки голосовых средств, а потому, что избрал intentionally удручающего и интеллигентно к слушателю себя.

Если же до сих пор этого поэта слышало горлоздо менаше читатель, чем он заслуживает, в том нет его вины. Все его книги вышли малым тиражом и не в центральных издательствах, а вна периферии, в Благовещенске-на-Амуре. Вот и новая книга «Лирика» вышла там же. И ти-

валя — с характерной своей «вельюшкой» замечает поэту). Завалюнок, как правило, промолвит эти свои качества не вступив, но для того, чтобы различить слушателя: он много думает о жизни и немало понимает в ней.

Правда, есть в книге и истолкования из правил, есть экспантация собственного обаяния, есть разболванье и без повода. В таких случаях вступают бурный поток аморозовых (хваст и обаятельного), и это не случайно: больше, чем правды, сказать нельзя.

Ст. БОРИСОВ



ба...» Маличица идет на борьбу с природой. Трудно приходится ему одному, и, конечно, он возвращается с пустыми руками. Но его первая победа огорчена: он победил себя, победил свой страх, начал свою коротенькую жизнь смело и мужественно, и хорошо усвоил, что поражение можно обратить в победу». Он

пойдет еще туда, он найдет голубую жемчужную воду, он принесет людям радость.

Повесть «Сын» не так романтическая и безоблачная, как первая повесть книги, — она переносит нас в 37-й год. Герои ее, восьмилетний Олег Трубинов, мало чем отличаются в его своих сверстников. Но в его беззаботную мальчишескую жизнь врывается серьезное событие: отцу предстоит выехать в лагерь, а мать — в больницу. Разные люди окружают Олега: одни пристраиваются к нему, другие же при встрече пытаются унизить его, третьи же пытаются помочь ему справиться с трудностями. Но это выбор: либо публично отказать от отца, от его имени, либо расстаться с ним. Рядом с Олегом остаются порядочные, душевные люди, которые и помогают ему принять решение. Но как трудную задачу, она порождает протест и неприятие. Но как трудную задачу, она порождает протест и неприятие.

И, наконец, «Первая» носится о мальчишке-изобретателе талантливых и действенных изобретений. Казалось бы, три совершенно разных образа, но в них очень много общего. Их роднит взгляд писателя на мир, его интерес к человеку, к формированию и становлению характера. Во всех трех вещах герои принимают решения, подчас мучительные, подчас трудные, но всегда они побеждают себя, — впервые, самолюбиво, — и находят в этом наивысшее удовольствие. Именно поэтому хочется рекомендовать эту книгу — «Голубое озеро» Юрия Гончарова.

Алла КИРееВА

СРЕДИ КНИГ

СРЕДИ КНИГ

СРЕДИ КНИГ

СРЕДИ КНИГ

СРЕДИ КНИГ



Я живу в окрестностях Бруклина, в районе рабочих; это не асфальтовые джунгли, как часто именуют подобные места, но и не Версальский парк, хотя и здесь кое-где можно встретить голые клены, которые напоминают часовых, стоящих на страже бедности. «Деревья растут даже в Бруклине», — эту поговорку повторяют здесь так часто потому, что в Бруклине растет очень мало деревьев; и в то же время это жилой район, район домов, в которых живут рабочие люди, выше все начитав медь дверных ручек до беска, протирать оконные стекла и вытирают в ящиках на подоконниках выносную красную герань. Каждый раз перед Новым годом дети этих гордых рабочих подзвонки, водители грузовиков, портных, нарядив-

шись в карнавальные колпаки, хором рожков приветствуют наступление праздника. Они исполняют традиционные песни и танцы, прославляющие наступление нового, что выражает их надежды на будущее. А там, где живет надежда, существует жизнь и уверенность, что ничто не потеряно.

Мне посчастливилось: компания веселых молодых ребят пригласила меня на одну из таких вечеринок. Я казался себе патриархом, чудом попавшим на это веселое собрание. Это был своеобразный фестиваль народной песни, и я услышал здесь те песни, которыми сейчас увлекается американская молодежь. Ребята пели под аккомпанемент гитары, в их песнях звучала злая сатира на Годдуотера, на общество Джона Берча и маккартистов; они пели также о любви первых переселенцев, создавших Америку. В этих ребятах жило стремление к творчеству. Слово зачарованный, я слушал их песни, в которых, помимо мелодии и ритма, звучал глубокий смысл, раскрывающий моральное состояние, характер и настроение людей.

Молодежь — богатство народа, думал я, естественный источник сил нации. Подобное утверждение может показаться избитой банальностью, но ведь обычно очевидные истины вос-

принимаются как нечто само собой разумеющееся. Слишком часто отношение к молодежи в нашей стране напоминает отношение к естественным богатствам природы: вырываются леса, загрязняются химическими отходами реки, самый воздух теряет свежесть.

Но человек — это не дерево. В детях эмигрантов («Мы — нация эмигрантов», — сказал Рузвельт) живет такое неистребимое стремление к моральной цели, что я не перестаю восхищаться этой чертой, которую нахожу в большинстве молодых американцев. Если судить по газетным статьям, телепередачам или фильмам, можно подумать, что наша молодежь — это враждующие банды, фашистские группы, наркоманы, гангстеры, бесчинствующие при попустительстве подкупленной полиции. А между тем в подавляющем большинстве наша молодежь не такая. Я не сбрасываю при этом со счета большое число морально искалеченных подростков в нашей стране, насчитывающей около 200 миллионов населения. Это трагедия, чудовищная трагедия. Кажется, Анатолю Франсу говорил о том, что показателем уровня цивилизации народа является его отношение к молодежи. Мы, старшие, должны понимать это, и нам не добавляет чести, что мы так ничтожно мало делаем, чтобы помочь молодежи, чтобы вовремя направить ее.

Не так давно банда подростков в кожаных куртках, взгромоздившись на мотоциклы, совершила бандитские налеты на небольшие города; эти хулиганы учили там дикое побоище и поднимали пиратские бунты. А сколько парней не вылезает из прокурных кабаков!

Это факты нашей жизни.

Но разве можно обойти молчанием те обстоятельства, что у нас много юношей и девушек, которые готовы ухватиться за любую работу, потому что автоматизация лишает их возможности найти полезное применение своим силам. Они похожи на отчаянных молодых колуумбов, стремящихся открывать новые миры; хотя все, что им нужно, — это работа, возможность не быть обузой для семьи, купить оде-

жду, пригласить подружку в кино и потом угостить ее чашкой кофе. Имея в виду все это, я с уважением говорю о молодежи.

На мой взгляд, наша молодежь ведет себя много лучше, чем этого следовало ожидать, учитывая пассивность правительства, избранного их старшими. И меня удивляет это. Совсем недавно не без оснований утверждали, что неписанный закон молодежи гласит: «Ешь, спи, развлекайся, потому что скоро всему придет конец». Так всего лет десять или пять назад. В то время говорили главным образом о том, как укрыться от воздушного нападения в так называемые подземные убежи-

Джозеф НОРТ,

американский публицист

«МОЛОДЕЖЬ —
БОГАТСТВО
НАРОДА...»

ща. Маленьких детей заставляли, укрыв головы руками, прятаться под партами. Но здравый смысл взял верх, и сейчас разговоры на эту тему стало гораздо меньше. Совсем не случайно в период маккартизма так много говорилось о «молчаливом поколении», о «бушующих без цели». В последние годы уменьшился страх перед неминуемым крушением мира (особенно после того, как был преодолён карибский кризис). Этот страх полностью не исчез, потому что не исчезла бомба. Но он уменьшился, и особенно это ощутимо в среде молодежи. В наши дни молодежь обретает голос. Я твердо уверен, что эти настроения будут расти и развиваться по мере того, как будут расширяться возможности мирного сосуществования.

Считает ли молодежь, что борьба за жизнь не безнадёжна, что сражение за право жить и радоваться жизни может быть выиграно? Многие ли убеждены в этом? Ответ можно найти в движении негритянского народа под лозунгом «Свобода теперь». Поколение негритянских героев и героинь, которые не боятся ни полицейских, ни ищек, ни испытанный огнем и водой, моральное величие негритянских борцов за свободу вдохновляет молодежь и оздоравливает атмосферу. Оно все больше влияет и на белых юношей и девушек, которые присоединяются к неграм, встают с ними плечом к плечу — черное лицо, белое лицо, — бросая вызов полиции и судьям. Это могучий фактор возрождения нашей молодежи.

В наши дни негритянский вопрос — это вопрос совести всей Америки. И белые юноши и девушки, особенно студенты, сознают это. Последствия будут иметь огромное значение. То, что происходит в этой области, можно рассматривать как моральный противовес известным всему миру жестокостям в Южном Вьетнаме, в которые вовлекают молодых американских солдат, жестокостям, направленным против цветных народов Азии. Но в этом повинна не молодежь.

На мой взгляд, большинство молодых американцев не стремится обрести убежище в казарменной цивилизации. Большинство из них не является сторонниками «бешеных», подобных генералу Уокеру из Далласа, отказавшемуся присутствовать на похоронах убийства президента Кеннеди. Американский генерал Уокер — это последователь Франко или франксистского генерала Кейно де Альино, провозгласившего: «Да здравствует смерть!»

Итак, несмотря ни на что, — видит бог, для этого есть достаточно оснований — ваша молодежь в большинстве своем отказывается от покорности, отказывается принимать установки питуристов.

Отпор обожествлению Марса — не в этом ли одна из исконных традиций нашего народа, предпочитающего оставаться с Марком Твеном, Уолтом Уитменом и выступать против разрушительных действий империалистов? Обо всем этом стоит серьезно подумать. Откуда берут свое начало те «прохладные, освежающие источники», о

которых говорит руководитель Компартии США Гэс Холл? Разумеется, не из гигантских сейфов Первого национального банка. Они берут начало от старшего поколения, вернее, от лучшей его части — от поколения отцов и матерей. Следует признать, что старшее не сделало того, что им следовало бы, по отношению к молодежи, во это, несомненно, произошло потому, что они не знали, какой путь является лучшим... Тем не менее в старшем поколении должно быть заложено нечто ценное, иначе откуда бы встать этой жизненной силе, подлинной порядочности, глубокой вере в будущее? «Прохладные, освежающие источники» неизбежно должны были питать поколение отцов, чтобы дойти до их детей.

«Нет, не все рзкет»¹, — сказал мне на днях один семнадцатилетний паренек. Было бы слишком просто считать все окружающее рзкетом. Об этом часто говорят газеты и последние выпуски Минки Синалейна². Но врид он живет рзкет в Дуах отцов, напряженно трудящихся изю дня в день над строительством небоскребов и аэродромов, работающих для того, чтобы у их семей был хлеб на столе. В подавляющем большинстве поколение отцов стремится к такой цивилизации, при которой на земле будет царить мир между народами. Мир они предпочитают волчьей морали, которая так часто бьетют среди финансовых воротил. Мечту Авраама Линкольна предпочитает притязаниям рабовладельца Джефферсона Девиса. И эта истина в основном едина как для отцов, так и для детей.

Такими мне представляются настроения, пробуждающиеся в среде нашей молодежи. Молодые американцы видят, что ослабляется военное напряжение; они начинают верить, что его можно уничтожить, что ему может прийти конец. А в наш атомный век где мир — там и надежда.

Мой семнадцатилетний друг, выхристый ясногозлатый паренек, мечтает поступить в колледж. Он напряженно трудится все лето, чтобы заработать деньги на учебу. Многие молодые американцы похожи на него. Они не боятся тяжелого труда, как его не боялись их деды и отцы, когда вырубали деревья, чтобы воздвигать на месте лесов огромные города.

«Если бы все были поддесами, не стоило бы жить на свете», — сказал мой юный друг. Он еще не знает, что жизнь может быть устроена так, что все люди станут братьями. Священники убеждают его, что это возможно лишь на «том свете». Но есть люди, утверждающие, что это может быть у нас на земле и что это время не за горами. И когда мой друг узнает об этом, он привычным жестом засучит рукава...

Нью-Йорк.
США.

Рисунки В. Никитина.

¹ Афера, обман.
² Автор комиксов.

Перевела с английского
Ф. ЛУРЬЕ.



АКТЕРЫ без ГРИМА

(Из книги воспоминаний)*

ДУША КЛУБА

Небольшой холл в клубном подвале с легкой руки Москвина получил кличку «предбанника».

«Предбанник» хотя и был лишен дневного света, но полюбился художникам. Его стены постоянно использовались для небольших выставок, но чаще всего им завладевали карикатуристы. Особенно отличались едкими и остроумными панно на театральную злобу дня М. М. Черемных, К. П. Ротов и К. С. Елисеев. В дальнейшем к ним присоединился молодой Федя Решетников, возвратившийся из полярных странствий на «Челюскине». Временами в конкуренцию с ними вступали Кукрынины. Их карикатуры тоже пародировали картины московских художников. На этой сатирической выставке доставалось «всем сестрам по серьгам».

В один из вечеров весной 1936 года я застал в «предбаннике» старых друзей — Москвина, Климова и Чкалова, направившихся в ресторан, возглавляемый энтузиастом этого заведения, любящим всех муз Яковом Даниловичем Розенталем, прозванным актерами «Бородой». Обильная растительность, окаймлявшая его восточное лицо, вполне оправдывала эту кличку. В кулинарных познаниях с «Бородой» мог соперничать, пожалуй, только Михаил Михайлович Климов, которого свободно допускали на кухню, где он изумлял поваров приготовлением каких-то необыкновенных изысканных блюд и бесподобными быточками «по-климовски».

На этот раз друзья задержались в клубном холле, успокаивая взорвавшегося Валерия Чкалова: летчик был искренне возмущен выставкой картин одного молодого художника, избравшего темой своих работ жизнь советских детей. Дети на его картинах, как на подбор, были заморенные, тощие и хилые.

— Где он набрал этих ребят? — рычал Чкалов. — Кто это за туберкулезный санаторий? Или он не ви-

дел здоровых, хороших детей? Или он не бывал в школах, в детских садах и, наконец, просто на улицах?

— Это ты прав, Валерий Павлович, туберкулезная выставка! Недосмотрели мы, недосмотрели. Не художник, а «детубийца!» — соглачился Москвин, покачивая головой...

Многие встречи в клубе со знавшими людьми, с политическими деятелями, с Героями Советского Союза, ударниками фабрик и заводов проводились при непременно личном участии Москвина. Больше всего его заботила всегда атмосфера этих встреч: как сделать так, чтобы поменьше было официальных, чтобы гости чувствовали себя в домашней обстановке.

К встрече с ударниками московских фабрик и заводов в 1931 году Москвин вместе с Климовым создал при клубе шуточный хор пародных и заслуженных артистов, которые насчитывались в то время единицами. Все актеры, имевшие почетные звания, могли спокойно разместиться на нашей миниатюрной клубной эстраде.

Хор исполнял старинные солдатские песни — «Соловей, соловей, пшачека» и другие. Дирижировал сам Москвин. За роялем сидел создатель ансамбля песни и пляски Советской Армии А. В. Александров, иногда его заменял ансамбль баянистов Театра имени Мейерхольда. Главным запевалой являлся Климов, сопровождавший пение пропительным свистом. Климов проделывал это виртуозно, закладывая два пальца в рот. В составе хора мирно сосуществовали артисты оперы и драмы. Единственным объединяющим их признаком являлась «заслуженность».

Необычно было видеть в роли рядовых хористов знаменитых артистов А. Собинова, братьев Роберта и Рафаэла Адельгеймов, С. Михоэлса, Прова Садовского, А. Леонидова, В. Качалова, А. Крамова, В. Р. Петрова, И. Берсенева. Каждый из них работал в хоре не за страх, а за совесть, выполняя свою миссию с необычайной серьезностью, создавая в то же время яркие индивидуальные комические образы.

Во время исполнения Москвин неожиданно оставался хор взмахом дирижерской палочки, тыкал в сторону Собинова и строго его корил:

— Фальшивишь, братец, ой, как фальшивишь! И где у тебя только слух? Как твои фамилии, братец? — Собинов!

— Ну, для Собинова ничего особенного! И хор продолжал захлыватски петь свою «пшачеку».

Эх, раз, эх, два —
Горе не беда,
Канаречка жалобно поет!

Состав хора время от времени обновлялся за счет новых заслуженных. Неизменными оставались в нем только дирижер, запевала и концертмейстер.

Москвину долго принадлежала роль клубного заведомы. Он был непременно участником многих концертов и «жапустинок», выступая в паре с замечательной артисткой — миниатюрной старушкой Ма-

* Начало см. «Юность» № 10, 1964 г. Книга В. Филиппова «Актеры без грима» готовится к печати издательством «Советская Россия».



В. П. Чялов и Н. М. Мосенин в клубе мастеров искусств. 1938 г.

Фото А. Пархоменко.

рией Михайловной Блюменталь-Тамариной. За свою долгую артистическую жизнь она создала галерею незабываемых образов классического и современного репертуара.

В 1934 году клуб мастеров искусств начал усиленно «почковаться». Вначале появился небольшой филиал для художников в Ветешном ряду, в здании, ныне занимаемом ГУМОм. Затем — в Ипатьевском переулке, угол Иальки (ныне улицы Куйбышева), где для него нашлось еще один подвал.

По удивительному стечению обстоятельств, в этом здании некогда родился Москвин.

— Ну, здесь-то я наверняка должен чувствовать себя как дома! — шутил Иван Михайлович, впервые спускаясь в новый «ипатьевский подвал».

Открытие филиала ознаменовалось очередным «капустником».

В то время Театр сатиры обрадовал московскую публику веселой комедией Шкваркина «Чужой ребенок». Об этом спектакле говорили повсюду как о событии московской театральной жизни. Наконец-то появилась советская комедия!

— Ну, что ж, — сказал Москвин, — а мы-то чем хуже! Нашу программу мы назовем «Свой ребенок». Филиал-то у нас «новорожденный».

Для того, чтобы улагодить всех желающих попасть на открытие, «капустник» решено было показывать два дня подряд. Но на второй день произошло казус, что было не сорвавший «коронный номер» программы — шуточный лубок, отрепетированный Москвиным, с участием М. Климова, В. Пашенной, С. Михозаса, братьев Адельгейм, М. М. Блюменталь-Тамариной и баса В. Р. Петрова, артиста Большого театра.

На сцене устанавливалась карикатурное панно с изображением пионерского хорного ансамбля. В нем были оставлены прорезы для лиц и рук живых участников этой шуточной капеллы.

«Премьера» имела шумный успех, но на следующий день заболела Блюменталь-Тамарина. Заменить ее оказалось невозможным. Одно «окно» пустовало и оставалось беззвучно. Тогда Москвин заказал незаполненную прорезь листом бумаги и написал на нем: «Мария Михайловна сегодня выходит!»

Выход был найден!

На одном из «капустников» гостей известили, что В. В. Барсова исполнит вокальный дуэт вместе с Москвиным.

Оба они появились на эстраде с аккомпаниатором, и Валерия Владимировна спела арию Матон, а Иван Михайлович, изображая ее «кузена», безумно реагировал на пение своей партнерши соответствующими жестами и мимикой. Немое сопровождение Москвиным волшебного пения Барсовой, наполненное тонким юмором, явилось демонстрацией высокого артистического мастерства и вызвало горячее одобрение собравшихся актеров.

Я помню Ивана Михайловича как инициатора экскурсий в только что отстроенный метрополитен в 1935 году. Еще до окончания строительства Москвин и Климов встречались в клубе с проходчиками-метростроевцами, потом несколько раз выезжали на отдельные строительные участки и даже спускались в шахту метро. Как же было не показать актерам результаты работы строителей!

Экскурсия состоялась до официального открытия метро и началась с посещения станции «Охотный ряд». Иван Михайлович, как, впрочем, и все остальные, был в полном восторге. Спускаясь на эскалаторе, он размахивал шапкой и кричал:

— За мной, братцы! В присподиюю! Я здесь свой человек!

Вскоре он возглавил поход в Оружейную палату Кремля. Добиться этой экскурсии оказалось нелегко. Кремль был тогда недоступным для простых смертных. Даже непревзойденный «Царь Федор Иоаннович» с трудом был допущен в Оружейную палату. Все привлекало внимание Москвина, но особенно пристально рассматривал он шапку Мономаха, осыпанную драгоценными камнями.

— Ничего себе «шапочка! Побогаче моей, мхатовской! Тут есть что подобрать для «царя Федора!»

Когда Иван Михайлович был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, первое его вступление с избирателями происходило в нашем клубе, и всегда в своих выступлениях он умел найти какой-то домашний, родственный, располагающий тон.

Москвину принадлежала главная роль в установлении дружеских связей артистов союзов с полярниками еще со времен первых экспедиций «Сибирякова» и «Челюскина» в Арктике.

Со знаменитой четверкой папанинцев клуб связался еще в тот момент, когда ледокол «Ермак» с героями на борту пробивался сквозь льды Арктики в Мурманск.

По предложению Москвина мы организовали специальную радиопередачу из студии для папанинцев и экипажа ледокола. Иван Михайлович произнес у микрофона сердечные слова и пригласил героическую четверку посетить клуб по возвращении в столицу. Не прошло и часа после окончания концерта, как мы получили ответную радиogramму с борта «Ермака». Папанин, Ширшов, Федоров и Кренкель сообщили, что самым лучшим была отличной и, конечно, они не преминули воспользоваться приглашением Москвина.

— Ну, что ж, — сказал Иван Михайлович, — всякая миссия требует комиссии. Хоть вы и не просите, даю согласие председательствовать!

Началась длительная подготовка к встрече дорогих гостей. Москвин вынаивал в каждую мелочь. Бригада художников днем и ночью оформляла клуб, превращая его в уютлок Арктики. Работами по оформлению руководил художник Б. Г. Кноблок. Ледяные сосульки из целлофана свисали с потолков и со стен. Даже роаяль был весь в ледяных сосульках.

Испытанная троица — Черемных, Ротов, Елисеев — мастерил арктическое панно. Им помогал «учебный консультант», специалист по Арктике, «челюскинец»

1 Москвин был первым исполнителем этой роли во МХАТе.

Федя Решетников. Тема павно: «Как себя чувствовали бы работники искусства на дрейфующей льдине». В меховых одеяниях, пимах и шапках с наушниками Ташров сражался с Охлопковым, Владимир Хенкин мчался на оленьей упряжке с концерта на концерт: ничто не изменилось, несмотря на исключительность «предлагаемых обстоятельств».

Настал долгожданный день приезда папанинцев в Москву.

— Ну, братья, теперь не зевайте! — предупредила нас Иван Михайлович. — Теперь на них накнуты все, Растаскают по частям. Если сейчас их упустить, то всему вашему арктическому оформлению грош цена. Открывайте тогда в нем торговлю эскиммо. Берите с собой Хенкина, Образцова, Набатова, всех самых веселых людей и — айда по квартирам!

На следующее утро мы начали обедать четверки. С кого начать? Хенкин был в дружеских отношениях с Э. Т. Крекелем. Решили направиться к нему. В 11 часов утра мы явились к Эрнсту Теодоровичу, знаменитому радисту папанинской бригады. Крекель вышел к нам полуодетым, расцеловался со всеми нежно и просто, как старый товарищ. Володя Хенкин с места в карьер начал сыпать шутками, остроумия, каламбурами. Получив согласие на встречу, мы направились к Папанину, который был уже предупрежден телефонным звонком Крекеля. Хенкин спешил на репетицию, и в делегацию его заменил Образцов.

Лестница, ведущая в квартиру Папанина, утопала в цветах. Подъезд охранялся пионерскими отрядами. Перед нами выросла живая обложка стены.

— Куда вы? Иван Дмитриевич отдыхает!

Мы с трудом прорвали кордон этих добровольных часовых и вошли к Папанину. В квартире бесконечно звонил телефон. Звонили дети и взрослые. Справлялся о здоровье, желал счастья, поздравлял с возвращением. В квартиру стремились проникнуть фоторепортеры, являлись делегация школы с рапортами. Папанин принял нас в столовой. Он казался усталым, да иначе и быть не могло.

— Скажу вам честно: на льдине было куда спокойнее, чем в Москве. Не успеваем отбиваться.

— Иван Михайлович Москвин очень просил вас принять наше приглашение.

— Два Ивана всегда договорятся, — пошутил Иван Дмитриевич. — Но у нас есть начало. А если есть начало, значит, надо согласовывать. Мы — «за!» Согласуйте с Отто Юльевичем Шмидтом. Он начальник Главсевморпути. Только он сейчас отдыхает у себя на даче.

На следующее утро Хенкин и я ринулись к Отто Юльевичу на Никольную гору, под Москвой. Знаменитый исследователь Арктики был окружен таким ореолом славы, что мы рассчитывали встретить серьезные преграды на своем пути. С нами в машине ехал секретарь Шмидта, Леонид Мухомов, участник челябинской экспедиции, покинувший ледокол задолго до его гибели. Вместе с пятью участниками экспедиции, среди которых был и поэт Илья Сельвинский, он добрался до берега по льду, выполняя специальное задание Шмидта. Сейчас он спешит договориться с шефом о новой командировке на ледокол «Ангек».

Никто из нас троих не имел представления о даче Шмидта. Даже Мухомов не был здесь ни разу. Мы думали, что полярный исследователь, крупный ученый занимает комфортабельный особняк.

— Ну да, так он нас и примет, — ворчал Хенкин. — Несось, вокруг охрана, как у ворот Кремля.

И не было границ нашему удивлению, когда как-то тетка указала нам на неблагоустроенную двух-

этажную дачку, без всякой ограды, с полуразрушенной перадой. Это и была «резиденция» самого популярного человека в стране.

Нас радушно приняла жена Отто Юльевича. Герой Арктики отдыхал на верхней террасе. Ветер развевал его большую поседевшую бороду, так хорошо знакомую нам всем. Усыпав шаг, Отто Юльевич вскочил со своего ложа и направился к нам, крепко пожмая всем руки. Особенно обрадовался Хенкину. Его он знал по театру и эстраде и любил как выдающегося комедийного актера.

— Вы не боитесь простудиться, Отто Юльевич, после Арктики? — спросил Хенкин.

— А вы не шутите. По такой погоде это легче, чем в лютый мороз. Я в Москве гораздо чаще болею, чем за Полярным кругом. Поезжайте туда на гастроли, сами убедитесь!

Хенкин заверил Шмидта, что он мечтает выступить на дрейфующей эстраде. Нам казалось, что после обмена шутками успех нашей миссии наполовину обеспечен. Перейдя в наступление, Хенкин передал хозяину письмо от Москвина с приложенным фотокопией записи Шмидта, сделанной им собственноручно в Книге почетных посетителей клуба. Отто Юльевич имел неосторожность написать тогда следующие строки: «После холодной и суровой Арктики — так приятно согреться и отдохнуть в теплых стенах Московского клуба мастеров искусств». Вот мы и решились напомнить ему его же собственные слова. Но внезапно Отто Юльевич резко изменил тон и сухо сказал:

— Я не могу вам дать согласие на выступление четверки. Я категорически против. Вчера, на приеме в Кремле, правительством предложено обеспечить всем отдам и нигде не выступать.

— Мы не намерены нарушать указание правительства, Отто Юльевич. Мы и хотим обеспечить папанинцам отдам в нашем клубе. А вы нам противостаете! Значит, нарушаете правительственные постановления вы, а не мы!

Шмидт рассмеялся, вынимая железную логичку Хенкина. Выслушав план вечера, он растаял и дал согласие на встречу.

В клубе нас ждал Иван Михайлович. Мы вошли с трагически унылыми лицами.

— Отказал? Эх, вы, детки! Не могли уговорить!

— Отказал, Иван Михайлович! — отгрызлись Хенкин. — И кому отказал? Москвину отказал! Ведь письмо-то было от тебя.

Видя волнение Москвина, я не выдержал:

— Будут, Иван Михайлович, все будут! Можно рассматривать приглашения.

Через два дня гости прибыли в наш «филиал Арктики». Вход в Старопименовский подвал освещала яркая луна, как две капли воды похожая на круглолицего Папанина. Два актера, одетые в шкуры белых медведей, встречали дорогих гостей уже при входе. Третий «медведь» — он же Сергей Образцов — вел программу вечера. Из-за ширмы появилась его белая голова и когтистые лапы. Зверюга открывал розовую пасть и вел романс:

Глядя на луч полярного заката,
Сидели мы у самой кромки льда.
Мы лапу жали мне. Промчался без возврата
Часы любви. Нечелси навсегда.

Романс заканчивался лирическим обращением ослепшего медведя к Папанину:

Конец любви был так жесток и страшен!
Гляжу вслед, рыдая и скорбя...
Вернись, и все прощу. Па па па па-папанни!
Мне холодно на льдине без тебя!

Хевкин по привычке остря, что Образцов оказался вапанинцем «медвежья услуга». Но «услуга» пришла по вкусу гостям. Номер действительно был отличным.

Громкий успех выпал на долю молодого Владимира Дурова, вливающегося с тремя морскими львами приветствовать мужественную четверку. Дрессированные львы долго аплодировали вапанинцам своими лапами.

Москвин хлопотал на этом вечере больше всех, провигив настоящее радушие хозяина, принимающего долгожданных гостей. Он был в подлинном смысле слова ответственный человек. Так же честно и ответственно, как служил он искусству, относился Москвин и к своим общественным обязанностям. А их было у него немало!

Мне вспоминается первый творческий вечер Москвина в клубе 3 апреля 1935 года. Иван Михайлович готовился к выступлению как к подлинному творческому отчету перед театральной общественностью столицы. Бесконечно волновался и почти ежедневно репетировал на сцене клуба. Задолго до начала вечера сидел он в отведенной для него комнате, серьезный и сосредоточенный. Беззвучно шевелил губами, очевидно, повторяя слова ролей, иггранных им многие сотни раз...

На вечере были показаны сцены из спектаклей «Царь Федор», «Село Степанчиково и его обитатели» и «Мертвые души». В каждой из сцен Иван Михайлович поража л товарищей по искусству своим изумительным мастерством.

В конце 1938 года Москвин «подал в отставку». Клуб мастеров был преобразован в Центральный Дом работников искусств. Много сил положила на это и Иван Михайлович. Но тянуть новый воз ему стало уже тяжело.

— Вот отроем ЦАРИ—и ищите себе нового председателя. Валюша Барсова с успехом меня заменит. А я уже охрип!

В начале января 1939 года нужно было предпринять последние усилия для того, чтобы оканчить капитальную реконструкцию здания, предоставленного ЦАРИ на Пушкинской улице. Строительство велось на средства, собранные работниками искусств страны, иггранными спектакли и концерты в фонд будущего Дома искусств. В последний момент залез с материалами. Решили обратиться к «верхам».

Москвин, Барсова и я были приняты в Кремле Михаилом Ивановичем Калининим. Всесоюзный староста долго расспрашивал нас о нашем Доме, об актерском быте. В особенности волновал его вопрос о том, как живут старые актеры после ухода со сцены. Пенсионная проблема в то время еще не была решена. Москвин без всяких прикрас, вполне реалистично рассказал о положении среднего актера.

— Мы должны подумать о стариках, не только об актерах, конечно, но просто о стариках. Нам с вами, Иван Михайлович, это особенно понятно, учитывая ваш возраст,— сказал Калинин.

— Если б я был не Иваном Михайловичем, а Михаилом Ивановичем, я б обязательно об этом подумал! — лукаво отвечал Москвин.

— Ну что ж, вы ведь тоже член правительстве. А теперь поговорим конкретнее. Вы же ко мне не просто так пришли, с визитом вежливости. Думаю, что вам что-нибудь от меня нужно?

— У вас два вопроса. Один духовный, а другой материальный. Разрешите начать с первого?

И Москвин попросил Михаила Ивановича выступить перед работниками искусств Москвы на тему о

задачах советской интеллигенции — и тут же получил согласие.

Калинин хитро улыбунулся и прищурился через стекло своих очков.

— Духовные проблемы мы с вами решали просто, а вот материальные — это дело посложнее. Что же вам надобно еще?

Москвин объяснил М. И. Калинини, что мы не можем открыть ЦАРИ из-за сущего пустяка: не хватает километра кабеля для освещения дома.

— Километр кабеля, по-вашему,— это пустяк? Это далеко не пустяк, дорогой Иван Михайлович. Вы же депутат Верховного Совета СССР и должны знать, как при таком размахе строительства сложно у нас с материалами. А куда вы обращались?

— Просили в Моссовете. Не дают.

— А у кого просили?

Я назвал фамилии работников Моссовета.

— Ох, уж и не знаю, чем вам помочь! Все новые, неизвестные фамилии! Поверьте, что я с ними незнаком. Попробую, конечно, но не ручаюсь за успех.

— Но зато они вас знают, Михаил Иванович, а это куда важнее!

Через три дня мы получили кабель. Самое печальное, что, как выяснилось потом, строителям нужно было этого кабеля в три раза меньше, чем они от нас требовали.

9 января, в 12 часов ночи, М. И. Калинин выступил перед работниками искусств Москвы с речью о необходимости овладения марксистско-ленинской теорией и методом социалистического реализма.

Две тысячи актеров, художников и музыкантов заполнили фойе Большого театра. Сталь позднее время было выбрано затем, чтобы дать возможность актерам попасть на доклад после окончания спектаклей.

Выступление М. И. Калининя явилось, по существу, первым крупным политическим событием в жизни еще не открывшегося официально Центрального Дома работников искусств.

В мае того же года на Пушкинской, 9, состоялся торжественный вечер открытия ЦАРИ.

— В добрый час! — сказал Москвин. — В 1920 году в этом здании дважды выступал Ленин. Пусть это будет напутствием в идейной работе нашего Дома. В 1887 году молодой Станиславский играл здесь Ихарева в любительском спектакле «Игроки» Гоголя, а вскоре после пожара в Охотничьем клубе сюда были перенесены спектакли Общества искусства и литературы, руководимые Константином Сергеевичем. Именно здесь 8 февраля 1891 года состоялась премьера комедии А. Н. Толстого «Плоды просвещения». Пусть это явится залогом борьбы нашего Дома за театральную культуру и мастерство! В добрый час!

И, пожелав всем успеха в работе, Иван Москвин сдал «клубную вахту» Валерии Барсовой.

Правда, и в дальнейшем он не отказывал клубу в своей помощи советом и делом.

МУДРЫЙ СОЛОМОН

В сложном и противоречивом мире искусства не так легко завоевать непререкаемый авторитет. В искусстве так же, как и в литературе, всегда возникают поводы для споров.

А этот человек — невысокого роста, с лицом библейского философа, отвисшей нижней губой и боль-

шим, умным, выпуклым лбом — пользовался общим признанием и симпатией всей артистической среды.

Он был признан как художественный руководитель театра, как философ и теоретик искусства, как пламенный трибун и общественный деятель и как актер, водопитавший на сцене галерею незабываемых образов — от нежного Тевье-молодчика до трагичного Короля Лира.

Некоторые пытались объяснить отношение к нему не только его бесспорным талантом, не только

На творческих совещаниях и конференциях в нашем клубе часто можно было наблюдать людские «примамы» и «отанывы». Актеры и режиссеры, утомленные речами ораторов, заполняли кулуары клуба. В клубном фойе и в коридорах курили. Стояла несмолкаемый гул голосов. Дискуссия переносилась в небольшие группы и пылала «вольным пламенем». Но вот шум внезапно стихал, и человеческая волна вновь устремлялась в зал: сейчас будет выступать Михозал!

На трибуну поднимался человек, всем своим обликом противоречащий обычному представлению об актере. Недаром он говорил, что мечтает о международном конкурсе на самую несценичную внешность, где ему наверняка обеспечено звание лауреата.

Аудитория слушала Михозала, затанув дыхание, не отрывая глаз от оратора, сопровождавшего свою речь только ему присущими скупыми, пластичными жестами. Ему был чужд какой бы то ни было внешний доск. Многих удивляла какая-то подчеркнутая небрежность его одежды. В личных вопросах Михозал был в полном смысле слова человеком «не от мира сего». Но только в личных... Там, где решались проблемы театра, он всегда проявлял непримиримую принципиальность.

У меня сохранились старые блокноты с записями из речей и бесед выдающихся советских актеров. Я листаю эти пожелтевшие странички.

— Что же такое актерский образ? — говорил Михозал. — Образ, как я его понимаю, — продолжение моей общественно-политической деятельности. Если у меня нет ясных политических взглядов, нет мироощущения, то и мое искусство останется бездейственным. Все это не следует понимать примитивно и вульгарно. Общественное не определяется членскими взносами в МОИР. Прежде всего надо уметь смотреть на свою работу как на общественно-политическую деятельность. Этим советский актер отличается от зарубежных актеров. Когда я был в 1943 году в Америке, я встретился в Голливуде с Анионом Фейтвангером. В разговоре со мной он сказал: «Я должен предупредить вас, что не занимаюсь политикой потому, что я в ней ровно ничего не понимаю. Я писатель, романист, новеллист. Политика — это не моя сфера». «Очень хорошо, господин Фейтвангер, что вы меня об этом предупредили, потому что после того, как я прочел ваши произведения — «Успех», «Иудейскую войну», «Безобразную герцогиню», «Еврей Зюсс», — у меня как раз сложилось обратное мнение. Я твердо пришел к выводу, что вы занимаетесь политикой! И я особенно чувствовал это, когда снимался в фильме «Семья Опенгейм», созданном по вашему роману». Я вынужден был сказать Фейтвангеру, что он производит впечатление молодерского героя, который прожил долго, но не подзревал, что всю жизнь разговаривал прозой!

Этот эпизод Михозал рассказал потому, что в нем самым пылал огонь борца против бездейности в искусстве, за подлинный интернационализм.

— Идея — это крылья, которые несут актера вперед, — говорил он молодым актерам. — Учиться надо у тех, с кого начинается вообще воспитание человека, с кого начинается восхищение искусством и жизнью. Учиться нужно у литературы как ведущего и основного вида искусства. Каким бы вы искусством ни занимались, все равно, первое, с чем вы встретитесь, — это Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Горький. Они вас окружают, они велят вас под руку и привели к искусству. Вот почему, с трибуны, в школе,



С. Михозале в роли Короля Лира.
Рис. А. Тышлера, 1942 г.

его обаянием и личными человеческими качествами, но и тем, что возлагаемый им театр был в Москве единственным в своем роде. Его, мол, не с кем было сравнивать. Но значение Михозала в искусстве, конечно, переросло рамки национального театра.

Руководимый им Государственный еврейский театр был, конечно, смыслом его жизни, как и все, что касалось вопросов национальной культуры народа, сыном которого он являлся. Однако этому человеку никогда не была свойственна узконациональная ограниченность. Он был ярким врагом национализма, повинизма. С глубоким уважением относился он к великой русской культуре, которую высоко ценил, знал и любил, как наиболее близкую по духу и сопричастную ему с юных лет. И в то же время он черпал все лучшее из сокровищницы мирового искусства.

К его суждениям о театре прислушивались все.

в театре — всюду я утверждаю, что вне идейно-политической литературы нет театра!

— Вопрос о воспитании актера, — говорил Михозас, — хочется разделить на две части. Актера воспитывают педагоги, режиссеры, театр, окружающая действительность. Но есть еще один существенный момент, который я бы назвала «воспитанием актера в самом себе». Рассказывают, что однажды в Александринском театре, где играл знаменитый Варламов — или, как его называли, «Дядя Костя», — репетировала молодой режиссер-новатор. Варламов пришел на репетицию, сел и сказал: «Ну, режиссер, «стандзуй» меня!» Это была, конечно, шутка. Но часто молодые люди, поступающие в театральные учебные заведения, тоже говорят: «Воспитывайте меня!» Они не понимают, что без умной работы в области самообразования никакой опытный педагог и гениальный режиссер не сделают их актерами. С первой же минуты надо воспитывать в себе поэтическое видение жизни, умение распознавать бурный, насыщенный радостями и муками мир, закрепить свои ощущения в образах. Актер — прежде всего поэт. Способность видеть мир во всех его сложностях и противоречиях, конечно, зависит от мировоззрения актера. Но если это мировоззрение не сопровождается умением поэтически осмыслить действительность и раскрыть в художественных образах постигнутую истину, то, с актерской точки зрения, все это останется бесплодным. Когда я говорю о поэтическом восприятии мира, я ни в коем случае не противопоставляю это понятие идейному началу.

Я помню Михозаса, делившегося как-то с актерами своими впечатлениями о Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Он был потрясен игрой молодой артистки Родионовой, создавшей образ Зои Космодемьянской в спектакле «Сказка о правде».

— Вы подумайте, эта актриса всего лишь два года на сцене. В театральную школу она пришла после трудового пути медицинской сестры на фронтах Великой Отечественной войны. Я был на этом спектакле с большой группой испытанных театралов. Не могу передать вам того волнения, которое нас охватило. В последнем акте режиссер поставил перед артисткой невероятно сложную задачу. Она одна, эта маленькая девушка, на огромной сцене театра, с его уютным огромным зрительным залом. Сорок минут длится четвертый акт, а в холодном зале температура поднималась до состояния накала, и зрители сидели, затан дыхание. Как она сумела добиться победы? Только своим поэтическим даром. Возле меня сидел Александр Борисович Гольденвейзер — старый человек, много видевший в жизни... Мне показалось, что с него свали десятилетия, в нем снова загорелась молодость. Мне хотелось все, чтобы все, избравшие путь на сцену, полностью овладели поэтическим языком и помнили о том, что актер должен уметь выражать идеи в одухотворенной, поэтической форме!

Вера в литературу, горячая любовь к ней сдружила Михозаса с писателями, и особенно с Алексеем Николаевичем Толстым. Михозас высоко ценил творчество этого выдающегося мастера пера.

Владимир Яковлевич Хенкин, друживший с Михозасом, во ради красного словца не издавший родного отца, не преминул как-то связать:

— Что это ты, Соломончик, все время вращаешься в аристократическом обществе: то — граф Толстой, то — граф Игнатьев!

— Не завидуй, Володя! — спокойно отвечал Михозас. — Зависть — это паскудное чувство. Не забудь, что ты имеешь дело с Королем Аиrom. Неприветство еще — кто у кого в долгу!

Хенкин также постарался не остаться должником и тут же огрызнулся эниграммой:

Актер, жаник немного в мире.
Он много лет играл на «Лигре».
Теперь мы просим об одном:
Сыграй на чем-нибудь другом!

Михозас ценна юмор, да и сам любил пошутить, причем так, что порой нельзя было различить, где он шутит, а где говорит серьезно. Он нередко приводил в пример афоризм: «Талант — как деньги: если есть — так есть, а если нет — так нет!».

Я часто видел Михозаса веселым и жизнерадостным. Но однажды он просто не мог успокоиться от смеха. Правда, вместе с ним не мог пережить дыхания и весь заполненный зрительный зал. Было это в марте 1940 года. С большим трудом удалось склонить его на юбилейный вечер в нашем клубе: с отвращением скептицизмом относился он к юбилейным славословиям и талантливо изображал в лицах все то, что говорится в подобных случаях с трибуны и в кулуарах.

Уговорить Михозаса удалось только гарантией, что это будет веселый «капустнический» вечер.

Обязательство было выполнено, правда, лишь частично, но юбиляру некуда было уже отступать. Окончательно сразило Михозаса выступление Центрального театра Красной Армии.

Приветствовать юбиляра вышла группа участников спектакля «Полководец Суворов», все в костюмах и гриме. На сцене развертывался острый диалог Суворова и Павла I. Задыхаясь от злобы, жгущая кулаки, Павел истошно кричал одетому не по форме фельдмаршалу:

— Бунтовщик! Флибустьер! Я всех вас переверну! Мундир!.. Мундир!.. Нарочно не падеж! Наквосье вижу! Молчать!.. Я император! Я повелитель! Я... я... я! Кутайсов!

На сцене появилась раболобный Кутайсов.

— Позвать ко мне Михозаса! — приказал Павел. — В мундире, по юбилейной форме!

Кутайсов мгновенно оказался в зале и извлек на сцену юбиляра, сидевшего в первом ряду. Павел внимательно осмотрел его, постучал тростью об пол и сказал:

— Малоз, Михозас! Зай гезуд!¹

Дальнейшее приветствие было продолжено российским императором на еврейском языке.

Трудно передать, что происходило в этот момент с Михозасом. От смеха он буквально вался с ног, ему пришлось подать стул...

Правда, доводилось мне видеть Михозаса и грустным, расстроеным. И не только своими неудачами, но и бедами своих товарищей по искусству.

Искренне переживал он закрытие МХАТа второго, а позднее — неудачи Камерного театра. Тревожили его вопросы репертуара собственного театра и проблема зрителя.

¹ Поздравляю, Михозас! Будь здоров! (е в р.).

Не раз он говорил о том, что молодежь в большинстве не знает еврейского языка. Все это отражается и на ее внимании к Государственному еврейскому театру. И в то же время он всем своим сердцем любил эту молодежь, встречающую с иронией патриархальные традиции.

Гневным и непримиримым видел я Михозаса во время войны. Всю силу своего могучего ораторского таланта обрушивал он против фашизма, выступая на многочисленных собраниях и митингах как подлинный трибуна. Таким он оставался до конца жизни.

Работая в Еврейском антифашистском комитете, он обращался к евреям всего мира, и это был мужественный голос гражданина Советского Союза: «В нашей свободной Родине выросло новое гордое поколение — поколение, которое впитало в себя великие прогрессивные идеи человечества. Поколение, всем своим существом понявшее значение слова «Родина» для всех населяющих ее народов. Такое поколение не знает страха! Такое поколение не может чувствовать себя жертвой!»

В начале января 1948 года Соломон Михайлович возглавил комиссию по организации в ЦДРИ вечера памяти А. Н. Толстого, в связи с 65-летием со дня его рождения.

Однако вечер, на котором Михозас должен был председательствовать и выступать с воспоминаниями о своем друге, состоялся уже без него. Из Минска была получена страшная, непостижимая весть о том, что мы никогда уже больше не услышим Михозаса. Свежа еще была боль тяжелой утраты: всего неделя прошла со дня трагической гибели выдающегося советского артиста. Из текста приглашений билетов, разосланных на вечер, не успели даже изъять строку о том, что «председательствует Михозас».

И вполне понятно, что собрание, посвященное памяти А. Н. Толстого, невольно превратилось в вечер воспоминаний о творческой дружбе писателя с Михозасом.

Генерал-лейтенант А. Игватев в письме, посланном Людмиле Ильиничне Толстой, выражал сожаление, что болезнь помешала ему быть участником «вечера, устроенного самым близким другом Толстого — Соломоном Михайловичем».

«Оба эти друга, — писал Игватев, — для меня навсегда останутся неотделанными, и не из тех чувств,



Художник И. Павлов, артисты С. Михозас, В. Качалов, М. Семенова и М. Михайлов на печере в Центральном доме работников искусств. 1940 г.

которые мы друг к другу питаем, а из-за общего для этих двух мыслителей взгляда на русскую историю и русскую действительность. Они одинаково любили Россию, потому что одинаково ее понимали.

Они недаром прожили жизнь, оставив для многих поколений вашей Родины образцы истинного искусства. Будем учиться у Алексея Николаевича — как писать, у Соломона Михайловича — как играть на сцене, а у обоих — как надо мыслить и судить об искусстве».

Идеологи и моралисты, состоящие на службе у буржуазии, не смогут понять, что только Великая Октябрьская социалистическая революция могла сломать социальные и национальные перегородки в нашей стране. Мог ли в эпоху «блуждающих звезд» Шолом-Алейхема даже самый выдающийся еврейский актер мечтать о звании народного артиста, о награждении высшим орденом государства? Мог ли об этом думать Михозас, родившийся в патриархальной еврейской семье Вонси, стремившейся видеть сына в роли присяжного поверенного или врача, но никак не Короля Аира?

Буржуазные моралисты, эти «крутые бедняки по части идей», никогда не поймут и психологию русских людей, подлинных патриотов нашей Родины, сумевших отрешиться во имя ее блага от своего прошлого, от своих графских титулов, заняв почетное место в авангарде советской литературы.

Алексей Николаевич Толстой говаривал порой, задумавшись над тем или иным вопросом:

— Надо мудрого Соломона спросить!

Нет с нами сейчас Алексея Николаевича, нет и Соломона мудрого. Один из них живет лишь в своих книгах, другой — в воспоминаниях современников и в образах, запечатленных в кино.

—

ЛЮБИТЕЛИ И ЦЕНИТЕЛИ

ИЛИ

четыре монолога по вопросам искусства



Монолог первый

«Я ВАС ОБОЖАЮ...»

— Есть люди, которые искусство любят, а есть — которые ценят. А я его ну прямо обожаю!.. Особенно девцов.

Вот в наш город Исосиф Кобзон приезжал, так я все его концерты слушала... Одних билетов на два-надцать рублей купила. Но мне не жалко. Потому что певец исключительный!.. Даже зимой без шапки ходит... Я ему в гостинице прямо телефон оборвала. Вы не подумайте чего плохого — просто свое восхищение выражала. Даже на стене губной помадой написала: «Кобзону — ура!» С администрацией из-за этого неприятности имела. Дежурная администраторша говорит мне: вы, мол, девушка, совсем стыд потеряли!.. Хамье! При чем здесь стыд?! Он же певец, а не командировочный какой-то. Я, если хотите знать, вовсе и не в него влюблена. Я в Стриженова влюблена. У меня его фотографии двадцать семь штук накуплено. Всю стену оклеила, обоев не видно! А чего особенного?!

Мы с ним, между прочим, переписываемся... Я ему письма пишу, а он их получает. Вы не подумайте чего плохого — я ему по вопросам искусства пишу. Мол, нравятся ваши глаза и волосы. Мол, приезжайте в наш город для встречи со зрителями! А если, мол, очень сейчас заняты, то я сама могу к вам приехать. И все такое. Не отвечает пока. Заняется,

конечно. Вообще у нас не умеют ценить искреннюю любовь почитателей. Да и почитателей настоящих у нас нет. Вот я читала, там, на Западе, поклонницы от востор-



Рисунки И. Обфенгендена.

га одного певца чуть не насмерть затискали, а другому плечо сломали. А у нас разве такого дождешся?!

Монолог второй

«А ПРАВДА ЛИ...»

— Нет, скажите, это правда, что Майя Кристалинская отравилась?.. Не знаете?.. Ну, как же!.. Здесь мне на днях позвонили. Го-

ворят, так-то и так-то. Отравилась! Я разволновалась, звоню одному, звоню другому — никто не в курсе. Волнуюсь еще больше, звоню в Мосэстраду. Там мне говорят: вранье. Но, знаете, как-то неуверенно говорят, хриплым голосом... Меня это насторожило. Поднял всех знакомых на ноги, бросился по городу узнавать. К вечеру от всех знакомых только и слышно: отравилась! А тут как раз афиши висят. У Кристалинской сегодня концерт в Театре эстрады. Лечу в театр. Смотрю, там толпа. Думал, на похороны, а это за билетами!.. Прорвался в театр, сажусь в зале, вижу: выходит на сцену Кристалинская. Живая!!! У меня отлегло от сердца... С концерта ушла. Чего же концерт слушать, когда ничего не случилось?!

Только успокоился, а тут новое известие: Андрей Вознесенский утонул!!! У меня внутри аж все похолодело. Звоню одному, звоню другому — никто ничего не слышал. Поднимаю общую панику. Достаю его домашний телефон. Набираю номер. Подходит сам... «Скажите,— говорю,— Андриюша, это правда, что вы утонули, или нет?.. Только не обманывайте, умоляю! Я ваш искренний друг». Он усмехнулся и разговаривать не стал. Повесила трубку. Очевидно, сам не в курсе!..

И вот так каждый день. Одна новость буквально страшнее другой!.. То говорят, будто Таралуйка со Штензелем на самолете разбились. То разнесется весть, буд-

то Олега Попова слон загрыз. Кошмар!!! И это все надо же проверить. Я из-за своей любви к искусству поседою раньше времени, честное слово. Иногда сам себе говорю: «Плюнь, Сережа, не порть себе нервы! Не поддавайся слухам...» А не могу... Только какое-нибудь новое сообщение — и у меня в душе все замирает...

Сразу бросаюсь к телефону и начинаю звонить, звонить, звонить...

Монолог третий

«СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ПОЭТЫ!»

— А что вы думаете?.. Мало? Как бы не так! Я этим вопросом специально интересовался. У меня поэт один в доме напротив живет. Его стихотворение тут как-то в журнале напечатали. Я его и спрашиваю: «Сколько же вы за этот стишок получили?» «Сорок рублей», — говорит. «А писал его сколько?» — спрашиваю. «Да за один вечер написала», — отвечает.

Меня даже пот прошиб. Представляете, за один вечер сорок рублей! А в месяце как-никак тридцать вечеров. Тридцать помножить на сорок — тысяча двести получается. Соображаете?.. Тысячу двести рублей в месяц человек заколачивает!.. Так ведь это только вечера. Они же, паразиты, еще и днем пишут и утром!

Боже мой, да я сам за такие деньги круглосуточно творил бы! Ведь некоторые поэты, говорят, по рублю за строчку получают.



Соображаете? Напишет такой что-нибудь вроде

В небе солнышко поет,
Птичка песенку поет...

И пожалуйста!.. Два рубля! Поблудышки коньяка... Очуметь можно... А тут я еще в газете текст одной песни читал... Так, представляете, автор до чего додумался!.. Последние строчки в каждом куплете повторяет по два раза. Так против них и написано: «Повторять два раза!»... В скобочках написано: видно, самому стыдно. Ведь это уже деньги в геометрической прогрессии получают.

Я теперь стихи не могу спокойно читать. В глазах вместо букв одни цифры прыгают...

А проза?.. Там ведь тоже, поди, за каждую строку платят!.. Я как только толстый роман вижу, у меня сердце из груди выпрыгивает. Жаль только: у нас не пишут, сколько автор за книжку получает. Это, между прочим, упущение издательства. Какой тираж, пишут, а какой гонорар — нет. Приходится самому брать счета и вычислять.

Я таким образом уже почти всю современную литературу просчитаю. Страшные суммы получаются, товарищи!

Вы только не подумайте, что я это из-за каких-то меркантильных соображений делаю. Просто я люблю литературу. Вернее, не люблю, а ценю. А что?.. Быть ценителем искусства — это не так плохо!

Монолог четвертый

«ДАЙТЕ ПОЧИТАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ТАКОЕ!»

— Нет, вы мне не говорите о литературе. Уж если кто и знает современную литературу, так это я. Какие журналы, какая там еще периодика?.. Мура все это! Преснятина. Я лично то, что официально печатается, не читаю. Кому это нужно?! Мне знакомые литературу в списках достают. На пишущей машинке отпечатанную. Вот это действительно произведения. Это блеск!.. Не знаю, кто их распространяет, но, доложу вам, большое дело делают. Прямо просветители двадцатого века. Здесь мне как-то дали роман один. Хемингуэй... Потрясающе!.. Совсем новый роман. Его даже в Америке еще не печатали. Подлинник, говорят, в сейфе писателя спрятан... Но добрые люди умудрились



достать где-то... Перепечатали — и мне. Зхватываю же!.. Не боюсь сказать: замечательный писатель! Говорят, он еще что-то написал... Обещали достать копию... А какую поэзию иногда приносит... Экстаз!! Здесь как-то мне дали один цикл стихов... Затертая копия, едва слово разобрать можно, а впечатляет. Гениально!.. Представляете, автор вместо «пчела» пишет «пчлаа», вместо «мужчина» пишет «мушина», вместо «сейчас» — «шас». Какого? Необычайного новаторски!! Многие, конечно, не понимают. Говорят, мол, просто машинистка безграмотная... Но это так... брызжанин консерваторов. А в списках такое иногда приносит!.. Да разве в одних списках?.. Сейчас, слава богу, не семнадцатый век!.. На магнитофонах иногда такие записи стихов делают!.. Ни одного слова не поймаешь! Колоссально!

А сатира?! Мне здесь у одного знакомого дали магнитофонную запись одного капутника прослушать... Умрешь от смеха! Там фальштон есть про то, что у нас очереди за холодильниками. Так смело! Невзирая на лица!.. Вот это сатира!

Что говорить? «Анна Каренина»? Нет, пока не читал. В списке еще не ходила. Да нет, я точно говорю. Уж мне ли не знать?.. А у вас есть? Дали бы почитать... Я ведь за одну ночь, залом... И еще перепечатаю, чтобы другим передать... Сделаете? Ну, спасибо!

И как это некоторые люди литературу в списках не читают? Просто удивительно! Так ведь очень запросто можно докатиться до полного невежества...





«ЧЕЛОВЕК В БЕДЕ»

Ответы наших читателей на письмо Валерия Г.

В № 6 нашего журнала было опубликовано письмо Валерия Г. из Риги. Это письмо вызвало многочисленные отклики.

Из Нальчика и Ташкента, из Сыктывкара, Ленинграда, Норильска, из Москвы, из больших и маленьких городов, из близких и далеких деревень пишут Валерию читатели нашего журнала, предлагают свою поддержку.

«Приезжай, Валерик,— ты будешь нам смылом», «Приезжай, будь братом!», «Тебе нужен друг? Возьми нас в друзья, поделимся всем, что у нас есть». Не только добрые советы и дружеские слова в этих письмах. Люди предлагают конкретную помощь: «Приезжай, посмотри, как живем. Если понравится, оставайся. У нас в городе можно учиться и работать. Будешь жить в нашей семье». Так пишут люди, сами пережившие и утраты и горе и готовые поддержать того, кому тяжело сейчас.

Какие прекрасные, какие сильные и добрые люди стоят за этими письмами! И хочется, чтобы все узнали о них, об этих настоящих людях, живущих в нашей стране,— колхозниках и рабочих, педагогах и врачах, инженерах и солдатах, школьниках и профессорах, потому что, кажется, нет такой профессии, представителя которой не откликнулись бы на горе Валерия, потерявшего мать, нуждающегося в дружеской поддержке.

Несколько писем из почты Валерия мы публикуем в этом номере. И хочется, чтобы Валерий понял, какие люди откликнулись на его боль, чтобы он не только сумел по-настоящему воспользоваться их поддержкой, но был бы достоин этой помощи, этой бескорыстной и прекрасной дружбы, не подвел, не обманул ожидания тех, кто захотел увидеть в нем сына и брата и предложил разделить кров и хлеб.

ПРЕДЛАГАЮ ТЕБЕ СВОЕ СЕРДЦЕ МАТЕРИ

«Валерия, милый, приезжай к нам. У меня четверо детей. Старшему двадцать лет, младшему десять. Муш работает редактором районной газеты, я учительница. У меня трое сыновей и одна дочь. Четвертый сын — приемный, он скоро демобилизуется из армии. Ему было 16 лет, когда он пришел в наш дом. Я разыскала потерянных им сестру и брата. Но в отпуски он приезжает к нам. Мы и нему очень привязались, и он о нас скучает.

Старший сын, Александр, заканчивает военно-техническое училище, скоро будет офицером. Дочь Светлана перешла в девятый класс, сын Митя — в седьмой, Петя — в четвертый. Мы живем дружно, весело. Мы все будем тебя любить и будем тебе верными друзьями. По письму видно, какой ты хороший мальчик. Не знал тебя, я уже люблю тебя. Я понимаю, как тебе трудно, и предлагаю свою дружбу и сердце матери. Приезжай к нам.

О влиянии перестань и думать. Это — малодушие, доведет до беды.

С нетерпением буду ждать от тебя ответа.

Татьяна Александровна ОСТАШЕВСКАЯ
г. Косов, УССР, Ивано-Франковская область.

ВОТ ТЕБЕ МОЯ РУКА!

Дорогой Валерия! Я знаю, как это трудно потерять маму. Я потерял свою, когда мне было 12 лет. Отец привел в дом другую женщину, мамочку. Отношения она но мне совсем не как мамочка, но я ей не мог простить того, что она стала на место мамы.

Окончив семилетку, я не захотел дальше учиться. Пошел работать. Мне не хотелось, чтобы меня кормили что-то, и я стал, как выражаешься ты, «забываться на существование». Но что мог заработать пятнадцатилетний мальчишка? Я проработал три года,

попа не понял, что в жизнь нужно вступать не так, как вступаю я. Что нельзя поддаваться самотону, что жизнь нужно делать самому, а строить ее можно только при определенных знаниях и умениях, а для того, чтобы были знания и умение, нужно учиться. Я поступил в Новосибирский техникум физической культуры и в 1962 году окончил его.

Во время учебы в техникуме я встретил столько настоящих, замечательных людей, которые стали мне родными и близкими, они научили меня идти в жизнь с открытым сердцем и чистой душой. И сейчас с благодарностью вспоминаю их. Они доказали мне, что людей хороших гораздо больше, чем плохих, и что человека в беде у нас не оставляют. Сейчас я служу в армии. Дорогой Валерия! Я знаю, как тебе тяжело. Но поверь мне, друг, ты не одинок. Вот тебе моя рука: давай будем друзьями!

Александр ПРИСТАВКО

ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ, НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН!

Дорогой Валерия! Как я тебе хорошо понимаю, что мне сегодня и исполнилось 44 года! Не знаю, как бы я жила на свете без друзей...

У тебя, дорогой мальчик, две беды: потерял маму и нет друзей. Тебе надо много силы воли, силы духа, веры в себя, чтобы перенести первое непоправимое горе.

Ты только не поддавайся ему, и людям старайся не показывать, как тебе тяжело. В этом и будет заключаться настоящее мужество. Так поступают и в жизни, и в книгах сильные духом и отлично воспитанные люди. Я знаю, что это трудно. Когда у меня умерла моя девочка, я так несдержанно, так отчаянно выражала свое горе, что мне сейчас совестно перед людьми, которым я доставила столько хлопот...

Валерия! Ты правильно сделал, что написал в «Юности». Я знаю, ты получишь тысячу писем, у тебя будет тысяча новых друзей. Но где же ты, с кем ты сидел за одной партией, с кем рядом стоит твой ста-

нон? Неужели они все такие эгоистичные люди, так занятые собой, что ничего не знают о твоей беде? Не виноват ли ты сам, Валера? Ты, наверное, решил: сам переживу, никто мне не нужен, никому это не интересно, мое горе, один как-нибудь переживу. Так обычно рассуждают гордые и самолюбивые мальчишки в твоём возрасте. Ты ошибаешься. Человек не может, не должен быть один ни в горе, ни в радости!

Постарайся быть полезным людям. Тогда у тебя вырастет уважение к себе и товарищам будет с тобой интересно. Будь добрым, честным, морально чистым и стойким человеком, никогда не изменяй добру. И будут у тебя друзья!

Валера! Если б ты знал, какое омерзительное явление — пьяница. Это глупый, слабый, а в итоге — общественно вредный и даже, возможно, преступный человек. Я ни капельки не преувеличиваю. Не обижаясь, я не отношу тебя к пьянчикам. Ты «хвостик четвертинку» что называется с горы. Но остановись сразу. Никому в этом отношении не поддавайся. Иначе ты погибнешь. Все самое лучшее: человеческая доброта, любовь, правда, честь, душевное наслаждение и лучшие люди — все пройдет мимо тебя, все от тебя отвернутся, а людишки третьего сорта, разные слезники и подонки, потянут тебя в свою компанию, в вонючее болото — это не жизнь...

Хочу, чтобы ты мне писал. Я отвечу на каждое твоё письмо...

Ольга Ивановна ТАТАРЧЕНКО

г. Таганрог.

ЗАМЕНИМ ТЕБЕ МАТЬ И ОТЦА

Дорогая редакция «Юности»! В вашем журнале я прочла письмо под заголовком «Человек в беде». Письмо меня это очень взволновало. Я не знаю адреса Валерия Г., но хотела бы написать ему материнское письмо. Пусть он не чувствует себя одиноким, мы были бы очень рады принять его в свою маленькую семью. В нашей семье тоже побывало горе, дорогой Валерий. В 1961 году трагически погиб наш сын в возрасте 25 лет. Мы тяжело переживали всей семьей эту утрату. И поэтому твоё горе нам очень близко. И очень просим тебя, Валерий, приехать к нам в Калининград, здесь мы тебе будем самыми близкими, и ты, конечно, будешь нам сыном. Будешь учиться, если захочешь. Живем мы втроем: я, муж и дочка. Я вот сына у нас нет, а ты бы был нашим мамой. Материально мы обеспечены неплохо, так что, если есть у тебя желание учиться, то будешь учиться.

Здесь тебе будет хорошо, город у нас красивый, хорошо развит спорт, имеются хорошие спортивные сооружения. Есть где учиться: технический институт рыбной промышленности с интересными отделениями, среднее мореходное училище, пединститут, много техникумов. Приезжай, дорогой Валерий, у нас дела не будут. А мы тебе заменим мать и отца.

РЕДЬКИНЫ Мария Григорьевна

и Степан Александрович.

г. Калининград.

ИДИ К ЛЮДЯМ, ВАЛЕРИК!

Дорогой Валерий! Мне этот год так же, как и тебе, принес несчастье. У меня умерла мама. Самый дорогой мне, любимый человек. Один из самых уважаемых людей города. Мне все еще не верится, что ее уже нет. Я осталась со старшим отцом и большой бабушкой, маминной мамой. Отцу скоро 60 лет, бабушке — 74 года. Что же мне делать? Бросить все, уйти в себя? Нет, Валерий, ты не прав. Мы должны жить и быть достойными своих мам. Моя мама была врачом. Не счить людей, сколько она спасла жизнь. Ее уважали в городе, ее звали половиной республики.

Когда она умерла, я хотела бросить все: и школу и жизнь. Этого никто не знал, я умею скрывать свои мысли. Но потом я решила, что, уйдя из жизни, я только додамую свое бессилие, оскорблю память мамы, борющейся всю жизнь против смерти. И я решила жить, да, жить и приносить людям пользу. Мама не хотела, чтобы я была врачом, но я им буду и буду приносить людям здоровье. Осенью я пойду в одиннадцатый класс, а потом — в институт.

Я не верю, Валерий, что люди, окружающие тебя, равнодушны. И это очень плохо, что у тебя нет близких друзей. Жить без друзей очень трудно. Иди к людям, Валерик!

Эля КРЕСТИКОВА

г. Нарва.

ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ

Послушай, Валерочка, ты чего разыгрываешь из себя трагическую личность? Играешь на сочувствии и все такое прочее...

Да тебя не жалеть, тебе быть надо! Бить за то, что ты ленив, бездельник, высокомерен и до странности глуп. Причем глуп не от рождения, а от нежелания быть умным. Последнее в твои семнадцать лет особенно скверно.

Я тебя обругал? Постой, не идишься в паннику! Сейчас все разложу по полочкам, если захочешь, — поймаешь.

Мне было тоже шестнадцать, когда я стал работать на заводе, сначала учеником, потом слесарем. РАБОТАТЬ!!! А не «слесарничать», чтобы «заработать на существование».

И работал. Ежемесячно давал 130—150 процентов нормы.

Человечка ценят по труду, и за умение работать меня уважали и ровесники и старшие товарищи.

Рядом же со мной работали мои друзья, с которыми я познакомился здесь, на заводе. Мы здорово жили! Работа, учеба, вечера, культпоходы, соревнования... Наша комсомольская организация считалась лучшей в районе. Переходящее Красное знамя редий месяц не стояло в нашем цеху. Мой друг, товарищ Валентин Серебряков, стал первым бригадиром первой бригады на заводе, начался соревноваться за звание коллектива коммунистического труда.

Дорогой, мы жили, а не «существовали». И делали эту жизнь своими руками такой, какой хотели ее видеть. Не люблю избитых фраз, но честно: завод был нашим родным домом.

Почему у тебя в таких же условиях совсем другое положение? Тебе и посоветовать не с кем, и не с кем дружить, и ты просишь адрес «любимого мальчишки», чтобы завязать с ним дружбу?

А я рядом с тобой и сам же такие мальчишки? Или, скажешь, все плохо? Ересь! Верно то, что ты не сумел правильно повести себя с товарищами по работе, иначе что-нибудь из них уже давно бы подружился с тобой.

Почему же ты считаешь, что ты презрительно относишься к работе слесаря («слесарничать» Эх!). Судя по твоей инимной полке, ты парнишка начитанный, видимо, мечтаешь быть ученым, писателем, космонавтом. Кем — ты еще и сам не знаешь. Но ты точно знаешь, что не хочешь быть слесарем. И завод и его люди пытаются тебе слишком сорями, чтобы понастоющему попытаться понять их. К тому же ты еще и не приучен к регулярной работе. Вот корень твоего пессимизма и растерянности перед жизнью.

Сейчас ты уже пережил смерть близкого человека, и, соответственно, тебе волнует уже не это, Ты ищешь друзей, смысла и места в жизни.

Сколько тебе лет, философ, разочарованный личностью? Семнадцать... «Я стал пассивным по всему окружающему». А ты когда был активным? В пеленках? Ты только-только начинаешь свою сознательную жизнь, как и начинал ее наш полководец. Заглядывая фундамент своего будущего — учишься работать! Учишься ценить людей, уважать все профессии!

Я ушел с завода в девятнадцать, твердо понимая, что завод мне дал очень много. Сейчас я работаю совсем в другой области, но все же проведу немало на заводе, не считаю потерянными. Они дали мне возможность сформироваться как человеку, глубже понять себя, свои стремления и возможности.

А ты хочешь, чтобы тебе сейчас не вручили рецепты на все случаи жизни, сказали, кто ты, что ты и за чем ты. Там не бывает. И мне кажется, что ты сам это прекрасно понимаешь. Понялось тебе трудно, вот ты и решил свалить все эти трудности на кого-нибудь. Но здесь все зависит только от тебя. И нечего плакаться. Работай! Поями янус работы — с этого начинается человек.

Удивляюсь, как тебя прогледели заводские комсомольцы. Тебя давно надо было взять за шиворот и встряхнуть как следует. Впрочем, оно это уже, наверное, сделали...

Ну, да ладно. Поругай я тебя; может, на пользу пойдет. Захочешь потоплять более серьезно, лишь.

Валерий АВЕРЬЯНОВ, художник, 24 лет.

г. Улан-Удэ.

—W



Под флагом «Искателя»

БАТАЛЬОНЫ ШТУРМУЮТ СКУКУ

Пятюго июля 1964 года тульская газета «Молодой коммунар» вышла с необычной страницей. Ее заголовок состоял из одного только слова — «Ровесники». И не было, наверное, ни одного мальчишки, который бы не прочитал напечатанный на этой странице приказ:

«Всем мальчишкам и девочкам, всем, кто помнит, что есть на свете романтика и приключения, смелость и отвага, объявившим войну тому, кто умудряется интересные дела превращать в скуку, всем членам отряда «Искатель» приказываю:

Пункт 1.

Командирам батальонов приступить к своим обязанностям:

- а) военного — Александру Беседину,
- б) разведчиков («Держинцев») — Валерию Несоломному,
- в) морского («Алые паруса») — Анатолию Клопову,
- г) корреспондентов — Владимиру Лазаревичу,
- д) фотобата («Соколинныи глаза») — Алексею Невскому,
- е) связистов (граница «Искателя») — Юрию Сакалкуву,

- ж) мотобатальона — Александру Герасину,
- з) спортивного — Александру Кровец.

Пункт 2.

Батальону корреспондентов в трехдневный срок провести операцию «ВДПС» («Во дворах — погранзастава скуке»). Для этого мобилизовать всех мальчишек и девочек во всех дворах...
Командир отряда Е. Волков.



Взять интервью у командира отряда, редактора «Молодой коммунара» Жени Волкова оказалось не таким простым делом. Наконец он заканчивает свои дела, подписывает в набор последние оригиналы.

— Так вот, «Искатель», — Женья собрался с мыслями. — В принципе нового здесь ничего нет. Немного от Гайдара, немного от Махарино. Пацану говорят: «Сегодня у нас мероприятия по сбору металлолома; парню постарше — «Сегодня у нас спортивное мероприятие по подготовке допризывников»; секретарь комитета комсомола школы наставляет членов комитета: «Диспут по новой книге Серебрякова считать важнейшим мероприятием». Надело! В общем, посоветовались мы и решили создать отряд. Именно отряд — с военной дисциплиной, командирами, с настоящим оружием и даже с трибуналом.

Идею создания такого отряда Евгений Волков выснашивал давно. Журналист, он часто наблюдал, как сплошь да рядом интересные и полезные дела превращались в скучнейшие мероприятия. Нужно было придумать что-то новое, что могло бы увлечь ребят, дать простор их инициативе. Единомышленниками Волкова стали сотрудники редакции газеты старый коммунист Николай Васильевич Шумский, поэт Владимир Лазарев, работник военкомата Николай Павлович Кропачев, спортсмен Евгений Цуканов, постоянные конкурсы.

Ядро отряда сформировали из проверенных ребят. А принимать в «Искатель» решали всех подростков от 14 до 17 лет.

Если говорить честно, то на первых порах «Искатель» держался на одном энтузиазме его основателей. Не было денег, не было помещения, а ребята валом валили в редакцию. И тому же Волкову приходилось отбиваться от «доброжелателей», обвиняющих его в партизанщине, военизации детей и даже в склонности к вождизму(!). Поверил в «Искатель» и первым поддержал его областной комитет партии. Ребята воспрянули. Об «Искателе» заговорили в городе. Горисполком нашел и по-

На снимке вверху: торжественный марш «Искателя» по улицам Тулы.

мещене. Сумели в какой-то степени решить денежную проблему: гонорары за статьи в отделе «Ровесники», созданном на общественных началах, а также деньги за собранный металлолом поступили в кассу отряда.

— Словом, отряд жил, — заканчивает Женя. — Не было дня, чтобы в редакцию не приходили новые ребята. Пришлось даже ustanавивать для них кандидатский стаж... Что привлекает ребят? Пожалуй, полная свобода инициативы, ну и оттенок романтики, что ли. У нас ведь нет «мероприятий»

ОПЕРАЦИЯ «ГРИБ»

Тула переживала грибную лихорадку. Сотни семей покидали насиженные квартиры, на тысячу голосов перекликались по окрестным лесам и поселкам. Базарные ряды ломились от солазнительных натюрмортов: молодцеватые бороники, melanchоличные подберезовики, кокетливые сыроежки.

— А вот один белый! Белый! Подходи! — надрывается бородастый дядя над внушительной горкой отборных грибов.

— Почему килограмм?

Перед продавцом остановился юноша в голубой рубашке. Тот проворно отдала кучку из нескольких грибов, бойкой скороговоркой ответил:

— Рубль кучка, молодой человек, десять гривен. Бери — не пожалешь!

Юноша нахмурился и отошел от прилавка.

— Так что, дерут три шкуры. Грибной бизнес! — Командир «Голубого батальона» Сережа Беседин хмуро глянула на ребят. — Проводим операцию «Гриб»...

Ранним утром с тульского аэродрома поднялся самолет. Его пассажиры — 26 членов отряда «Искателя» — держали в руках корзины. Час полета — и самолет приземлился на опушке огромного лесного массива. Голубые рубашки рассыпались по поляне и целью двинулись в чащу. Операция «Гриб» началась.

Вторым рейсом самолет доставил в лес еще 36 ребят и взял на борт 26 корзин отборных грибов.

Примерно в это же время на Центральном рынке города Тулы появился небольшой отряд ребят в голубых рубашках. С барабанным боем они прошагали по всемоу базару и остановились у опочинных рядов. Собрались любопытные. Двое парней поднялись к навесу над прилавком и развернули лозунг: «Ударим дешевым гри-

бом по спекулянту!» В толпе загоготали.

— Чем бить-то будете, плакатником?

— Хулиганье! — надрывался знакомый бородач.

— А ну, берегись!

К прилавку осторожно являлся автомобиль. Любопытные расступались. В кузов вскочили двое парней и начали бережно подавать корзины, полные грибов. Поднялась суматоха. Юные продавцы



Боец «Искателя» Юра Григорьев ведет фотолетопись отряда.

едва успевали отшвырять, принимать деньги, отвечать покупателям. Напрасно надсаживались в криках торговцы — люди со всех ног неслись к прилавку.

К вечеру грибы на рынке подешевели вдвое.

— Операция «Гриб» закончена, — докладывает совету командиров Сергей Беседин. — Населению продано около полутоны отборных грибов.

— По мизерной цене, — с улыбкой добавляет командир отряда Женя Волков.

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА

Витя Строганов, литсотрудник отдела учащейся молодежи редакции «Молодого коммунар», — начальник штаба «Искателя». Он достоин и ночует в штабе, в его руках нити всех операций, к нему первому поступают сведения о делах «голубых рубашек». «Фанатик «Искателя», — говорят о нем ребята.

— Ребята у нас самые разные, — рассказывает Витя. — И большин-

ство далеко не ангелы. Собственно, так называемые «трудные» мы старались привлекать в отряд в первую очередь. Недавно я завлялся к нам вожак местной «шпаны» по прозвищу Макарон. Биография у парня «романтичская»: восемнадцать приводов в милицию. Привел не с-пустыми руками — принес настоящий ручной пулемет. Прогресс в отряд. Вот это было действительно трудно! С одной стороны, парень пришел к нам из лучших побуждений, потому что поверил, с другой — незаконное хранение оружия. Так честно ему и объяснили. Появля. Пошел сам в милицию. Там по всем разобрались, и Макарон стал обыкновенным Героем Никаноровым, членом нашего отряда.

— Ну и как такие ребята, исправляются?

— «Исправляются», на мой взгляд, не то слово, — подумав, ответил Витя. — Изменить поведение может каждый человек, да еще если его принуждает к этому воля коллектива. О таких людях обычно и говорят, что они «исправились». Но в душе многие из них остаются теми же, что и были. Иное дело, когда человек сам понимает, как говорится, чувствует сердцем необходимость ломать себя, свой характер. В таких случаях следует говорить уже не об исправлении, а о настоящем перерождении. Но и в этом человеку надо помочь, показать дорогу, и как можно раньше. Вот Володя Берхов; парню шестнадцать лет, на его «боевом» счету было десять приводов в милицию. Это один человек. Другой Володя — боец «Голубого батальона», задержавший опаснейшего преступника. Разве здесь можно сказать «исправился»? А Илья Потапов? Парень вместе с бабкой объездил почти все церкви страны, прислуживая попом во время церковных церемоний. А сейчас послушайте его рассказы о «святой» жизни. Сильнее любой атеистической лекции!.

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ!

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» — эти слова стали девизом «Искателя», девизом сотен тульских мальчишек и девчонок. Под флаги «Искателя» встали новые батальоны романтиков, которым до всего есть дело, которые за все в ответе. Вперед, «Искатель»!

Валерий ГОЛУБЕВ



На снимке: Альберт Рис Вильямс (стоит третий справа) среди колонистов.

Имени Джона Рида

Альберт Рис Вильямс — американский писатель-публицист, автор книг о Ленине — некоторое время жила в Поволжье. Это было в 20-х годах. И вот теперь мне, саратовцу, захотелось узнать как можно больше о пребывании Вильямса в нашем крае.

Первое, что я сделала, — обратилась с письмом к вдове писателя сценаристке Люсита Вильямс. Через несколько недель из Америки пришел ответ:

«Весной 1925 года мы с Альбертом находились в Москве. Однажды мы узнали, что около Хвалыиска организована колония имени Джона Рида. Решили было обязательно поехать в эту колонию, названную именем замечательного друга Альберта. Вначале поехала я. Волжский пароходик доставил меня в 3 часа утра к небольшому деревянному причалу. Там меня уже дожидались два мальчика из колонии. У одного из них была небольшая фонарик. Мы вместе стали пробираться к колонии. Она находилась в живописной местности, окруженной лесом и горами.

В колонии оказалось много детей, которые потеряли родителей в гражданскую войну и во время голода в Поволжье в 1921 году. Через три недели в колонию приехал и Альберт Вильямс.

Получив это письмо, я сразу же выехал в Хвалыиск — небольшой городок Саратовской области. Но, увы, о судьбе колонистов ничего узнать не удалось. Еще в 1926 году колонию перевели в какое-то село, а в какое — никто не знал. Отчаявшись, я даже забросил поиски.

В октябре 1963 года, когда отмечалось 80-летие со дня рождения Альберта Вильямса, в Москву приехала Люсита Вильямс, и, конечно, я поспешил встретиться с ней. Поблагодарив за письмо, я поведал ей о своих неудачах.

— И все-таки было бы хорошо продолжить розыски, — попросила Люсита. — Уж очень интересными были бы беспризорники моего мужа. Он даже мечтал впоследствии разыскать воспитанников колонии, встретиться с ними. Мечтал написать об их судьбе. Но не успел... Как очень дорогую реликвию берег Рис вот этот снимок, —

и она протянула мне старую фотографию: Альберт Рис и Люсита среди колонистов. — Может, этот снимок поможет выполнить мечту Вильямса.

Где искать? Как искать? Вот что меня мучило в те дни. В одном из очерков, опубликованном в Америке, Альберт Рис Вильямс упоминал большой поселок Алексеевку, расположенный на самом берегу Волги.

Я решил бывать в этом поселке.

...Не успел я пройти и нескольких шагов по Алексеевке, как из здания старой мельницы увидел полустертую надпись: «Колония имени Джона Рида».

Местные старожилы подтвердили:

— Да, колония беспризорных была в нашем селе. И называлась она — Трудовая сельскохозяйственная колония имени Джона Рида.

— А не знаете ли вы, где сейчас выпускники колонии? — нетерпеливо спросил я.

— Которые уехали, а которые и поныне здесь.

— Кто здесь?

— Ну, к примеру, Бухонин Семен.

Через несколько часов я встретился с Семеном Михайловичем Бухонным, животноводом совхоза «Винодельческий».

— Вот я! В первом ряду сидю, — обрадовался Бухонин, увидев старый снимок.

Потом с волнением рассказав:

— В голодном 1921 году я потерял отца, мать и стал беспризорником. Мог стать и преступником. Но меня подобрала, приютили, обучили, одели, научили трудиться. Наша колония не зря называлась трудовой. Были у нас и столарная, и саесарная, и шорная, и сапожная, и швейная мастерские. И земли колонии отвели немало: почти 500 гектаров. На полях мы выращивали пшеницу, рожь, торох, подсолнечник. На фермах ухаживали за скотом. Я юннатом был... Впоследствии на базе колонии организовался совхоз «Винодельческий». Здесь многое напоминает мне о нашей колонии.

Есть в поселке одно учреждение, о котором хочется сказать особо. Это народный музей. Его создали сами местные жители.

Мы с Семеном Михайловичем долго осматривали экспонаты музея. За каждым из них — волнующие человеческие судьбы, страницы истории. Бухонин рассказывал о них увлеченно, с любовью.

— Скоро, — говорит он, — в нашем музее появятся новые материалы. Догадываетесь, какие? Про нашу колонию имени Джона Рида. У нас кое-что сохранилось. Саша Кострюков сберег даже удостоверение. На нем печатно со словами: «Колония имени Джона Рида».

Сашка у нас в колонии первым трактористом был, — добавил Бухонин. — Первый трактор пришел к нам весной 1926 года. Саша сильно полюбил технику. Выучился на механика. И вот уже тридцать лет по Воле плавают.

— А живет он где?

— У нас, в Алексеевке. Тут много наших — Анастасия Кулькина, Пелагея Курочкина, ее тезка Пелагея Гагаева... Все в люди вышли. И все теперь собирают материалы про нашу колонию для народного музея. Жаль только, ничего не знаем мы про Ивана Степановича Еремеева.

— А кто это?

— Он герой гражданской войны. А в нашей колонии директором был. Когда колонию реорганизовали, он уехал из Алексеевки, и что с ним стало — неизвестно.

Позже я познакомился еще с одним воспитанником колонии — научным сотрудником Хвальцевой картинной галереи, художником Василием Георгиевичем Шмелевым. Но и он, к сожалению, не мог ничего сказать о судьбе Еремеева.

Лишь совсем недавно я рассказал бывшую воспитательницу колонии Анну Николаевну Еремееву, жену Ивана Степановича. Она быстро узнала себя на снимке, подаренном Люситой.

Анна Николаевна рассказала о судьбе Ивана Степановича. Сын мордовского крестьянина-бедняка, он во время гражданской войны сражался с белогвардейцами. После войны был директором колонии имени Джона Рида, затем учился в Москве, в Академии сельскохозяйственного земледелия, потом работал народным комиссаром земледелия Мордовской АССР. В период культа личности его постигла тяжелая участь: он был арестован и вскоре погиб. После XX съезда КПСС доброе имя Еремеева вернули народу.

✱

Можно с уверенностью сказать: не зря привлекала честного американца трудовая колония. Писатель понимал, что судьба юных граждан неразрывно связана с жизнью всей страны.

Ю. ПЕСИКОВ

Самый молодой лауреат

— Есть прекрасная наука — археология. Вечная наука! Трудно представить себе человека, равнодушного к возможности заглянуть, скажем, в жилищную обитателей воронежских степей, живших восемьсот—тысячу лет назад.

Примерно так говорил Саше Рогачеву его отец, известный археолог. Саша не спорил: археология ему действительно нравилась. Вместе с отцом он ездил в экспедиции, на раскопки. Но — странное дело! — наблюдать работу механизмов, геодезических приборов, возиться с техникой ему нравилось больше, чем выискивать наконечники стрел или фрагменты расписной посуды.

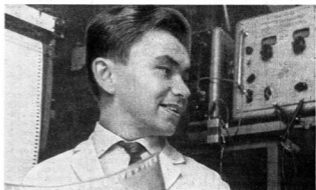
Была ли в этом «виновата» Смен Наумович Слепак, школьный учитель физики, сумевший завладеть интересами своих учеников, или была у Саши какая-то врожденная тяга к проникновению не в глубь времен, а в недра микромира, но уже в десятом классе Александр Рогачев твердо решил: он должен учиться на физическом факультете Ленинградского университета.

В университете окончательно определилось и направление работы Александра Рогачева — физика полупроводников. Там же, на факультете, познакомился Александр с профессором С. М. Рыкиным, который предложил талантливому студенту работать в его лаборатории в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе.

И вот в апреле этого года 26-летний космополец Александр Рогачев вместе с учениками института Д. Н. Наследовым, С. М. Рыкиным и Б. В. Царенковым был удостоен Ленинской премии за участие в создании полупроводниковых квантовых генераторов. Лазер, созданный группой ленинградских и московских физиков, необыкновенно прост в устройстве и экономичен в использовании.

А. БАЖЕНОВ

Фото Е. Иванова.



На нашем снимке вы видите одного из самых молодых лауреатов страны — А. Рогачева.

Встреча в Минске

В конце октября в Минске состоялась общегородская молодежная читательская конференция по плану Всесоюзной читательской конференции «Молодой герой советской литературы». Читатели «Юности» и белорусского журнала «Малодзец» говорили о новых художественных произведениях, высказывали свои пожелания писателям, обсуждали работу молодежных журналов. На конференции выступили представители «Юности» — ответственный секретарь редакции Л. Железов и редактор отдела критики С. Лесневский. Они рассказали о работе «Юности», ответили на вопросы читателей. От имени журнала «Малодзец» выступил заместитель главного редактора О. Осипенко.

На конференции состоялся большой разговор о молодом герое литературы, о задачах советского искусства, воспитывающего высокие идейно-эстетические критерии у советской молодежи.



ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
ЮМОРИСТУ-
ДЕБЮТАНТУ
А. МАРКОВУ

Многоуважаемый Алексей Марков!

С большим удовлетворением прочла я в журнале «Наш современник» (№ 9 за 1964 г.) Вашу статью «Открытое письмо проэтам-дебютантам».

Я всегда искренне радуясь каждому новому юмористическому произведению. Ведь подлинных юмористов не так много! И поэтому мне хочется от души поздравить Вас с несомненной удачей, ибо Вашу статью нельзя читать без искреннего и здорового смеха.

Мне, правда, было немного обидно, что такой материал Вы отнесли не в мой «Пылесос», а в серьезный отдел критики другого журнала. Но потом я подумала, что юморист Вы все-таки начинающий, и, возможно, сами еще не разобравшись в том, что Вами написано. Ну и, кроме того, Ваше произведение при всех блестящих остроумии не лишено определенных недостатков — с точки зрения юмора, конечно.

Указку на некоторые из них с единственной целью — помочь Вам как начинающему и подающему надежды юмористу.

Итак, Ваша статья содержит в себе критический разбор начинающих поэтов, произведения которых впервые увидели свет в шестом номере журнала «Юность»... Это хороший юмористический прием, позволяющий автору, говоря любому о других, фантисически говорить о себе. Но иногда Вы это делаете не слишком тонко, без присущего Вам остроумия. Скажем, Вы разбираете стихотворение Льва Тимофеева «Времена года» и пишете: «Оно (стихотворение) до обидного вполне памятное, профессиональное, если профессионально считать владение техникой стиха».

Дорогой друг! Так не нельзя!.. Я понимаю, что Вам обидно, когда в «Юности» появляются вполне печатные, профессиональные

стихи, да еще с несомненной долей таланта. Но, голубчик мой, снимите об этом мягко, тонко, аллегорически!..

Ну, например: «Я (то есть Вы) решительно протестую против того, чтобы молодые поэты печатали хорошие стихи».

Это, с одной стороны, не в лоб, а с другой стороны, сразу ясно, что Вы хотели сказать!..

Далее. Вам не понравился стихотворение «Времена года», потому что оно не вскрывает всю сложность явлений, относящихся к современной колхозной деревне.

Вы пишете, что «колхозник, всеми илкотами души озабоченный делами современной деревни», не станет читать подобных стихов!..

Милый мой! Никто не сомневался в том, что у Вас в кармане лежит удостоверение, дающее Вам право говорить от имени всех наших колхозников!.. Но говорите об этом тоньше!..

Ведь можно с теплой улыбкой наемннуть на то, что неплохо, если бы найдло стихотворение, ирре-эстетической, неслю еще и накую-то конкретную нагрузку. Скажем, любое стихотворение о земле одновременно использовалось бы и как справочник агронома; любое стихотворение о звездах могло бы астрономам в их математических расчетах!..

Уместно при этом сослаться и на классиков. Вспомним хотя бы Пушкина. Ведь он писал свои незабываемые строки «Я помню чудное мгновенье» в очень мрачную, беспросветную пору крепостничества, когда вся Россия стала под гнетом самодержавия. Если следовать Вашей юмористическо-критической «методом», то справедливо задать Пушкину вопрос: при чем же тут «чудное мгновенье»!!

Ну, дорогой Алексей, приемы юмора разнообразны. В одном случае мысль надо завуалировать, а

в другом — выплнить ее, сделать острее, резче!..

Вот вы пишете: «Да извинит меня редакция «Юности», но я никак не могу отделаться от впечатления, что она задалась целью в первую очередь журналистам печатать все, что никак не связано с жизнью: мол, этим и будем оригинальнее».

Все хорошее в этой фразе! И интересные наблюдения и оригинальные выводы!.. Непонятно одно: зачем и перед кем Вы просите извинений! Ведь «Юность» имеет более чем миллионный тираж и читается по всей стране. И вот Вы делаете сенсационное открытие! Оказывался, журнал «Юность» уже давно оторвался от жизни и фантисически разлагает нашу молодежь!

И вместо того, чтобы немедленно пресечь это безобразие, Вы просите извинений!..

Да в суд!.. Сию же минуту передайте дело в суд! А если, не дай бог, юристы не найдут подходящей статьи в уголовном кодексе, предложите свою статью из журнала «Наш современник»!..

Наонце, еще об одной интересной мысли, которую Вы развиваете в своей статье. Вот как она у Вас выразилась: «Баста! о портретах авторов, которые к стихам дает «Юность». На каждую позу надо иметь право, особенно поэту!..»

...Откройте журналы прошлого века или начала нашего. Посмотрите, как скромно выглядел писатель на своих портретах. А нынче? У березки в распахнутом пиджаке... У микрофона перед миллионной аудиторией... За машинной на фоне многометровых книжных корешков!..

Ну, здесь Вы применили сатирический прием, который называется гротеском (гротеск — это преувеличение, домьсливание, драматизм). Но беда, что в шестом номере журнала «Юность» нет ни одной фотографии молодого поэта у березки, за машинной или тем более перед миллионной аудиторией. Это мелочь. Такой сатирик, как Вы, имеет право видеть даже то, чего нет!..

Дело не в этом. Здесь надо было развить Вашу главную мысль — о том, что на каждую позу поэт должен иметь право. Поэт, выступивший в первую очередь, специальному таблицу поз, соответствующих рангу поэта.

Например, начинающий поэт — стоит, руки по швам, пятки вместе, носки врозь. Поэт, вышедший первую книжку, уже имеет право сидеть и, снимая, расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки.

А поэт, достигший Вашего положения, имеет право фотографироваться в любой позе и даже с бордой.

Можно использовать такую таблицу, хотя я на Вашем месте рекомендовала бы заменить фотографии поэтов отпечатками их пальцев. Это и скромно и помогает криминалистике. Конечно, можно было бы еще и еще говорить о Вашей статье, но мне, как девушке, это очень трудно: приходится все время выбирать выражения. Да и не стоит! Ведь это, я надеюсь, не последнее Ваше юмористическое произведение!..

Только в следующий раз посылайте их прямо по адресу: журнал «Юность», отдел «Пылесос». А я уж отведу для них достойное место.

С приветом

Галка ГАЛКИНА



РУКИ В КАРМАНАХ

Рисунок К. Ворисова.

Я сунул руку в карман брюк и стал медленно шевелить пальцами. Мне нужна была двухкопеечная монетка, чтобы позвонить Веронине (на свете нет лучше глаз, чем у нее!). Ах, эти денюжки! Их всегда трудно достать... Далеко тогда они уже лежат в собственном кармане!

Но ничего, сейчас... сейчас... вот сейчас достану, позвоню Веронине (в мире нет лучше ножек, чем у нее!), и мы пойдем в кино. Фильм-гигант. Зарубежный супербоевик. Это будет великолепный вечер. И — недорого! Билеты будут стоить максимум 80 копеек. Чудесный вечер. Плюс рубль, который я истрачу на такси, возвращаясь домой после того, как провоюю ее.

Где же эти несчастные две копейки!.. Куда запропастились!.

...А завтра я приду и ней с цветами. Принесу отличный букет. Она будет потрясена. И не столько букетом, сколько мною. Да! Сколько мною!.. Сколько мною, истати, будет заплачено за этот букет?.. Вероятно, не меньше двух с половиной рублей!.. Ну и что!.. Если хочешь быть джентльменом — плати! Потом мы, конечно, пойдем в ресторан. Это, значит, еще денюжки!.. Минимум!.. Ладоно, поощу в другом кармане!.. И сразу после этого... сделала ей предложение!.. После ресторана ей будет трудно отказать! Конечно!.. Не надо с этим тинуть!.. Ты, что тинет, обычно дорого за это платит!.. Решено! Мы идем в загс. Мы расписываемся. Мы счастливы. Ее мама дарит нам отдельную нишечку (на свете нет еще лучше, чем ее мама!), а папа преподносит нам автомобиль (в мире нет автомобиля лучше, чем тот, который дарит вместе с гаражом!).

Черта с дья!.. И в этом кармане нет!.. Может, поискать в пиджаке?.. Нет, это не так просто — найти... таких прекрасных родителей. Я же знаю, все будет, и сожалению, иначе, СЛАДЬБА Горькой!.. Я целую Веронину (на свете нет лучше губ, чем у нее!) и краем глаза вижу, что ее родители — совсем другие люди. О-хо-хо, в лучшем случае они могут подарить нам изюм-нибудя бр. Большое спасибо за новую лампочку в доме. Очень приятно. Пронялте, и в пиджаке нет!.. Впрочем, внутренние карманы я еще не рассмотрел!.. Еще посмотрим!.. Посмотрим еще, как сложится жизнь!.. Ах, денюжки!.. Денюжки — это то, что легче всего помогает нам перенести нашу нищету.

Уверен, что сразу после свадьбы придется вступить в кооператив. Это сколько?.. Полторы тысячи, минимум. Аманс. И автомобиль придется самому покупать. Вот еще три тысячи. Где же эти пронялые две копейки!.. Гдет!..

И свадебное путешествие я не учел. И шубу для Веронинки. И дети потом пойдут — их ведь тоже надо содержать!.. Одна няня чего стоит!.. Потом игрушки-иванушки, елени-макушки!.. О господи, сколько расходов!.. Сколько же мне надо всего!.. Вероятно, что-то около ста тысяч. Или двухсот!.. И где их достать?.. Есть!.. Нашел!.. Вот они, две копейки!.. Нанюццо!..

Сейчас пойду и позвоню Веронине. Впрочем, не буду звонить. Не буду ей звонить вовсе. Никогда.

Правильно писали в газетах, что стоимость этих фильмов-гигантов слишком высокая. И для меня эта картина слишком дорогая!.. Ох, уж эти капиталисты!

С этой мыслью я подошел и тележке с газированной водой.

— Понаулыста, дайте мне чашечной!.. Два станда!.. — сказала я и подумал: «Чего экономить!»

НЕОБХОДИМОЕ УТОЧНЕНИЕ

— У нас в комнате протекает потолок, — сказала студентка команданту общежития. — Прошу вас произвести срочный ремонт, так как потолок грозит обвалиться.

Командант общежития снял телефонную трубку и отдал распоряжение принять необходимые меры. И вслед за этим ему тотчас же объявили строгий выговор за волокиту. Почему же за волокиту? Ах, да...

Мы забыли сказать, что между первым и вторым абзацем этого рассказа прошло полтора года.

ТОЛЬКО ДЕСЯТЬ

— Мм-да!.. — сказал предводитель звонка, входя в светлый и просторный инструментальный цех. — Прихожу в который раз, и снова та же картина: пустует десять рабочих мест. Безобразия! Разве не было по этому поводу приказа директора?!



— Как же, — вздохнул старший мастер, — приказ такой был. Да разве его так сразу выполнишь? Вот и пустует пока только десять мест. Вы думаете, легко из остальных рабочих подобрать для заводской команды еще и хорошего вратаря!

ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС • ПЫЛЕСОС

Содержание журнала «Юность» за 1964 год

№6 жури.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ		БОЫШЕВ Дмитрий. Русская речка	11	ЗЕЛЕНАЯ РИНА. Мы сочиняем стихи	7
АБАДАШЕВ Юрий. Летящие острова. Неоконченная акварель	2	БОЮК Виктор. Объяснение с землей. Девятый этаж. Снегирь. Сын. Откал. Кто ты, девушка раскопал? Онда	8	ИСКАНДЕР Фазиль. Весна. Уголок Луны. Баллада. Девочке из саркофага. Альпийский холод. Зимние игры	5
АНАНЬЕВ Василий. Дикой. Местный «хулиган» Абрамьялиди. Товарищ Красивый Фураржик. Миленький Кит. Лавиронджи. Деятельность	12	БОРИСОВА Майя. Новогоднее стихотворение. Метро	11	КАЗАНОВА Римма. Рыбалка. «Мои учителя-поэты...» В соловьином дворе. Сказка вместо колодезной. «О, жаворонок детская учиться...»	5
АМЛАНСКИЙ ВЛАДИМИР. Тучи над городом встали	10	ВАШЕНКИН Константин. Зимнее море. Стужа. Вечерняя вода... Луна. «Влеск моря и скрипы причала...» Гудок тринатно ухает вдали...	2	КАЗАНЧЕВ Василий. «Мы были с ним у автомата...» Мойщик автомобилей	9
АНАНЬЕВ Анатолий. Козырь монаха Гингория	5	ВАИЛЬДЕВ Лариса. «Я огрызал вешу...» Овидиане. Талия	12	КЕРЛЕР Исидор. Смотрига «на людей». В лесу. Март. Трава. В пути. Сказ о портом	9
АРКАНОВ Аркадий. С восьми до восьми. Педальная машина.	7	ВЕГИН Петр. Колыбельная.	3	КОЗЛОВСКИЙ Яков. Слану. «С утра до вечера мело...» Зима. Советники	5
БИТОВ Андрей. Такое долгое детство	11	ВИНОКУРОВ Евгений. Плотность мира. Рука. Выше всего. Человек. Статуя. Тело. Спятые. Ребенок. Подтекает рисунок. Небо. Я был... Нет хуже ничего, чем жевать пророчья... Благородство. Живодение. Дыхание. Посмейся надо мной. Голосок. К попросю золотелити. Ремонт.	2	КОРОЛЕВА Инна. Вступление в Сибирь. Художником города Тобольска. «Волочку заиндевелу...» Оверная «легия». Письмо в Ленинград	3
БОКАРЕВ Геннадий. Мы	6	ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей. Охота на зайца. Рамеисие праздники. Тишины!	10	КУЛИКОВ Касим. Мои предки. «Кто может выгоде в уроду...» «Ты поминишь лето...» Чужой бедою жить не все умеют...	11
БЫКОВ Василий. Западня	7	ГАМЗАТОВ Расул. «На замушках гадалка мне гадала...» «Еще давным-давно село на горе...» «Что слепому все темно кругом...» «Я ничуть не удивилась, что ж...» «Самосохранение забоба...» «Поздн, ты слышны не слуга...» «Наш мир—коробль...» «Мне оправданья нет и нет спасенья...» Памяти народного артиста Басира Ниусулова. «Я негр своих стихов...»	4	КУЛИКОВ Александр. Шанши. «Октябрь». Среди поля и просек... «Любитель подделкой лова...»	3
ГЛОБАНОВ Ярослав. Кузнечный грома	1	ГЛАЗОВ Григорий. Вступление. Беседа. Глаза. Солдат. Сквозь годы. Высота. Человек	7	ЛАСКОВ Иван. Живые голоса ЛЯНСКИХ Мари. Есть городок во Франции. Годы. «Мы привыкаем быстро и мучадем...»	4
ГОРЕНШТЕЙН Ф. Дом с башенной	6	ГЛОЗМАН Григорий. Прощание с друзьями. «Субботных танцев не отменил смерть...»	10	МАЛЫШЕВА Надежда. «Отдайте мне тайны...» Весна. Телескоп. «Не тронь, тымень мой цветки...» «Люди прохладят передо мной...»	10
ДМУТРИЕВА Оделия. Суббота, 17	11	ГОЛУБОВ Дмитрий. Отцы. Осень, вечер. «Мать кушает младенца...»	2	МАРТЫНОВ Леонид. Все записано от людей! Природа. На берегу. Богомзаны. Омут. Осенний Чарлз	3
ДРУЖИНИНА Ирина. Нефриты	11	ГОЛУШКО Татьяна. Пушкин и Рязань	11	МЕЖЛАТИС Эдуардас. Актер. Ингарский водовод или прогулка с Уолтом Уитменом	3
ЖЕРНАКОВ Николай. Поморские ветры	11	ГОРБОВСКИЙ Глеб. Роша. «Имел бы свой автомобиль...»	10	МЕТОДИЕВ Дмитрий. Открытие	1
ИЛЬИН Виктор. Жесткий монтаж	12	ГОРОДНИЦКИЙ Александр. Расстояние	11	МОРИЦ Юнна. Разговоривалась вещи. Пони. У котенка работница. Это очень интересно. Лето. В гостях. Что на что похоже. Цветок. Начальник. апрель. «Все тело с ночи льхорвадно...» Снежная погода. Осень в Абхазии.	5
КОРОБЦЫН Алексей. Тайна музея восковых фигур.	7-10	ГУБАНОВ Леонид. Художник дауров Владимир. Балладечка на. Иванушка-дурочок	6	НОВИКОВ Николай. Районные клубы. «С чемадонном хулым...»	6
КОРОВОВ Алексей. Манс	6	ДАМИТРИЕВ Олег. Новогоднее... Удар по кремлю. «Вот новая картина...» Пью воду. «Как бы и хотел дожить до старости...» Баллада об эмиграбристе	11	ОКУДЖАВА Булат. «А остальные все приложится...» Свет в окне. Стихи про мальцов. Смерчки. 2. В городском саду. Дорога. Храмузи. Черный мессер. «Вот я, убитый, падаю у бережка...» «То падая, то снова нарастая...» Песенка о художнике Пиротсани. Франсуа. Вилон. «Срында крышны цветы...»	11
МАРЧЕНКО Ирина. Весело — грустно	2	ДУБРОВИН Борис. Колонны на заставе. Землетрясение. Земляника	9	ПАВЛИНОВ Владимир. Ревеняны	4
МАРШАК С. Умные вещи	4	ЖУАНОВ Игерь. Комсомль.	8	ПЛИСЕЦКИЙ Герман. Аэродром Памяти бобушки	11
НИКОЛЬСКИЙ Борис. Триста дней овидианя	4	ЗАСЛАВСКИЙ Риталий. Смена.	2	ПОЛЯНОВА Надежда. Остаются дела	11
ПИЛГР Юрий. Люди остаются людьми	3-5			ПОПЕРЕЧНИЙ Анатолий. Бабы. Сто ерков пятая верста.	6
ПРИСТАВКИН Анатолий. Селигер Селигерозич	9			ПРОКОФЬЕВ Александр. У ме-	
СУВОРИНА Екатерина. Ксама Муратова — фронтовая артистка	1-3				
ФИЛАТОВ Лев. Серебро	8				
ЧУКОВСКИЙ Николай. Девочка-Низинь	7				
ЩИПАЧЕВ Степан. Миниатюры	1				
ПОЗМЫ, СТИХИ					
АГЕЕВ Леонид. В лесу. «Рако засыпая — прозеваю...»	11				
АРОНОВ Александр. Сирень...	6				
АФАНАСЬЕВ Виктор. «Для муравья трава — тинга...»	1				
Митка Громова. Вдома...	1				
АХМАДУЛЛИНА Белла. Моя родная	1				
АХМАТОВА АННА. Два стихотворения из цикла «Шиповник цветет». Два четверостишия	4				
АХУНДОВА АЛЛА. «Я верю в предсказанья птиц...» «Если листья — зеленые флаги...» Звония сказка	6				
БАРТО Агния. Однажды я разбил стекло. Я лежу болю. Рыцари. Особая арифметика	10				
БЕЛЯЕВ Михаил. «Поднял тебя...» Школьный звонок. «Дали обрылаются за домом...» «Будто гений...»	7				
БЕРГГОЛЬЦ Ольга. Михаилу Светлову. Далным друзьям. «Какая темная зима...» Обещание. О твоей смерти. Измена. «О, не оглядывайтесь назад...» Возвращение. Обращения к трагедии	11				

на работа... Лядонкане. Ки- зи. Карезин	11	АРХИПОВА Людмила. Дом в Марьянов	8	ПЛЕШАКОВ Л. Последний дом морская	6
РАЧКО Марина. Масна дыла	11	БАЖЕНОВ А. Самый молодой лауреат	12	ПОЖИДАЕВ Генрих. Письмо с Верингова моря	6
РЕЦЕПТЕР Владимир. «Десяти- классники» знают не желают классника?»	4	БАРУ Илья. Олимпийские зар- ницы.	9	ПОНОМАРЕВ Н. В большом покое	11
РОМДЖЕСТВЕНСКИЙ Роберт. Ша- пчатом нашим. Ремонт часов. Стужи о кане Батыне. Назым. «Поэтам что...» Пер- ед праздником. Ночью. Тан- цуют индейцы	4	В Нурке как в Нурке... БАСКИНА Ада. «Трудные» при- шли на завод. Бойсл равнодушия, космо- полит	10	ПОНТЕКОРВО Бруно. Не тайте золото времени.	8
РУДЫК Александр. Питьевой фонтанчик	11	БАХТЕРЕВ Игорь. 250 часов с Лениным.	5	РАЗОРЕНОВА М. Школьный кинжолуб.	4
САВЕЛЬЕВ Владимир. «Я голо- ву даю на отсечение...» «Мы с тобой...»	4	ВАСИЛЬЕВ Вик. Спор.	5	Студенты дружат с подро- стками	9
СВЕТЛОВ Михаил. «Музыка ли, повесть, что ли, эхо ли...» В Беларуси	5	ВИЛЬЯМС Лусита. «Ленин че- ловек и его дело»	2	Сналоцкий материал	10
СЕЙФУЛИН Саенем. Пьют нумам на Джайлул. Мускулы рук.	9	ВАЛЕРИЙ Г. Человек в беде. Валерий Александр. Это было в пансионате на Клязь- ме.	6	РОМОСОВСКИЙ К. К. Пусть знают их имена.	5
СМЕЛЯКОВ Ярослав. На повер- ки	10	ВАСИЛЬЕВ Вик. Спор.	5	РУБИНШТЕЙН А. Рисунки в Короленько.	1
СКОРНОВ Лев. Сани. Баллада о радуге. «Мы пьем абхаз- ское вино...»	10	ВИТКО Ислам. Запах земли	5	РУДЯК Б. Карт Марис и рус- ская секция. Vive la suc- цешпе!	9
СТАРШИНОВ Николай. Полез- нейшее дело. Горняк. Дети из детства. Досери в жизни моей Руте.	11	ВИТЛИК Роберт. Серебряные облака.	6	Самый жаркий месяц года.	9
«А мне теперь всего желан- ней...» Девушка на велосип- еде. «Осенняя осина...» Дев- очки в кардиганах. «И на ушах надевые полотно...» Рута и бабушка	2	ГЕРБЕР Алла. В поисках глав- ного	4	САХОНОВСКИЙ ПАНЦЕВ В. Мо- лодо смею, талантливо.	2
ТАРУТИН Олег. Дятлы	12	ГИМЗБУРГ Евгений. Студенты.	8	СТЕПАНОВ А. В раскаленной печи	6
ТВОРГОВА Валентина. Пись- ма. Дождь. Палагские сти- хи. Быть востроном чело- век трудной...»	11	ГЛУХОВ Максим. Простая история	1	СТУДЕНЦОВ П. Воздушные записки.	3
ТИМОФЕЕВ Лев. Времена года. Ночной полет.	6	ГОЛУБЕВ Валерий. Под флагом «Искателя»	1	СУСЛОВ Илья. Школьный муз- ей села. Паркомонка.	5
УЛЪЗЪУЕВ Дондон. Русскому брату. «Люблю зеленую тай- гу...»	7	ГОРИН Гр. Любители и цен- тели	12	Путешествие в страну «Поэ- зия» Художник пришел в школу Ишел по коридору цокор... Тельмади Н. Дело № 14	9
ФАЙНБЕРГ Владимир. Быстрое время.	5	ДОМРАЧЕВ Мих. Незабывае- мое.	2	ФИЛИППОВ Б. Антегра без грима.	10, 12
ФАМИН Валерий. Тревога.	11	ЕЗЕРСКИЙ С. У вечерних ко- стров	3	ФЛЕРОВ Г. Путь к вершинам.	5
ХАЛУПОВИЧ Вадим. Снег	2	ИЗЯКОВ И. Вдали от больших дорог	3	ФРЕНКЕЛЬ А. «Песенка»	1
ЦЫБИН Владимир. Предчувст- вие «Морщинам рожденные песен...» «Я стою с тобой...» Спокойствие.	6	ЗЕЛЕРАНСКИЙ Н. Садовод Сла- ва Гайдин.	1	ЦЕЛМС Г. Назовите его роман- тиком.	9
Годы. Возвращение	9	ИШИМОВ Владимир. На гимна- стерке — орден Славы.	5	ЧЕРЕПАХОВА Э. Варна	9
ШАПОШНИКОВ Вячеслав. Ва- гулькины. Журавли. Знакомо- му мальчишке.	6	КИРОВ С. М. Письма из тюрь- мы	11	ЧЕРНОВ Юрий. Приятного ап- петита!	8
ШЛЯРНСКИЙ Александр. Вст- реча антагонистической эс- тецистики	11	КОВАЛЕВА Л. Когда человек задумывается	11	ШУНИН Л. Солдаты мира.	2
ШОДЫРЕВ Сергей. Исповица. «Нельзя было этой но- чи...»	2	КОЛЕСНИКОВА Н. О. Чем ин- тересно не забывай	4	ЩЕРБАК Юрий. МИНЬКО Вик- тор. Перевал.	10
ШИПАЧЕВ Степан. Помню... ЭМИН Геворц. «Стихи слагать — значит зло коверкать неус- таново...» «На руках тебя но- сят?». «Знаете, как ловят обезьяны...»	2	КОРОБОЧКО А. Крымский аль- бом В. Жуковского	2	ЮЛЬБА Тамара. В поисках земной крови.	6
ЮДАШИН Александр. Воре Ка- мышеву.	6	КРАСКО Нинель. Звончики	6	ЯВОРСКАЯ Г. Страницы космо- польской славы.	2
ЯШИН Александр. Улыбки. По- нормате пучки. Заинволающая засточка. Вечный свадьба. Кто расседает? Чего боюсь? Спасибо солнцу.	7	КУЗНЕЦОВ Феликс. Наставни- ки.	4		
Урбанай.	9	КУЧКИНА О. Посвящение в ту- ристы	4		
ОЧЕРКИ. СТАТЬИ. ФЕЛБЕТОНЫ. ВОСПОМИНАНИЯ. ЗАМЕТКИ. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. ПИСЬМА		ЛАРИКИНА Алла. Первые меда- ли «Велой ромашки».	8		
АЛЕКСЕЕВ Б. Художник-рево- люционер.	1	ЛЕВИН Борис. Доброе поле.	3		
АЛЕКСЕЕВ С. Подарок городу.	4	ЛИХОДЕВ Леонид. Клешия.	1		
АЛЛОВА Л. Театр поэзии.	10	Как быть? Бегуновом? ЛЯПДЕВСКИЙ А. «Научем, то- варищ Ляндеский...» МАКСИМОВ Ю. Интервью с На- ташей Ростовою.	4		
		МИРЛИН Анна. Смерть будет бесследна.	6		
		МОИСЕЕВ Олег. Отречение от бога.	9		
		МОРОЗОВА Н. Визуки Корча- гина.	2		
		МУСТАФИН Р. Шаги Валенти- ны Зеленина.	8		
		НИКИТИН А. Прочитаны древ- нейшие письма.	3		
		НОРТ Дюозеф. «Молодежь — богатство народа»	12		
		Ослабевшая на прожитый год. ПАВЛОВ С. Год нашей жизни.	3		
		ПАПЕРНЫЙ З. За здоровый смех	7		
		ПЕСИКОВ Ю. Имени Джона Грида	12		
				О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ	
				АНДРОНИКОВ Иракий. Четы- ре года.	10
				АНИСИМОВ Григорий. Семна- дцать разных.	10
				АНТОКОЛЬСКИЙ Павел. Шек- спир.	4
				БИРГЕР Б. Взгляд художни- ка — взгляд открытого	9
				ВОЛЬСКИЙ Леонид. Зеленое дерево жизни.	1, 2
				ВОРОБЬЕВ Н. Там, где начи- нается день.	1
				ГИДАШ Антал. Как я люблю лас, работай.	7
				ДРАЧ Иван. Сыны волюности.	3
				КАССИЛЬ Лев. Возвращение Нади Рушевой.	6
				КИРЯК Е. Пользуясь пово- дом.	6
				КОВАЛЕВА Л. Что ответит Лизе?	7
				КУЗНЕЦОВ Ф. Гражданин или мещанин?	12
				ЛАЗАРЕВ Л. Сегодня и для нас.	7
				ЛЕСЕВСКИЙ Станислав. Во име поэзии.	8
				Братство героев.	9
				МАРШАК С. Служба жизни.	9
				МИНАЕВ В. Современность и мастерство.	5
				МИХАЙЛОВ К. Вечной моло- дости!	7
				МИХАЙЛОВ О. Нашей молод- ости споры.	10
				ОСМОЛОВСКИЙ Ю. «Самая чи- стая радость»	4
				Памяти С. Я. Маршак.	8
				Памяти Михаила Светлова.	10
				ПАПЕРНЫЙ З. Агрессивное нелепство	12



В Н О М Е Р Е :

ПЕТУХОВ С. Для тебя, молодежь села.	10
ПОНИДАЕВ Геннадий. Восхождение в музыку.	5
ПРУСС И. Национальная гордость.	5
РАССАДИН Станислав. Юноше, обдумывающему жизнь... Постоянная прописка.	3
РУДИН Н. Музей Н. А. Прощения.	8
СОЛОВЬЕВ В. Младая песня невенских берегов.	11
Среди книг	1-12
ЦЯВЛОВСКАЯ Т. Рисунки Пушкина.	8
ЭНТЕЛИС Л. Юность древней музы.	11

СПОРТ

ВАСИЛЬЕВ Вик. Человек и мяч.	1
ЛАТЫНИНА Лариса. Моя гимнастка.	7
МАШИН Ю. Вперед! — Токно.	3
МЕРЖАНОВ Мартын. Тактика поведения.	5
XVII Олимпийские игры.	10
МУРАВЬЕВ И. Оей гвардии Алексеяевского полка.	11
СПАНДАРЯН Степан. «Молодые ветераны».	6
СТАРОСТИН Андрей. «Почему?» — спрашивает болельщик.	8
ТЕР-ОВАНЕСЯН Игорь. Шаги в воздухе.	4
ТИШНОВ А. И в шахматах есть композиторы.	6

«ПЫЛЕСОС»

АЛЕШИН Вит. Каменная формулировка.	4
АРКАНОВ Арн. «Сипероз».	3
Вилет и плов.	9
Истинная ложь.	9
БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр. Эпиграммы.	8
ГИНН М., РЯКИН Г. Знаменитый мячик. Лежачий камень.	11
ГОРИН Г. Мои мысли накануне 8 Марта... «Ханжам до востребования!».	3
ДРОБИЗ Герман. Строим любушки. Железные нервы.	7
ЗАХАРОВ М. С размахом...	2
ЗОРИН В. Леная резьба.	12
КАМОВ Ф. В здоровом теле.	3
КАРЛИНСКИЙ Вл. Необходимое уточнение. Только десять.	12
КАШАЕВЫ Владимир и Михаил. Литературные пародии.	6
КОНСТАНТИНОВ Владимир, РАЦЕР Борис. «Бабушкин воздик».	2
КОСТЫРИН В. Музычный вопрос. Кто же даст совет? Мои думы о величии. Мой день рождения.	8
МИН Евг. Сириозная звезда.	11
ПУРГАЛИН Б. Критика.	6
РИХТЕР Ю. Первый и второй. В семье не без...	9
РОЗОВСКИЙ Мари. Как слышится — так и пишется. Про гвоздь. Руки в карманах.	4
СЛАВКИН Виктор. Комсомольцам десятых классов. Интеллект на лице. Как Вася сорвал мероприятие. «Сувениры».	1
СУХАРЕВСКИЙ Б. Тоже способ.	7
ХАНТ А., КУРЛЯДСКИЙ А. Новогодняя шутка.	8
ЦВЕТКОВ Анатолий. Ателье Галии Галиной.	7

Василий АКСЕНОВ. Новые рассказы: I. Дикой. II. Местный «хулиган» Абрамашвили. III. Товарищ Красный Фуражник. IV. Маленький Кит, лакировщик действительности.	2-31
Расул ГАМЗАТОВ. «На камушках гадалка мне гадала...». «Еще давным-давно себе на горе...». «Что слепому все темно кругом...». «Я ничуть не удивляюсь, что ж...». «Самосохранение — зата...». «Позия, ты сильному не слуга...». «Наш мир — корабль. Он меньше и слабей...». «Мне оправданы нет и нет спаясь...». Памяти народного артиста Басира Инуилова. «Я негр своих стихов...». Стихи.	32
Николай СТАРШИНОВ. «А мне теперь всего желанней...». Девушка на велосипеде. «Осенняя осина...». Девочки и кардинал. «И на меня нелепые полотна...». Рута и бабушки. Стихи.	34
Николай ЖЕРНАКОВ. Поморские ветры. Повесть.	36
Булат ОКУДЖАВА. В городском саду. Дорога. Храмули. Черный мессер. «Вот я, убитый, падаю у бережка...». «То падаю, то снова нарастаю...». Песенка о художнике Пиросмани. «Срываю красные цветы...». Франсуа Вийон. Стихи.	72
Всесоюзная читательская конференция	
Феликс КУЗНЕЦОВ. Гражданин или мещанин?	75
Константин ВАНШЕНКИН. Чтоб молодые помнили всегда. «Опять, опять сидишь со мною рядом...». «От затемненного вокзала...». «Как изнашивается платье...». Стихи.	81
Поговорим о прочитанном	
Э. ПАПЕРНЫЙ. Агрессивное невежество.	82
Алла ГЕРБЕР. А жить хочется.	85
Среди книг	88
Джозеф НОРТ. «Молодежь — богатство народа...» (Статья написана по просьбе «Юности»).	90
Б. ФИЛИППОВ. Актеры без грима.	92
Наш фельетон	
Гр. ГОРИН. Любители и ценители, или четыре монолога по вопросам искусства.	99
Почта «Юности».	101

Заметки и корреспонденции	
* В. ГОЛУБЕВ. Под флагом «Искателя» * Ю. ПЕСИКОВ. Имени Дюна Риде * А. БАЖЕНОВ. Самый молодой лауреат * Встреча в Минске.	103-106
«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора под редакцией Арк. АРКАНОВА) * Галиа ГАЛКИНА. Открытое письмо юмористу-дебютанту А. Маркову * В. ЗОРИН. Левая резьба * Марк РОЗОВСКИЙ. Руки в карманах * Вл. КАРЛИНСКИЙ. Необходимое уточнение. Только десять.	107-109
Содержание журнала «Юность» за 1964 год.	110-112
На первой и четвертой страницах обложки рисунок Э. РАПОПОРТ. На третьей странице обложки автोलитография А. МОРДВИНОВОЙ «Снегопад».	

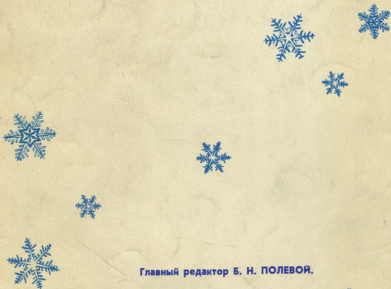
Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина.
 Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воронского, 52. Телефон Д 5-17-83.
 Рукописи не возвращаются.

А 00805. Подп. к печ. 26/ХI — 1964 г. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № 2128. Заказ № 2893. Формат бумаги 84x108/16. Вум. л. 3,83. Печ. л. 11,89.
 Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, ул. «Правды», 24.





Цена 40 коп.



Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120.